
ИЛЛЮМИНАТОР
Библиотека журнала «Иностранная литература»
Тони Моррисон
Возлюбленная
Toni Morrison
Beloved

Возлюбленная
Тони Моррисон

Аннотация
Тони Моррисон. Возлюбленная
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ II
Часть III

Аннотация

«Возлюбленная», самый знаменитый роман Тони Моррисон, ее первый бестселлер, награжден Пулитцеровской (1988), а затем и Нобелевской премией (1993).

В основе книги – реальные события, происходившие в штате Огайо в 80-х годах XIX в.: история чернокожей рабыни, которая убивает свою дочь, спасая ее от рабства. В одноименной экранизации, снятой Джонатаном Дэмме и номинированной на Оскара в 1998 году, роль главной героини с неожиданным блеском сыграла суперзвезда американского телевидения Опра Уинфри.

Тони Моррисон
Возлюбленная

Вас было более шестидесяти миллионов
Не Мой народ назову Моим народом,
и не возлюбленную – возлюбленной
Послание к Римлянам; 9,25

ЧАСТЬ I

В 124-м билась злоба. Злоба и ярость ребенка. Женщины, жившие в доме, знали это, знали и дети. Долгое время все они, каждый по-своему, мирились с приступами этой злобы, но к 1873 году Сэти и ее дочь Денвер остались в доме одни. Бэби Сагз, свекровь Сэти и бабушка Денвер, умерла, а мальчики, Ховард и Баглер, сбежали из дома, едва им исполнилось тринадцать. Для Баглера послужило сигналом зеркало, разлетевшееся вдребезги, когда он посмотрелся в него; Ховард не выдержал, увидев на только что испеченном пироге отпечатки двух крошечных ладошек Ни тому, ни другому больше намеков не потребовалось: ни еще одного перевернутого горшка и дымящейся груды гороха на полу; ни крошек печенья, которые сами собой собирались у порога в аккуратные кучки. Не стали они ждать и затишья — порой неделями или даже целыми месяцами в доме было спокойно. Нет. Оба сбежали — стоило дому совершить против каждого из них то, чего уже нельзя было вытерпеть дважды. Через два месяца вслед за первым братом двинулся второй,

и оба ушли среди зимы, оставив женщин — свою бабку Бэби Сагз, свою мать Сэти и маленькую сестренку Денвер — одних в серо– белом доме на Блустоун-роуд. Тогда у этого дома еще и номера-то не было, потому что Цинциннати сюда дотянуться не успел. В сущности, и Огайо всего каких-то семьдесят лет как стал называться штатом. И вот сперва один брат, а потом и второй сунули в шляпы узелки с нехитрым имуществом, подхватили башмаки и покинули дом, который так живо давал им почувствовать свою неприязнь.

Бэби Сагз даже и головы не подняла. Лежа больная в постели, она слышала, конечно, как внуки уходят, но не проронила ни звука. Странно, думала она, как долго они не могли понять, что другого такого дома, как этот на Блустоун-роуд, и в помине нет! Она ощущала себя как в тисках — между паскудством жизни и мстительной злобой мертвых; ей было все равно, жить ли дальше или покинуть мир живых, уйти или остаться, и ее мало волновало бегство из дому двух перепуганных мальчишек. Прошлое, как и настоящее, было непереносимо; а поскольку она знала, что смерть приносит все что угодно, кроме забвения, то отдавала остаток сил раздумьям о цветах радуги.

— Принеси что-нибудь сиреневое, если найдет-

ся. Или хоть розовое…

Сэти старалась угодить ей — приносила лоскуты сиреневого и розового цвета и даже показывала собственный язык. Зимы в Огайо особенно тяжелы, если хочется многоцветья. В небесах — один и тот же спектакль в серых тонах, а уж сам вид города Цинциннати и вовсе не способен пробудить радость. Так что Сэти с Денвер старались сделать для Бэби Сагз все, что могли и что позволял им дом. Вместе они вели вялую борьбу со зловредным нравом своего жилища; с перевернутыми помойными ведрами, со шлепками по заднице, с невесть откуда взявшимися отвратительными запахами. Потому что истоки этой злобы были им известны так же хорошо, как истоки света.

Бэби Сагз умерла вскоре после того, как ушли братья, безразличная и к их уходу, и к собственному, и малое время спустя Сэти и Денвер решили прекратить свои мучения, вызвав несносный дух на поединок. Или хотя бы на переговоры. И вот, взявшись за руки, мать и дочь громко крикнули:

— А ну выходи! Выходи сейчас же, а то хуже будет! Буфет чуть отодвинулся от стены, но остальное осталось на своих местах.

— Должно быть, это бабушка Бэби мешает, —

сказала Денвер. Ей было десять, и она никак не могла простить Бэби Сагз, что та умерла.

Сэти открыла глаза.

— Вряд ли, — возразила она дочери.

— Тогда чего же оно не выходит?

— Ты забываешь, какое оно маленькое, — напомнила Сэти. — Ей ведь и двух лет не исполнилось. Слишком мала была, чтобы что-то понимать. И почти еще ничего не говорила.

— Может, она просто не хочет ничего понимать, — сказала Денвер.

— Может быть. Но только б она вышла к нам, я бы уж ей все объяснила.

Сэти выпустила руку дочери, и они вместе придвинули буфет обратно к стене. За окном возница огрел лошадь кнутом, пуская ее в галоп, — все стремились поскорее миновать дом номер 124.

— Маленькая, а на колдовство небось сил хватает! — сердито заметила Денвер.

— У меня тогда тоже сил хватило с избытком на любовь к ней, — откликнулась Сэти, снова все вспомнив. Желанная прохлада, кругом заготовки для надгробий, и выбранный ею камень, и ноги, раздвинутые шире могильной ямы… Камень был нежно-розовый, точно ногти младенца, и посверкивал блестками кварца. Десять минут, сказал

он. Десять минут, и я сделаю это бесплатно.

Десять минут за двенадцать букв. А если еще десять, могла бы она попросить его прибавить «дочери моей»? Она тогда не решилась спросить и до сих пор мучилась, думая, что это было вполне возможно — что за двадцать минут или, скажем, за полчаса она могла бы расплатиться за каждое слово, какое священник произнес на похоронах (да ведь каждое-то и нужно было сказать), и резчик вырезал бы их на камне: Возлюбленной дочери моей. Но она уплатила — так уж договорилась — всего лишь за одно слово, самое главное. Она думала, этого достаточно, отдаваясь резчику среди каменных глыб, а его молодой сын следил за нею, и лицо его выражало пробудившийся голод и застарелую злость. Да, этого слова, конечно же, было достаточно. Достаточно, чтобы ответить еще одному священнику, еще одному аболиционисту и целому городу, исполненному отвращения к ней.

Рассчитывая обрести душевный покой, она совсем позабыла о другой душе: душе ее малышки дочери. Кто бы мог подумать, что дитя способно на такую ярость? Нет, отдаться среди будущих надгробий резчику под злобно-голодными взглядами его сына было мало. Еще предстояло

прожить долгие годы в доме, опустошенном гневом ребенка, которому перерезали горло; вспоминать те десять минут, когда она лежала, широко раздвинув ноги и прижавшись спиной к камню цвета зари, сверкавшему яркими блестками — они были длиннее целой жизни, более жгучими, чем кровь, что лилась из раны на шее ее девочки и капала с пальцев, густая, как масло, и липкая.

— Можно переехать в другой дом, — предложила она как-то своей свекрови.

— А зачем? — спросила Бэби Сагз. — Нет в этой стране такого дома, где из каждого угла не смотрело бы горе мертвых негров. Нам еще повезло, что хозяйничает ребенок А что, если бы сюда явился дух моего мужа? Или твоего? Нечего и говорить о переезде. Ты судьбу не гневи: ты счастливая, у тебя ведь еще трое. Трое цепляются за твою юбку, а еще одна беснуется, переворачивая дом, напоминая о себе — оттуда. Тебе грех жаловаться. У меня их было восемь. И ни одного не осталось. Четверых продали, еще четверых как не бывало, и все они, наверно, тоже бесчинствуют в чьем-нибудь доме. — Бэби Сагз провела ладонью над глазами. — Моя первая девочка… Я только и помню, что она подгоревшую хлебную корочку

любила. Это тебе как? Восемь детей родила — и помню только это.

— Позволяешь себе помнить, — возразила тогда Сэти. Теперь у нее тоже остался только один ребенок: мальчиков прогнал из дому дух малышки. И она уже начинала забывать Баглера. У Ховарда по крайней мере голова была такой формы, что захочешь — не забудешь. Что же до прочего, она немало сил потратила, чтобы помнить как можно меньше — чем меньше, тем спокойнее. Вот только мысли не всегда ей подчинялись. Бежит она, скажем, по полю, мечтая об одном — поскорее добраться до насоса и смыть зеленый травяной сок и лепестки ромашек с исхлестанных травой ног. И ни о чем таком не думает. Ни о том, как мужчины вошли в амбар и вволю натешились над нею, — эта картина теперь столь же безжизненна, как и ее спина, где нервные окончания утратили чувствительность, а задубевшая кожа напоминает стиральную доску. И даже слабого запаха чернил, или дубовой коры, или вишневой смолки, из которых эти чернила делаются, она теперь не ощущает. Вообще ничего. Чувствует только, как ветерок овевает лицо, пока она спешит к воде и смывает лепестки ромашек и семена трав, смывает тщательно и думает только

об одном — сама виновата: решила сдуру сократить путь на полмили, не заметила, как высоки уже травы, и теперь ноги до колен невыносимо чешутся и зудят. И тут что-то случается. Плеск воды; башмаки и чулки, брошенные как попало у тропинки; пес Мальчик лакает из лужи у ее ног — и вдруг откуда ни возьмись появляется Милый Дом, надвигается, катится прямо на нее, и вся усадьба раскидывается перед нею во всей своей бесстыдной красоте, хотя от каждого листика на тех деревьях хочется взвыть во весь голос. С виду усадьба вовсе не казалась ужасной, и Сэти удивлялась: неужели и ад — тоже место красивое? Ну, там, разумеется, адское пламя и серой пахнет, но только все это скрыто в платановых рощах. И на суках самых прекрасных сикомор в мире — повешенные. Ей стало стыдно: вспомнила шелест тех удивительной красоты деревьев, и только потом — людей. И сколько она ни старалась, но сикоморы каждый раз вспоминались ей прежде парней, и она никак не могла простить за это собственную память.

Смыв последний лепесток ромашки, Сэти двинулась дальше, к дому, по дороге подобрав свои чулки и башмаки. И словно для того, чтобы еще сильнее наказать ее за избирательность памяти,

на крыльце, не более чем в сорока шагах, сидел Поль Ди, последний из мужчин Милого Дома. Лицо его Сэти никогда бы не спутала ни с одним другим, но все же спросила:

— Это ты?

— Вернее, то, что от меня осталось. — Он встал и улыбнулся ей. — Ну как ты, детка? Вижу, вижу, что босиком идешь.

И когда она вдруг рассмеялась, смех полился свободно и молодо.

— Да мне все ноги травой на лугу исхлестало. Да еще ромашка налипла.

Он сморщился так, словно проглотил полную ложку чего-то горького.

— И не говори! Ужасно, когда эта ромашка к голым ногам липнет!

Сэти смутилась. Скомкала чулки и сунула их в карман.

— Ну что ж, заходи в дом.

— Хорошо у тебя тут на крыльце, Сэти. Прохладно. — Он снова сел, глядя куда-то за дорогу, на луг — боялся, что глаза выдадут проснувшееся вдруг желание.

— Восемнадцать лет, — проговорила она тихо.

— Восемнадцать, — откликнулся он. — И готов поклясться: все восемнадцать лет я куда-то

шел. Можно и мне тоже? — Он кивком показал на ее босые ноги и принялся расшнуровывать ботинки.

— Хочешь ноги вымыть? Давай-ка я тебе тазик с водой принесу. — Теперь она была от него совсем близко.

— Да нет, чего там. Не впервой. Этим ногам еще топать и топать.

— Не можешь же ты уйти прямо сейчас, Поль Ди! Погости хоть немного.

— Ну, по крайней мере Бэби Сагз-то я повидать должен. Где она, кстати?

— Умерла.

— О, господи, нет! Когда?

— Да уж восемь лет прошло. Почти девять.

— Тяжело умирала? Хоть бы не тяжело! Сэти покачала головой.

— Легко. Отошла — словно пенку с молока сдули. Жить ей было куда тяжелее. Жалко, что ты ее не застал. Ты что ж, за этим сюда пришел?

— В том числе и за этим. Но главное — на тебя посмотреть. А если начистоту, то сейчас я готов пойти куда угодно. Куда угодно — лишь бы дали пожить спокойно.

— А ты хорошо выглядишь, Поль Ди.

— Черти напутали: я особенно хорошо выгля-

жу, когда со мной что-то неладно.

— Он выразительно посмотрел на нее, и последние слова прозвучали двусмысленно.

Сэти улыбнулась. Вот так они всегда говорили — давно, еще в Кентукки. Все мужчины Милого Дома до Халле и после того, как она вышла за него замуж, обращались с ней чуть-чуть насмешливо, по-братски, капельку заигрывая, подтрунивая, — не сразу и догадаешься, что за этим стоит.

Поль Ди остался почти таким же, каким был в усадьбе, если не считать копны отросших волос да какого-то ожидания в глазах. Блестящая, как сланец, черная кожа; прямая спина. Лицо его редко меняло выражение, тем удивительнее была его мгновенная готовность улыбнуться, разгневаться, огорчиться с тобой вместе. Словно всего-то и требовалось — привлечь к себе его внимание, и в нем мгновенно пробуждались те же чувства, что и в тебе. Глазом не успеешь моргнуть, а лицо у него уже совсем другое — словно свои чувства он прятал очень близко, под кожей. Словно там, внутри, кипела лава.

— Мне ведь не нужно и спрашивать о нем, да? Ведь ты бы сказал мне, если б что-нибудь знал, верно? — Сэти посмотрела на свои босые ноги, и снова перед ней возникли те сикоморы.

— Сказал бы. Конечно сказал бы. Но я и теперь знаю не больше, чем тогда.

— «Если не считать маслобойки, — подумал он, — но тебе-то об этом знать вовсе не нужно». — Ты должна верить, что он жив.

— Нет. Мне кажется, он умер. И моя вера ему не поможет.

— А как считала Бэби Сагз?

— Точно так же, да только если ее послушать, так все ее дети умерли. Говорила, что в точности знала тот день и час, когда каждый из них умирал.

— А когда, по ее словам, умер Халле?

— В тысяча восемьсот пятьдесят пятом. В тот самый день, когда у меня дочка родилась.

— Так ты все-таки родила! Вот уж не думал, что ты с этим справишься! — Он усмехнулся. — Ведь на сносях удрала!

— Пришлось. Ждать-то больше нельзя было. — Она, потупившись, тоже вдруг подумала: а до чего же странно все-таки, что она тогда справилась. Но если б не та девочка, что хотела бархат купить, ничего бы у нее не вышло.

— Неужели все сама, одна? — В голосе его слышались и гордость за нее, и обида. Молодец, а все ж таки ему было обидно, что ей не понадобилась

ничья помощь, ни Халле, ни его самого.

— Почти что сама. Да нет, мне одна белая девушка помогла.

— Ну так, благослови ее Господь, она и себе помогла.

— Если хочешь, оставайся ночевать, Поль Ди,

— Как-то ты не слишком уверенно это предлагаешь. Сэти глянула поверх его плеча на закрытую дверь. — Да нет, что ты! Я от всего сердца, вот только ты уж прости — у нас тут не прибрано. Входи, входи. Поговори с Денвер, пока я поесть приготовлю.

Поль Ди связал шнурки ботинок, перекинул их через плечо и прошел следом за Сэти в дом, ступив прямо в пятно красного пульсирующего света, замкнувшееся вокруг него.

— У вас тут, я вижу, гости? — прошептал он, остановившись и нахмурившись.

— Случается, — откликнулась Сэти.

— Господи ты боже мой! — Поль Ди попятился к двери. — Неужто злые духи завелись?

— Нет, это не злой дух. Скорее грустный. Да входи же. Шагай смелее.

Он внимательно посмотрел на нее. Куда внимательнее, чем в первый раз, когда она вышла из-за дома с голыми, мокрыми, блестящими ногами,

неся туфли и чулки в руке, а другой рукой приподняв юбку. Девчонка Халле — с суровым взглядом и таким твердым характером, какой еще поискать. В Кентукки он никогда не видел ее простоволосой. И хотя сейчас лицо ее стало на восемнадцать лет старше, оно казалось нежнее и мягче. Должно быть, из-за пышных волос. Лицо у нее было слишком спокойное, застывшее и настоящего покоя не сулило; радужки черных глаз того же цвета, что и кожа, из-за чего лицо казалось безглазой маской. Женщина Халле. Рожавшая ему каждый год. Она и тогда сидела у огня беременная и говорила ему, что собирается бежать. Своих троих детей она уже отправила на тот берег с другими неграми-беглецами. К матери Халле, что жила в пригороде Цинциннати. Рассказывая ему об этом в крошечной хижине и наклонившись так близко к огню, что чувствовался запах нагретой материи, из которой сшито было ее платье, она смотрела на него, и глаза ее не отражали пламени. Они были точно два бездонных колодца, в которые боязно заглянуть. Даже если в глубине ничего нет, все равно их нужно бы чем-то прикрыть, оградить, поставить отметину, чтобы люди знали о том, что таится за этой опасной пустотой. Так что в глаза он ей не смотрел, а смотрел в огонь, и она

все рассказывала и рассказывала ему, поскольку мужа ее не было с ними и больше рассказывать было некому. Мистер Гарнер умер, а у жены его выросла опухоль на горле величиной с картофелину, и теперь миссис Гарнер ни с кем говорить не могла. Сэти тогда наклонилась как можно ближе к огню, насколько позволял ее большой живот, и рассказывала ему, Полю Ди, последнему из мужчин Милого Дома, о своих планах.

На ферме их было шестеро, только одна из них женщина — Сэти. Миссис Гарнер плакала как маленькая, когда продавала его брата, чтобы уплатить долги, которые тут же обнаружились, стоило ей овдоветь. А потом явился школьный учитель и стал наводить порядок Этот порядок погубил еще троих мужчин Милого Дома, и навсегда погасил огонь в глазах Сэти, превратив их в два зияющих колодца, в прорези в черной маске, которые даже пламени очага не отражали.

Теперь взгляд ее снова стал суровым, однако само лицо казалось мягче из– за обрамлявших его волос, и он поверил ей настолько, что перешагнул порог ее дома, ступив в озерцо пульсирующего красного света.

Она оказалась права. Это был очень печальный дух. Пройдя сквозь красное пятно, Поль Ди по-

чувствовал, что печаль пропитала его насквозь, ему даже плакать захотелось. Обычный свет над столом был где-то очень далеко от него, однако он вполне успешно добрался туда — и с сухими глазами.

— Ты же говорила, она умерла легко. Точно пенку с молока сдули, — напомнил он с укором.

— Это не Бэби Сагз, — ответила Сэти.

— А кто ж тогда?

— Моя дочь. Та, которую я тогда отослала вперед вместе с мальчиками.

— Так она умерла?

— Да. Последнее, что у меня осталось, — та девочка, которой я была беременна, когда убежала. Мальчиков тоже больше нет. Оба ушли отсюда еще до того, как Бэби Сагз умерла.

Поль Ди посмотрел туда, где печаль только что пропитала его насквозь. Красный свет погас, но в воздухе еще слышался тихий-тихий плач.

Что ж, может, оно и к лучшему, подумал он. Если у негра есть ноги, так нужно ими пользоваться. Засидишься, кто-нибудь непременно захочет тебя связать. И все-таки… если ее мальчиков в доме нет…

— И ни одного мужчины в семье? Как же ты тут одна?

— Не одна, с Денвер, — возразила она.

— И как вам тут, ничего?

— Справляемся.

Заметив в его взгляде сомнение, она прибавила:

— Я работаю поварихой в ресторане, в городе. Да еще немножко шью тайком.

И тут Поль Ди улыбнулся, вспомнив ее свадебный наряд. Сэти было тринадцать, когда она объявилась в Милом Доме, и взгляд у нее уже тогда был достаточно суровым. Она оказалась просто подарком для миссис Гарнер, только что лишившейся помощи Бэби Сагз во имя высоких принципов своего супруга. Пятеро молодых мужчин Милого Дома глянули на девочку и решили пока оставить ее в покое. Молодость брала свое — они так настрадались от отсутствия женщин, что совокуплялись с телками. И все-таки оставили девочку с суровым взглядом в покое, чтобы она смогла сделать свой собственный выбор, хотя каждый из них готов был превратить остальных в отбивные, лишь бы завладеть ею. Чтобы выбрать, ей потребовался год — долгий, мучительный год, в течение которого они метались по ночам на своих жалких тюфяках, пожираемые мечтами о ней. Целый год они изнывали от желания, и целый

год насилие казалось им единственным выходом. Однако вели они себя сдержанно — только потому, что были из Милого Дома и мистер Гарнер вечно хвалился ими перед другими фермерами, а те только головами качали.

— У всех у вас молодые парни есть, — говорил мистер Гарнер. — Молодые, постарше, разборчивые, неряхи. А вот у меня в Милом Доме все ниггеры — настоящие мужчины! Все до одного. Я их купил, я их и вырастил. И каждый из них теперь настоящий мужчина.

— Ты, Гарнер, поосторожней. Не всякого ниггера можно мужчиной назвать.

— Это точно. Если ты их боишься, так и они никогда мужчинами не станут. — Тут Гарнер начинал улыбаться во весь рот. — А вот ежели сам ты настоящий мужчина, так тебе захочется, чтобы и негры твои мужчинами стали.

— Вот уж ни за что не позволил бы, чтоб мою жену одни черные мужики окружали!

Этих слов Гарнер всегда особенно ждал.

— Так ведь и я о том же, — говорил он.

И всегда наступала длительная пауза, прежде чем сосед, бродячий торговец, дальний родственник или кто-то еще осознавал истинный смысл его слов. Затем следовал жестокий спор, иногда

и потасовка, и Гарнер приезжал домой в синяках и страшно довольный собой, в очередной раз доказав, что истинный уроженец Кентукки всегда достаточно строг и достаточно умен, чтобы сделать из своих негров мужчин и называть их мужчинами.

Итак, их было пятеро, чернокожих мужчин Милого Дома: Поль Ди Гарнер, Поль Эф Гарнер, Поль Эй Гарнер, Халле Сагз и Сиксо, дикий человек Всем около двадцати, и ни одной женщины поблизости; все они совокуплялись с телками, мечтали о насилии, метались на своих тюфяках в беспокойных снах, расчесывали кожу на бедрах и ждали, что решит новая девушка — та, что заняла место Бэби Сагз, которую Халле выкупил за пять лет работы по выходным. Может быть, именно поэтому она и выбрала Халле. Веский довод в его пользу — не всякий двадцатилетний парень способен работать без выходных в течение целых пяти лет только ради того, чтобы старуха получила наконец возможность просто сесть и посидеть, отдыхая.

Она выжидала год. И мужчины Милого Дома ждали с нею вместе, а между тем забавлялись с телками. Она выбрала Халле, а для первой брачной ночи сама сшила себе тайком наряд.

— Может, поживешь немного у нас? Одного-то дня после восемнадцати лет маловато будет.

Из полутемной комнаты, где они сидели, наверх, на второй этаж, вела белая лестница. Поль Ди видел лишь краешек оклеенной бело-голубыми обоями стены — на голубом фоне с желтоватыми пятнышками ворох белых снежинок Сверкающая белизна перил и ступенек приковывала к себе взгляд. Чувства его были обострены настолько, что он явственно видел воздух над этой лестницей, сотканный из волшебства, прозрачный и очень светлый. Зато девушка, что спускалась по лестнице, казалось, прямо из воздуха, была совершенно земной, пухленькой, темнокожей, с хорошеньким личиком насторожившейся куколки.

Поль Ди посмотрел сперва на девушку, потом на Сэти, которая улыбнулась и сказала:

— А вот и моя Денвер. Это Поль Ди, детка, из Милого Дома.

— Доброе утро, мистер Ди.

— Гарнер, детка. Поль Ди Гарнер. — Да, сэр.

— Ну наконец-то я тебя увидел! В последний раз, когда мы виделись с твоей мамой, ты была очень недовольна и вовсю брыкалась у нее в животе.

— Она и сейчас такая, — улыбнулась Сэти, — да только ей уж не влезть туда.

Денвер стояла на самой нижней ступеньке, и ее вдруг обдало волной горячего смущения. Уже давным-давно никто (ни та добрая белая женщина, ни священник, ни представители местной общественности, ни газетчики) не заходил к ним, не сидел у них за столом и не говорил сочувственных слов фальшивым голосом, что было особенно противно, потому что в глазах у них сквозило отвращение. Лет двенадцать назад, задолго до того, как умерла бабушка Бэби, к ним перестали заглядывать и бывшие друзья, и просто прохожие. Не переступал порога никто из цветных. А уж этот человек с ореховыми глазами тут и подавно не бывал — да и никто другой, ни с вопросами и записной книжкой, ни с углем, ни с апельсинами на Рождество. А теперь у них гость, и с этим гостем матери явно хотелось поговорить, и она даже сочла возможным разговаривать с ним босая. И выглядела при этом — да и вела себя! — совершенно как девчонка; и куда-то вдруг делась державшая себя точно королева, горделиво-спокойная женщина, которую Денвер знала всю свою жизнь. Та, что никогда не отводила глаз! Даже когда у ресторана Сойера кобыла насмерть

затоптала человека. Даже когда свиноматка начала вдруг прямо при них пожирать свой приплод. А когда маленькое привидение, рассердившись, так ударило их пса Мальчика об стену, что сломало ему две лапы и выбило глаз и, забившись в судорогах, он прикусил собственный язык, мать отнюдь не выглядела растерянной. Взяла молоток потяжелее, как следует стукнула им Мальчика по голове, чтобы пес потерял сознание, обмыла ему морду, залитую кровью и слюной, вставила обратно выбитый глаз, перевязала перебитые лапы и вложила их в лубки. Пес поправился, но больше не лаял и ходил как-то боком — в основном из-за поврежденного глаза, потому что сломанные лапы срослись нормально, но теперь ни зимой, ни летом, ни в дождь, ни в жару его невозможно было уговорить снова зайти в дом.

И вот эта спокойная, разумная женщина, которая способна была справиться со взбесившимся от боли псом, сидит, положив одну босую ногу на другую, и покачивает ею в воздухе, а на родную дочь и смотреть не желает! Словно ей это противно. Но главное — и она, и этот мужчина оба босые! Денвер было жарко, стыдно и ужасно одиноко. Все и всегда ее покидали — сперва братья, потом бабушка, и это было очень тяжело, потому

что никто из детей не хотел с ней играть или висеть головой вниз, уцепившись согнутыми в коленях ногами за перила веранды. Но даже и это можно было стерпеть, пока мать от нее не отворачивалась. А сейчас она беспечно смотрела куда-то в сторону, и Денвер вдруг захотелось, до ужаса захотелось, чтобы привидение немедленно учинило что-нибудь.

— Очень милая юная леди, — сказал Поль Ди. — И очень хорошенькая. На отца похожа.

— А вы знали моего отца?

— Знал. Хорошо знал.

— Правда, мам? — Денвер с трудом пыталась побороть неприязнь.

— Ну конечно! Я же сказала: он из Милого Дома. Денвер присела на нижнюю ступеньку лестницы.

Собственно, ничего другого не оставалось, нужно было пристойно выйти из дурацкого положения. Эта парочка все твердила «твой отец» и «Милый Дом» с таким видом, что становилось ясно: все это принадлежит им, а она здесь ни при чем. Даже ее исчезнувший отец не принадлежит ей. Когда-то его отсутствие было печалью бабушки Бэби — его, единственного из своих сыновей, она горько оплакивала, потому что именно он

выкупил ее из рабства. Потом отец стал пропавшим мужем Сэти. Теперь он оказался пропавшим другом этого незнакомца с ореховыми глазами. Значит, только те, кто знал его раньше («знал его хорошо»), имеют право на него отсутствующего? Как те, кто жил когда-то в Милом Доме, могут вспомнить о нем, шептаться и переглядываться украдкой. И снова Денвер захотелось, чтобы привидение показало, на что оно способно во гневе. Она думала об этом с восторгом, а ведь прежде не знала, куда деваться от него, эти злобные выходки выматывали всю душу, доводили до изнеможения.

— У нас здесь привидение живет, — сказала она, и это подействовало. Они больше уже не казались дружной парочкой. Мать перестала болтать в воздухе ногой и вести себя как молоденькая девчонка. Пелена воспоминаний о Милом Доме растаяла в глазах того мужчины, для которого она в эту девчонку превратилась. Он быстро взглянул на ярко-белую лестницу у Денвер за спиной.

— Да, я слыхал, — сказал он. — Но печальное, как говорит твоя мама. Не злое.

— Нет, сэр, — сказала Денвер, — не злое. Но и не печальное.

— Какое же тогда?

— Обиженное. Одинокое и обиженное.

— Правда? — Поль Ди повернулся к Сэти.

— Вот не знаю, одинокое ли, — проворчала та. — Может, и обиженное, и даже очень сердитое, да только не понимаю, чего это ему быть таким уж одиноким, если оно нас ни на минуту не оставляет.

— Наверно, что-то получить от вас хочет? Сэти пожала плечами:

— Это ведь совсем крошка.

— Моя сестра, — сказала Денвер. — Она здесь умерла, в этом доме.

Поль Ди поскреб заросший щетиной подбородок.

— Похоже на ту историю с невестой без головы, что потом вернулась и все бродила в лесочке за Милым Домом. Помнишь, Сэти?

— Разве можно забыть? Ужасно…

— Интересно, почему все вы, кто сбежал из этого Милого Дома, никак не перестанете говорить о нем? Если он такой милый, может стоило там остаться?

— Ты с кем это так разговариваешь, девчонка? Поль Ди рассмеялся:

— Все верно, верно! Она права, Сэти. Не был он для нас ни милым, ни тем более домом. — Он

покачал головой.

— Зато там мы были все вместе! — сказала Сэти. — Вместе. И от этого никуда не уйти, хотим мы того или нет. — Она зябко передернула плечами и погладила их, словно возвращая им покой. — Денвер, — обратилась она к дочери, — разожги-ка плиту. Нельзя же так старый друг пришел к нам в гости, а мы его даже и не угостили ничем.

— Не стоит беспокоиться из-за меня, — сказал Поль Ди.

— Никакого беспокойства — обычная еда, вот только булочки испеку. А остальное я захватила из ресторана. Уж если топчешься у плиты от зари до зари, то обед-то по крайней мере домой принести можно? Ты против щуки ничего не имеешь?

— Если она ничего не имеет против меня, — улыбнулся Поль Ди.

Ну вот, опять начинается, подумала Денвер. Повернувшись к ним спиной, она заталкивала в печку растопку. Напихала слишком много и чуть не потушила занявшийся огонь.

— А почему бы вам заодно и не переночевать у нас, мистер Гарнер? Тогда вы с мамой могли бы всю ночь напролет проговорить о Милом Доме.

Сэти сделала два быстрых шага в сторону пли-

ты, но не успела она схватить Денвер за шиворот, как девушка вдруг опустила голову и расплакалась.

— Да что с тобой такое? Никогда не видела, чтобы ты так себя вела!

— Да ладно, — сказал Поль Ди. — Я ведь ей совсем чужой.

— Тем более. Разве можно так вести себя с чужим человеком? В чем дело, детка? Может, случилось что?

Но Денвер уже рыдала так, что не могла вымолвить ни слова. Она не пролила за девять лет ни слезинки, но теперь слезы лились рекой и промочили насквозь платье на ее уже вполне заметной груди.

— Я больше не могу! Не могу!

— Что — не можешь? Чего это ты не можешь?

— Не могу жить здесь. Я не знаю, куда мне пойти и что нужно сделать, но здесь жить я больше не могу. Никто с нами не разговаривает. Никто к нам не заходит. Парням я не нравлюсь. Девушкам тоже.

— Милая моя девочка…

— Что это она говорит насчет того, что «никто с вами не разговаривает»? — спросил Поль Ди.

— Это все из-за дома. Люди не…

— Нет, не из-за дома! Это из-за нас! Из-за тебя!

— Денвер!

— Не надо, Сэти. Конечно, молодой девушке тяжело жить в доме, где обитают духи. Всякому было бы нелегко.

— Куда легче, чем многое другое.

— Слушай, Сэти, вот я, взрослый мужчина, все на свете видел и испытал, но я уверен, что с духами жить никому не по силам. А может, вам лучше уехать отсюда? Кому он принадлежит, этот дом?

Сэти метнула на Поля Ди ледяной взгляд поверх плеча Денвер.

— А тебе не все равно?

— Они что ж, не позволят вам выехать?

— Нет.

— Сэти!

— Нет. И слышать не желаю. Никаких переездов! Никаких отъездов! Все и так хорошо.

— Говоришь, что все хорошо, когда твоя дочка с ума сходит?

Что-то в доме насторожилось, затихло тревожно, и в наступившей напряженной тишине Сэти отчетливо проговорила:

— У меня на спине дерево, в доме моем привидение, и между мной и им — только моя дочь, которую я сейчас в объятиях держу. Я никуда

больше не побегу — ни от кого. Я уже одно бегство совершила и расплатилась за него сполна, но вот что я скажу тебе, Поль Ди: слишком дорогой была та цена! Слышишь? Слишком дорогой. А теперь, если хочешь, садись вместе с нами за стол или уходи и оставь нас в покое.

Поль Ди, не отвечая, порылся в кармане, вытащил свой кисет и принялся сосредоточенно распутывать тесемки, а Сэти тем временем отвела Денвер в гостиную, соседнюю с той большой комнатой, где он сидел. Бумаги для курева у него все равно не было, однако он продолжал возиться с кисетом, прислушиваясь через открытую дверь к тому, как Сэти успокаивает дочь. Когда она вернулась, то, не глядя на него, прошла прямо к маленькому столику возле плиты и повернулась к нему спиной. Теперь он мог сколько угодно, не отвлекаясь, разглядывать ее замечательные волосы.

— Что это еще за дерево у тебя на спине?

— Уф! — Сэти поставила на стол тяжелую миску и снова нагнулась — за мукой.

— Я спрашиваю, что это за дерево у тебя на спине? У тебя что, на спине что-нибудь выросло? Я ничего такого не вижу.

— И все равно оно там.

— Да кто тебе такое сказал?

— Одна белая девушка. Так она это назвала. Сама-то я его никогда не видела и не увижу. Но она так сказала: похоже, мол, на деревце. На вишневое деревце. Ствол, ветки и даже листочки. Маленькие вишневые листочки. Только было это восемнадцать лет назад. Теперь-то уж небось и вишни поспели, откуда мне знать.

Сэти легонько облизнула указательный палец и быстро коснулась им плиты, пробуя, насколько та нагрелась. Потом просеяла муку сквозь пальцы, разделяя ее на кучки, маленькие холмики и горные кряжи, в поисках клещей. Ничего не обнаружив, она насыпала чуточку соды и соли в сложенную горсткой руку и смешала все это с мукой. Достала жестянку с топленым свиным жиром, зачерпнула оттуда полгорсти и ловко растерла муку с жиром, левой рукой сбрызнув все это водой. Потом замесила густое тесто.

— У меня еще было полно молока, — проговорила она. — Я была беременна Денвер, но для моей малышки молока у меня еще хватало, и я не переставала кормить ее до того самого дня, когда отослала ее к Бэби Сагз вместе с Ховардом и Баглером. — Сэти принялась формовать булочки с помощью деревянной лопатки. — Каждый

мог за версту учуять запах моего молока — чего там, вечно у меня на груди были пятна, всем в глаза бросались, только я ничего не могла с этим поделать. Ну да все равно. Я непременно должна была доставить малышке молоко. Никто ведь не собирался кормить ее своим молоком. Никто не знал, когда ее нужно кормить и сколько ей нужно, а ведь сама она не могла об этом сказать. Никто не знал, что у девочки не могут отойти газы, если ее все время держать на плече — они у нее отходили, только когда она плашмя лежала у меня на коленях. Никто ничего этого не знал, кроме меня, и ни у кого не было для нее молока, кроме как у меня. Я сказала об этом женщинам в поезде[1]. Попросила их свернуть тряпочку в узелок, намочить в подсахаренной воде и давать ей сосать, чтобы за те несколько дней, пока я доберусь туда, она меня не забыла. Ничего, я бы поспела вовремя — и с молоком для нее.

— Мужчины, конечно, об этом толком не знают, — сказал Поль Ди, засовывая кисет обратно в карман, — да только всем ясно, что нельзя груд-

---

[1] Примечания: 1

Имеется в виду «Подземная железная дорога» — тайная организация, помогавшая неграм-рабам бежать на Север. Созданная освободившимися неграми при поддержке аболиционистов, дорога представляла собой цепь «пересадочных станций», где беглецам давали приют. (Здесь и далее — прим. перев.)

ного младенца надолго от матери отрывать.

— А может, им ясно и то, каково это, отрывать от себя ребенка, когда груди твои полны молока?

— Мы ведь с тобой о дереве толковали, Сэти!

— После того как я ушла от тебя, явились те парни и отняли у меня мое молоко. Они именно за этим и явились. Повалили меня, держали и отняли молоко. Я про них сказала миссис Гарнер. Из-за этой своей опухоли она говорить не могла, но слезы у нее из глаз так и катились. Ну а эти парни прознали, что я наябедничала. И учитель велел одному из них заголить мне спину и располосовать ее так, что вышло вроде как дерево. Оно и сейчас там растет.

— Они тебя плетью из воловьей кожи избили?

— И отняли мое молоко.

— Они тебя плетью избили? Беременную?

— И отняли мое молоко!

Пышные белые кругляшки теста ровными рядами ложились на противень. Сэти снова коснулась плиты влажным кончиком пальца. Потом открыла дверцу духовки и сунула туда противень с булочками. Закрыв дверцу и распрямившись, она почувствовала, что Поль Ди подошел к ней сзади и обнял; ладони его были у нее под грудью. Она уже поняла, хоть и не могла этого почув-

ствовать, что щекой своей он прижался к ветвям вишневого деревца, высеченного у нее на спине.

Не прилагая никаких усилий и не желая того, он стал тем человеком, в присутствии которого, стоило ему войти в дом, женщины начинали плакать. Потому что перед ним могли это делать. Было в нем что-то благословенное. Женщины, видевшие его впервые, начинали плакать и рассказывать ему, как болят у них грудь и колени. Даже самые сильные и мудрые женщины доверяли ему то, что могли сказать только друг другу: что на склоне лет желание становится неодолимым — жадным, диким и более жгучим, чем в юности; что это смущает их и печалит; что втайне они мечтают умереть — лишь бы избавиться от этой муки; и что сон и покой для них куда дороже каждого нового дня жизни. А юные девушки украдкой признавались ему, какие яркие и постыдные сны видят порой и как долго помнятся ощущения от этих снов. И поэтому, даже не зная истинной причины, Поль Ди не был удивлен, когда Денвер начала ронять слезы в очаг. Или когда, через четверть часа, рассказав ему об отнятом у нее молоке, ее мать тоже заплакала. Стоя над ней, изогнувшись радугой, он поддерживал ее груди своими ладонями. Он

терся щекой об ее спину, ощущая случившуюся с ней беду, ее истоки, ее корни, ее толстый ствол и прихотливо переплетенные ветви. Скользнув пальцами по крючкам на ее платье, он уже знал, не видя, что вскоре польются слезы. А когда лиф платья упал и обернулся вокруг ее бедер и Поль Ди увидел узор у нее на спине, — словно кузнец-мечтатель, создавший это чудо, ревниво оберегал его от посторонних глаз, — он смог только подумать (но не сказал вслух): «О, господи, детка!» И не было ему ни терпежу, ни покоя, пока он не дотронулся до каждой зазубринки, до каждого листочка этого небывалого дерева собственными губами; ни одного из этих прикосновений Сэти почувствовать не могла, ибо кожа у нее на спине омертвела много лет назад. Но она знала одно: теперь — наконец-то! — груди ее покоятся в чьих-то надежных руках.

Неужели нельзя освободить хоть немного места, хоть немного времени в этой слишком богатой событиями жизни, думала Сэти, неужели нет хоть какого– нибудь способа сдержать ее неустанный бег, отодвинуть заботы и просто постоять немножко вот так, обнаженной и свободной от плеч до талии, когда груди твои покоятся в чьих-то надежных руках, и вновь

ощутить запах украденного у нее материнского молока и аромат пекущегося хлеба? Может быть, на этот раз, замерев у кухонной плиты, она сумеет наконец ощутить ту боль, которую должна была бы чувствовать в своей спине? Чему-то поверить и что-то вспомнить, потому что последний из мужчин Милого Дома сейчас рядом и поддержит ее, если от этих мыслей у нее потемнеет в глазах.

Плита, нагревшись, перестала потрескивать. Денвер в соседней комнате совсем притихла. Пятно пульсирующего красного света не возвращалось, а Поль Ди дрожал так, как не дрожал с 1856 года, когда дрожь била его восемьдесят три дня подряд. Запертый в ужасной норе и закованный в кандалы, он тогда трясся так, что не мог даже закурить или просто почесаться. Сейчас, правда, у него дрожали ноги. Ему потребовалось некоторое время, чтобы догадаться, что ноги у него дрожат не от нервного возбуждения, а от того, что под ним колышутся доски пола. Весь дом ходил ходуном, скрежетал и раскачивался. Сэти беспомощно соскользнула на пол, пытаясь снова влезть в верхнюю часть платья и одновременно удержать собственный дом на месте. Так, на четвереньках, ее и увидела Денвер, вылетевшая из гостиной; в глазах у Денвер был ужас, на губах

растерянная улыбка.

— Черт побери! Да успокойтесь вы! — кричал Поль Ди, падая и стараясь за что-нибудь уцепиться. — А ну убирайся из этого дома! Убирайся к чертовой матери! — Кухонный стол тут же бросился на него в атаку, и он схватил стол за ножку. Наконец ему удалось подняться, и он, так и не сумев выпрямиться до конца, поднял столик за две ножки и с размаху стал бить им куда попало, круша все подряд и яростно крича бушующему дому: — Хочешь драться со мной? Давай! Выходи! Черт тебя побери! Ей и без тебя за десятерых досталось. Хватит!

Чудовищная дрожь, сотрясавшая дом, почти прекратилась, и он лишь иногда передергивался и пошатывался, но Поль Ди продолжал орудовать кухонным столом, пока все не затихло. Взмокший от пота, тяжело дыша, Поль Ди прислонился к стене в том месте, где раньше стоял буфет. Сэти так и лежала, скрючившись возле плиты, и прижимала к груди спасенные башмаки. Все трое, Сэти, Денвер и Поль Ди, дышали в такт, словно одно усталое существо. И слышалось еще чье-то дыхание, тоже очень усталое.

Оно исчезло. Дом умолк. В воцарившейся тишине Денвер приблизилась к плите. Поворошила

головешки, вытащила из духовки противень с булочками. Буфет был опрокинут, варенье куском студня лежало среди осколков и мусора в углу нижней полки. Денвер вытащила другую банку с вареньем и, поискав глазами тарелку, обнаружила половинку ее возле самой двери. Булочки, варенье и половинку тарелки она вынесла на крыльцо и присела там на ступеньку.

А эти двое ушли наверх. Босиком, ступая легко и неслышно, они поднялись по белым ступеням, оставив ее, Денвер, внизу. Одну. Она распечатала банку, сняла тряпочку и удалила тонкий слой воска. Потом вытряхнула варенье на краешек разбитой тарелки. Взяла булочку и отломила чуть подгоревшую корку. Из белой серединки колечками потянулся пар.

Она очень скучала по своим братьям. Баглеру и Ховарду сейчас должно было бы исполниться двадцать два и двадцать три. Хотя они обычно ее не обижали и всегда уступали ей любимое место в изголовье кровати, она отлично помнила, как они, усевшись с ней на белых ступеньках лестницы, — кто-нибудь, Баглер или Ховард, зажимал ее между коленями, не давая уйти, — наслаждались, заставляя ее слушать страшные-престрашные (умри, ведьма!) истории, применяя давно испро-

бованный и безотказный способ напугать ее до смерти. И Бэби Сагз тоже о многом рассказывала ей, лежа в гостиной. Днем бабушка пахла древесной корой, а ночью — листьями. Денвер хорошо это знала, потому что отказывалась спать в своей прежней комнате с тех пор, как убежали братья.

А теперь ее мать поднялась наверх с мужчиной, который только что прогнал из дому единственное существо, заменившее ей друга. Денвер обмакнула кусочек булки в варенье и упрямо, медленно, горестно принялась жевать.

* * *

Не то чтобы поспешно, но и не теряя времени даром, Сэти и Поль Ди взобрались по белой лестнице на второй этаж Ошеломленный свалившимся на него счастьем, тем, что отыскал ее дом и ее самое, а также уверенностью, что сейчас они будут заниматься любовью, Поль Ди решил выбросить последние двадцать пять лет из своей памяти. На одну ступеньку впереди него шла та, что некогда сменила Бэби Сагз на ее посту, та самая девушка, о которой они мучительно мечтали ночами и совокуплялись с телками, ожидая, пока она сделает свой выбор. Он всего лишь поцеловал узор, выкованный у нее на спине, однако это по-

трясло весь дом, а его самого заставило разнести все вдребезги. Что ж, теперь он совершит нечто большее.

Она вела его вверх по лестнице, туда, где свет, казалось, падал прямо с неба, потому что окна на втором этаже были сделаны в наклонном потолке, а не в стенах. Там были две комнаты, и она провела его в одну из них, надеясь, что он не рассердится, застав ее врасплох: хотя она и сумела вспомнить, что такое желание, но совсем позабыла, как оно действует на человека: руки точно сведены судорогой и беспомощны, и нападает странная слепота — единственное, что видишь сразу, — это место, где можно лечь, а остальное — дверные ручки, всякие тесемки, крючки, печаль, собравшаяся в углах дома, быстротечное время — лишь помехи для главного.

Все было кончено еще до того, как они успели сорвать с себя одежду. Полуобнаженные, задыхаясь, они лежали рядом, злясь друг на друга и на свет, лившийся на них с небес. Он слишком долго мечтал о ней, и вообще — все это было слишком давно. Она же и вовсе не думала о себе и ни на что не надеялась. Оба испытывали разочарование и смущение и не решались заговорить друг с другом.

Сэти лежала на спине, отвернув от него лицо. Краешком глаза Поль Ди видел плавную линию ее груди и не испытывал ни малейшего удовольствия: он преспокойно мог бы отвернуться от этих больших, округлых, чуть расплывшихся грудей, а ведь там, внизу, он принял их в свои руки как самую большую драгоценность. И загадочный лабиринт страшных рубцов у нее на спине, который он исследовал на кухне с жадностью золотоискателя, наткнувшегося на богатую жилу, оказался на самом деле сплетением отвратительных шрамов. Никакое это не дерево. Может, немного и похоже, да только ничего общего с теми деревьями, которые он хорошо знал, ибо деревья всегда манили его к себе; деревьям можно было доверять, можно было открыть им душу, поговорить с ними, как он это часто и делал еще в Милом Доме, когда после обеденного перерыва возвращался в поля. Он всегда останавливался передохнуть по возможности в одном и том же месте, и выбрать это место оказалось нелегко, потому что вокруг Милого Дома росло куда больше прекрасных деревьев, чем на любой другой тамошней ферме. Выбранное дерево он назвал Братцем и часто сидел под ним, иногда один, иногда с Халле или с кем-то из Полей, но чаще

всего с Сиксо, который тогда был очень тихий и смирный и пока еще разговаривал по-английски. Иссиня-черный, с ярко-красным языком, Сиксо без конца экспериментировал с заготовленной с ночи картошкой, пытаясь рассчитать, когда же надо раскалить камни на дне ямки, сверху положить картошку, а потом всякие прутики и веточки, чтобы к обеденному перерыву, когда они соберут стадо и придут к Братцу, картошка была в самый раз. Он мог ради этого, например, встать среди ночи и специально отправиться в такую даль, чтобы выкопать в земле ямку при свете звезд; а иногда он пробовал не слишком сильно нагревать камни и клал на них картошку, предназначенную на следующий день, сразу после завтрака. Картошка никогда не получалась у него так, как он хотел, но они все равно съедали ее — недопеченную, подгоревшую, пересушенную или почти сырую, смеясь, сплевывая шелуху и давая Сиксо разные советы.

Время никак не желало подчиняться расчетам Сиксо, и совладать с ним он не мог. Однажды, с точностью до минуты рассчитав тридцатимильный поход на свидание с женщиной, он вышел в субботу, когда луна была как раз там, где ей и полагалось быть, добрался до хижины своей воз-

любленной еще до того, как в церкви зазвонили к обедне, и ему как раз хватило времени, чтобы поздороваться с ней и тут же отправиться назад, чтобы успеть к утренней перекличке в понедельник. Он шел пешком семнадцать часов, потом посидел у нее ровно час и прошагал еще семнадцать часов в обратном направлении. Весь день Халле и все остальные старательно скрывали от мистера Гарнера, как Сиксо измотан. В тот день они, разумеется, никакой картошки не ели — ни простой, ни сладкой. Растянувшись под Братцем, спрятав от них свой ярко– красный язык и иссиня-черное лицо, Сиксо весь обеденный перерыв проспал как убитый. Вот что такое мужчина и вот что такое дерево! Куда им до них! И сам он, и «дерево», возле которого он лежит, — оба не настоящие.

Поль Ди посмотрел в окно над изножием кровати и закинул руки за голову. При этом его локоть коснулся плеча Сэти. Она вздрогнула от прикосновения грубой материи к своему голому плечу. Она и забыла, что он так и не успел снять рубашку. Собака, подумала она и тут же вспомнила, что сама помешала ему. И что сама не успела снять нижнюю юбку, а ведь она-то начала раздеваться еще до того, как увидела его на веранде, — сняла

и чулки, и башмаки, да так и несла их в руках, пока он не посмотрел на ее босые ноги и не попросил разрешения тоже разуться. А потом, когда она стряпала у плиты, он еще больше ее раздел. Так что если учесть, как скоро они принялись скидывать с себя одежду, то уж могли бы скинуть ее всю. Впрочем, возможно, Бэби Сагз была права, когда говаривала: «Мужчина — это всего лишь мужчина, и ничего больше». Они просят тебя передать им какую-то часть твоего бремени, но стоит тебе ощутить, как приятно и легко тебе стало, как они начинают всматриваться в твои шрамы и оценивать твои тяготы, а потом делают то, что этот вот уже сделал: выгнал ее детей из дому и разнес все вдрызг.

Нет, просто необходимо встать и уйти отсюда, спуститься вниз и поскорее снова собрать все по кускам. Этот дом, сказал он, нужно сменить, словно дом — это какая-то мелочь, блузка или корзинка с нитками, словно от дома можно запросто отвернуться и уйти. И такое он посоветовал ей, у которой никогда не было своего дома — кроме вот этого; она бросила свою хижину с земляным полом ради того, чтобы оказаться здесь; она каждое утро непременно приносила с собой на кухню в доме мистера Гарнера букетик козлобородника

— чтобы, работая там, хоть в какой-то степени чувствовать, что это место принадлежит и ей, потому что ей хотелось любить свою работу, хотелось чувствовать себя на кухне уютно, уверенно, и по дороге она срывала какой– нибудь цветочек и прихватывала с собой. В те дни, когда она забывала это сделать, масло у нее не желало сбиваться, рассол в бочке оказывался слишком крепким, и все руки покрывались волдырями.

По крайней мере, она тогда считала, что все дело в этом. Несколько желтых цветочков на столе, пучок миртовых веточек, торчащих из утюга, придвинутого к открытой двери, чтобы пропускать в дом свежий ветерок, — все это действовало на нее благотворно, и, когда они с миссис Гарнер усаживались перебирать щетину или готовить чернила, ей было хорошо. Очень хорошо. Она совсем не боялась тех мужчин. Тех пятерых, что спали в лачугах неподалеку, но к ней никогда ночью не заходили. Только приподнимали свои обтрепанные шляпы, завидев ее, и смотрели во все глаза. Когда она приносила им в поле еду, копченую грудинку и хлеб в чистой тряпице, они никогда ничего не брали прямо у нее из рук. Отступали и ждали, когда она положит сверток на землю, у корней дерева, и уйдет. Они не только

не желали брать еду у нее из рук, но и не позволяли ей смотреть, как они едят. Раза два-три она задержалась — спряталась за жимолостью и наблюдала за ними. Без нее они были совсем другими — смеялись, подшучивали друг над другом, пели, отходили в сторонку, чтобы помочиться. Посмеяться любили все, кроме Сиксо, который засмеялся только один раз в жизни — в самом ее конце. Лучшим из них, конечно же, был Халле. Восьмой, и последний ребенок Бэби Сагз, который брался за любую работу на соседних фермах, чтобы выкупить мать и отправить подальше от Милого Дома. Но и он тоже, как оказалось, был не более чем мужчиной.

— Мужчина — всего лишь мужчина, — говорила Бэби Сагз. — А вот сын — это уже и правда кое-что!

И справедливо это было по множеству причин: в течение всей своей жизни Бэби, как, впрочем, и Сэти, ощущала, что ею и другими мужчинами и женщинами манипулируют как при игре в шашки. Все, кого Бэби Сагз знала, не говоря уж о тех, кого она любила, — если им не удалось убежать или их не повесили, — могли быть сданы внаем, отданы другому хозяину в уплату долга, проданы, выкуплены, выставлены на продажу, заложены,

выиграны в карты, украдены или конфискованы. Именно поэтому у восьмерых детей Бэби было шестеро отцов. Вот что она называла «паскудством жизни» — ужасное сознание, что никто не перестанет передвигать шашки по доске из-за того, что в игру включены теперь ее дети. Халле она сумела удержать при себе дольше всех остальных. Двадцать лет. Целую жизнь. Его отдали ей — явно в виде компенсации, — когда она узнала, что две ее девочки, у которых еще молочные зубки не выпали, проданы и уже увезены. Она даже не смогла помахать им рукой на прощанье. Когда-то, тоже в качестве компенсации, помощник хозяина, жалкий тип, который целых четыре месяца развлекался с ней как хотел, позволил ей оставить при себе третьего ребенка — а потом, следующей весной, мальчика продали в уплату за пиломатериалы, а она оказалась беременной от этого негодяя, пообещавшего, что мальчика не продаст, и все-таки продавшего. Ребенка от этого человека она любить не могла, а остальных — не позволяла себе. «Господь сам возьмет то, что захочет», — говорила она. И Он брал, Он брал, Он брал, но потом все-таки дал ей Халле, который подарил ей свободу, когда она уже почти ничего для нее не значила.

Сэти на удивление повезло — ей достались целых шесть лет замужней жизни с Халле, который действительно «был кое-чем» — сыном Бэби Сагз и отцом всех ее детей. Этой Божьей милости она безоговорочно и беспечно поверила, приняв ее как должное; сочла Милый Дом своим убежищем, словно это действительно могло быть так Словно пучок миртовых веточек, сунутых в утюг, который подпирал дверь на кухне господского дома, способен был превратить этот дом в ее собственный. Словно листочек мяты, взятый в рот, меняет все у тебя внутри, а не только придает аромат твоему дыханию. Да, большей дуры, чем она, на всем свете не сыскать!

Сэти хотела было перевернуться на живот, но передумала. Она опасалась вновь привлечь к себе внимание Поля Ди, так что довольствовалась тем, что скрестила поудобнее ноги.

Однако Поль Ди заметил и ее движение, и то, что она стала дышать иначе. Он чувствовал себя обязанным попробовать еще раз и действовать медленнее и спокойнее, но желание куда-то пропало. На самом деле было даже приятно не желать ее. Двадцать пять лет — и одно мимолетное мгновенье! Вот так же получилось и у Сиксо, когда он все подготовил для свидания с Патси,

женщиной с тридцатой мили. Ему потребовалось три месяца и два похода — тридцать четыре мили туда и обратно, — чтобы исполнить задуманное. Чтобы убедить ее пройти ему навстречу всего одну треть этого долгого пути до заброшенной каменной постройки, которую он отыскал. В незапамятные времена в ней жили краснокожие, считавшие тогда, что вся эта земля принадлежит им. Сиксо обнаружил заброшенное строение во время одной из своих ночных вылазок и вежливо попросил разрешения войти. Войдя внутрь, он почувствовал то, что это за дом, и спросил у духов некогда обитавших здесь краснокожих, можно ли ему привести сюда свою женщину. Духи не возражали, так что Сиксо самым тщательным образом разъяснил своей подружке, как туда попасть, где свернуть и каким свистом он позовет ее, а каким предупредит об опасности. Поскольку ни он, ни она не могли отлучаться от своих ферм без разрешения и поскольку той женщине с тридцатой мили уже минуло четырнадцать и ее собрались отдать другому мужчине, опасность была и в самом деле велика. Когда Сиксо прибыл в условленное место, Патси там не оказалось. Он посвистел, но безрезультатно. Заглянув в заброшенный индейский дом, не обнаружил ее и там.

Он снова вернулся туда, где они договорились встретиться. Никого. Он еще подождал.

Она не появлялась. Он совсем перепугался и двинулся по дороге ей навстречу, прошел три или четыре мили и остановился. Идти дальше было совершенно бессмысленно. Он стоял на ветру и молил о помощи, вслушиваясь в каждый звук. И тут услышал слабое хныканье. Он свернул с дороги, немного прошел на этот плач, подождал и, снова услышав его, потерял всякую осторожность: он громко окликнул ее по имени. Она ответила, и голос ее прозвучал для него как сама жизнь — не как смерть. «Не сходи с места! — крикнул он ей. — Дыши чаще и глубже, я тебя отыщу». И отыскал. Она была уверена, что пришла туда, куда нужно, и плакала, думая, что он не сдержал своего обещания. Однако теперь идти в индейское каменное жилище было уже слишком поздно, так что легли там, где стояли. Потом он до крови проколол ей кожу на лодыжке, как если бы ее укусила змея, — чтобы ей было что сказать по поводу своего опоздания на табачную плантацию, где она обирала с листьев гусениц. Он очень подробно рассказал ей, как можно сократить путь, если идти вдоль ручья, и немного проводил ее. Когда он выбрался на дорогу, было

уже совсем светло, а он так и не успел одеться и нес свою одежду в руках. Вдруг из-за поворота прямо на него выкатилась повозка. Возница вытаращил глаза и замахнулся кнутом, а сидевшая рядом с ним женщина стыдливо прикрыла лицо. Но Сиксо нырнул в лес прежде, чем кнут успел полоснуть по его иссиня-черной голой заднице.

Он рассказывал об этом Полю Эф, Халле, Полю Эй и Полю Ди так забавно, что они стонали от хохота. А еще Сиксо ходил по ночам в лесную чащу. Танцевать, говорил он, и тем самым поддерживать связь с предками. И всегда совершал это в полном одиночестве, тайком. Никто из них никогда не видел этих его танцев, но когда они представляли их себе, то всегда смеялись — при свете дня, разумеется, когда смеяться над такими вещами безопасно.

Но все это было еще до того, как Сиксо перестал говорить по-английски, потому что «не видел в этом смысла». Благодаря той женщине с тридцатой мили Сиксо был единственным среди них, кто не очумел от желания заполучить Сэти. Нет ничего лучше, чем заниматься с нею любовью, воображал себе Поль Ди и думал так целых двадцать пять лет. Он улыбнулся своей наивности и повернулся на бок, к ней лицом. Глаза Сэти были

закрыты, волосы в страшнейшем беспорядке. Если смотреть на нее такую, да еще когда ее блестящие глаза закрыты, лицо ее вовсе не кажется таким уж привлекательным. Значит, именно ее глаза внушали ему тревогу и возбуждали страсть. Если бы не было этих глаз, он вполне справился бы с собой — лицо ее без них сразу становится довольно заурядным. Может быть, если она так и не откроет их… Но нет, оставался еще ее рот. Красивый. Прелестный. Халле никогда не понимал, какое сокровище ему досталось!

Даже с закрытыми глазами Сэти знала, что он смотрит на нее, и та фотография в газете, по которой она поняла, как ужасно может порой выглядеть, вновь возникла у нее в памяти. Но он смотрел на нее вовсе не насмешливо. Нежно. Нежно и словно бы выжидающе. Он ее не судил — или, точнее, судил, но ни с кем не сравнивал. Никогда со времен их совместной жизни с Халле ни один мужчина не смотрел на нее так не любовно, не страстно, а заинтересованно, словно рассматривая початок кукурузы с точки зрения его качества. Халле вел себя с нею скорее как брат. Он заботился о ней как о члене семьи, а вовсе не доказывал, что он — мужчина, а она — его собственность. В течение нескольких лет

они только по воскресеньям видели друг друга при свете дня. Всю остальную неделю они встречались, разговаривали, ласкали друг друга и ели в темноте. В предрассветных сумерках или во тьме позднего вечера. Так что рассмотреть друг друга как следует, внимательно, с удовольствием позволяли себе только воскресным утром, и Халле изучал ее так, словно запасался тем, что видит при солнечном свете, на всю оставшуюся неделю. А времени было так мало! После работы в Милом Доме и по воскресеньям после обеда он отрабатывал свой долг за мать. Когда он попросил Сэти стать его женой, она с радостью согласилась, а потом задумалась о том, каким должен быть следующий шаг. Ведь должно же быть какое-то торжество, верно? Священник, танцы, угощение — что-нибудь такое. Из женщин на ферме были только она сама да миссис Гарнер, так что Сэти решилась спросить у своей хозяйки:

— Мы с Халле хотим пожениться, миссис Гарнер.

— Да, я слышала. — Она улыбнулась. — Он говорил мистеру Гарнеру. А что, ты уже ребенка ждешь?

— Нет, мэм.

— Ну что ж, это быстро делается. Ты ведь зна-

ешь, о чем я, правда?

— Да, мэм.

— Халле — парень очень хороший, Сэти. Он будет добр к тебе.

— И все-таки, мэм, мы хотим пожениться!

— Да-да, ты ведь уже это сказала. И я ответила: хорошо.

— А свадьба будет?

Миссис Гарнер положила ложку. С улыбкой коснулась волос Сэти и сказала:

— Милая ты моя девочка.

И больше ни слова. Сэти тайком сшила себе свадебный наряд, а Халле повесил свой аркан на гвоздь в ее каморке. И там, на тюфяке, что лежал прямо на земляном полу, они любили друг друга в третий раз; первые два были на кукурузном поле — это небольшое поле мистер Гарнер засеивал кукурузой, потому что ее ели не только животные, но и люди. И Халле, и Сэти были уверены, что там их никто не увидит. Нырнув в гущу кукурузных стеблей, сами они не видели ничего, только метелки кукурузы, что раскачивались у них над головами… и это было видно каждому.

Сэти улыбнулась, вспомнив, какими они с Халле были тогда глупыми. Даже вороны сразу все поняли и пришли посмотреть. Она снова вытяну-

ла ноги, стараясь не рассмеяться вслух.

Резкий переход от забав с телками к любви с настоящей девушкой, думал Поль Ди, оказался вовсе не таким уж впечатляющим. Отнюдь не прыжок над пропастью, как считал Халле. Впервые он взял ее в кукурузе, а не в хижине, находившейся буквально в двух шагах от хижин остальных негров, которые проиграли в этом соревновании. Старался уберечь ее от посторонних взглядов, хотел, чтобы для Сэти это было таинством, а устроил, не ведая о том, публичное представление. Разве можно не заметить, как в безветренный безоблачный день качаются метелки на кукурузном поле? Поль Ди, Сиксо и два других Поля сидели под Братцем и поливали себе головы водой из тыквенной фляжки, но и сквозь текущую по лицу холодную колодезную воду видели, как прямо перед ними качаются метелки кукурузы. Ох и тяжко же это было, сидеть там, сгорая от желания, и видеть, как под полуденным солнцем танцуют метелки на кукурузном поле. А вода, что охлаждала их головы и проясняла мысли, делала это зрелище еще нестерпимее.

Поль Ди вздохнул и перевернулся на другой бок. Сэти воспользовалась этим и тоже повернулась. Глядя на спину Поля Ди, она вспомнила

кукурузные стебли, что сломались и согнулись над спиной Халле, и пальцы свои, которые цеплялись за все, что попадалось, и наконец вцепились в початки, обрывая листовую оболочку и шелковистые нити.

Как струился под пальцами шелк! Как сочны початки!

Ревнивое возбуждение наблюдавших мужчин еще возросло благодаря пиршеству, которое они устроили в ту ночь из молодых початков, сорванных с тех самых поломанных стеблей. Мистер Гарнер был уверен потом, что на поле побывали еноты. Поль Эф свои початки хотел поджарить; Поль Эй — сварить, и теперь Поль Ди уже не мог вспомнить, как же они все-таки приготовили эту кукурузу, которая еще и молочной-то зрелости не достигла. Но вот что он помнил отчетливо: как они осторожно очищали початки от шелковистых волосков, стараясь не повредить ногтями ни одного зернышка.

Треск листьев, спеленавших початок, сам этот звук всегда казался ей криком боли.

Но стоило содрать первый листок, как все остальные снимались легко, и обнаженные, беззащитные теперь зернышки представали перед глазами ряд за рядом. Как струился под пальцами

шелк! Как напоены соком освобожденные из зеленой темницы зерна!

И не важно, что перепачкан весь рот и пальцы; разве можно принимать это в расчет, когда испытываешь столь простую и сильную радость!

Как струился под пальцами шелк! Какая покорность, и нега, и воля!

* * *

Все «секреты» у Денвер были душистые. Все свои драгоценности она перекладывала дикой вероникой, пока не открыла для себя такую замечательную вещь, как одеколон. Первый флакон ей подарили, второй она стащила у матери и спрятала в зарослях букса, а зимой одеколон замерз и флакон треснул. Это было в тот год, когда зима явилась второпях: как-то вечером, сразу после ужина заглянула к ним да и задержалась на целых восемь месяцев. Это были военные годы, и мисс Бодуин, та добрая белая женщина, принесла им подарки на Рождество — одеколон им с матерью, апельсины мальчикам, а Бэби Сагз — отличную шерстяную шаль. Говоря о Войне, где столько людей умирает, она казалась удивительно счастливой — лицо ее пылало, и хотя голос у нее был низкий, почти мужской,

она благоухала так, словно в комнате было полным– полно цветов, — восторг, связанный с этим ароматом, Денвер потом испытывала в полном одиночестве в зарослях букса. За домом номер 124 был небольшой лужок, а дальше начинался лес. В лесу протекал ручей, и на ближнем краю леса, между лугом и ручьем, среди огромных дубовых пней, росли пять буксовых кустов, образовавших пышную куртину; поднявшись над землей фута на четыре, кусты начали тянуться друг к другу, и получилось нечто вроде округлой беседки футов семи в высоту, с толстыми зелеными стенами из шепчущихся листьев.

Низко пригнувшись, Денвер ныряла в густую зелень, а внутри этой комнатки могла даже выпрямиться в полный рост, окруженная изумрудным светом.

Все это началось, еще когда она маленькой девочкой играла здесь в обыкновенные игры, но потом ее желания изменились, изменилась и сама игра. Здесь было тихо, никто сюда не заходил, и никто не знал об этом месте, разве что кролики заглядывали, но сразу пугались запаха одеколона и убегали. Сперва Денвер просто играла здесь (тишина в зеленой комнатке была какой-то удивительно спокойной), потом это превратилось в

убежище (здесь она забывала о страхе, владевшем ее братьями), и вскоре эта естественная беседка стала для нее самым любимым местом, где она спасалась от горестей горького мира и давала волю воображению, рождавшему и утолявшему жажду, и этим Денвер жила, ибо беспросветное одиночество выматывало ее, иссушало душу. Да, именно так иссушало душу. Под защитой зеленых лиственных стен она чувствовала себя взрослой и умной, и спасение было совсем близко, стоило только пожелать.

Однажды она полуодетая сидела в своей лесной комнатке — это было осенью, задолго до того, как Поль Ди переехал к ним и стал жить с ее матерью, — и ей вдруг стало холодно: повеял какой-то странный ветер, пахнувший духами. Она быстро оделась, вылезла, пригнувшись, из своего зеленого убежища, выпрямилась, да так и застыла под падавшими с небес снежинками: этот мелкий колючий снежок словно пришел из воспоминаний матери о том, как она родила Денвер — в жалкой дырявой лодчонке с помощью белой девушки, в честь которой Денвер и получила свое имя.

Дрожа, Денвер подошла к дому и взглянула на него с осторожностью — для нее он был живым существом. Существом, способным плакать,

вздыхать, дрожать и страдать нервными припадками. Походка и взгляд Денвер были робкими, как у ребенка, который неуверенно подходит к болезненному и праздному родственнику, зависимому, но гордому. Дом был окован тьмой, приоткрыта была лишь одна нагрудная пластина — неярко светилось окно комнаты Бэби Сагз. Денвер заглянула туда и увидела, что мать молится, стоя на коленях. В этом не было ничего необычного. Необычным было другое (даже для девочки, что всю свою жизнь прожила в доме, где хозяйничают духи умерших): рядом с матерью и тоже на коленях стояло белое платье, рукавом обнимая ее за талию. Нежность этого объятия тут же заставила Денвер вспомнить обстоятельства ее появления на свет — нежность и мелкие, колючие снежинки, что сыпались на нее с небес, словно лепестки цветов. Белое платье и мать казались двумя взрослыми женщинами-подругами — и одна из них (платье) поддерживала другую. А волшебство ее, Денвер, рождения — настоящее чудо, — как и ее собственное имя, подтверждало, что такая дружба возможна.

Она легко погрузилась в историю, рассказанную ей бесчисленное число раз, и давно знакомые картины разворачивались перед нею, пока она

брела по тропке от освещенного окна к двери. В доме была только одна дверь, и Денвер, чтобы добраться до нее, нужно было обойти весь дом кругом и зайти с фасада, то есть пройти мимо теплой кладовки, мимо холодной, мимо уборной, мимо сарая — в общем, обойти весь двор и только потом подняться на крыльцо. А чтоб добраться до того места в знакомой истории, которое Денвер любила больше всего, ей пришлось повернуть вспять: услышать птиц в густом лесу, шорох листьев под ногами, увидеть, как ее мать пробирается через пустынные, безлюдные холмы. Как она идет на своих истерзанных ногах, истерзанных до того, что и ступить-то уже невозможно. Они настолько распухли, что Сэти не могла различить, где у нее свод стопы или щиколотка. Ноги или, точнее, бесформенные подпорки оканчивались толстыми, мясистыми лепешками, в которых чуть вырисовывались пять ногтей на пяти пальцах. Но она не могла, она ни за что не должна была останавливаться, потому что, если останавливалась, маленькая антилопа у нее внутри тут же начинала бодаться и пинать ее чрево своими нетерпеливыми копытцами. Когда она шла, антилопа вроде бы успокаивалась и начинала мирно щипать траву — вот Сэти и не

жалела своих несчастных ног, которым на шестом месяце беременности лучше было бы стоять спокойно. Возле закипающего на плите чайника, или у маслобойки, или у таза с бельем, или у гладильной доски. Молоко, липкое и прокисшее, пропитавшее платье у нее на груди, привлекало внимание всех летучих тварей, от москитов до саранчи. К тому времени, как Сэти добралась до подножия этого холма, она перестала даже отгонять их. Боль у нее в голове, сперва похожая на отдаленные удары колокола, превратилась в сплошной гул, плотным шлемом охвативший голову и отдававшийся в ушах. Вдруг она споткнулась и куда-то провалилась. Все тело ее, казалось, было мертво, кроме переполненных молоком грудей и маленькой антилопы внутри. Наконец она поняла, что все– таки упала и лежит на земле — острые стебельки дикого лука царапали ее висок и щеку. И хотя от ее жизни зависела жизнь ее детей, она говорила Денвер, что подумала тогда. «Что ж, вот и хорошо, по крайней мере не нужно больше делать ни шагу». Эта мысль лишь мелькнула и тут же пропала, а может, и не возникала вовсе. Сэти ждала, когда маленькая антилопа у нее внутри снова начнет протестовать. Странно, и почему она все время представляла себе

антилопу? Сэти никогда ни одной антилопы не видела. Может, это воспоминание о той, давнишней ее жизни, что была до Милого Дома, о детстве, о тех местах, где она родилась (то ли в Каролине, то ли в Луизиане)? Хорошо она помнила только песню и танец. Даже собственную мать она помнила хуже. Мать показала ей старшая девочка, которой было уже восемь и она присматривала за младшими ребятишками: показала на одну из множества женских спин, движущихся над залитым водой полем. Сэти терпеливо ждала, когда эта спина доберется до конца ряда и выпрямится. И увидела: на ее матери была фетровая шляпа, а у всех остальных соломенные — существенное отличие в этом мире тихо переговаривавшихся, вечно согнутых женщин, каждую из которых звали «Мам».

— Сэ-ти!

— Да, мам?

— Не оставляй ребенка одного.

— Хорошо, мам.

— Сэ-ти!

— Что, мам?

— Принеси щепок для растопки.

— Хорошо, мам.

Ох! Но когда они пели… И, ох, когда они тан-

цевали!.. Порой они танцевали тот самый танец антилопы. Мужчины вместе с женщинами, одна из которых точно была ее «мам». Они меняли свое обличье и превращались в кого– то иного. В своевольных, ничем не связанных диких животных, чьи копытца чувствовали ритм ее сердца лучше, чем она сама. Как и эта антилопа в ее животе.

«Наверное, матери этого ребенка так и суждено умереть в зарослях дикого лука на проклятом левом берегу Огайо». Вот что тогда было у нее на уме; она так и сказала Денвер. В точности так И ее это вовсе не пугало, особенно если учесть, что тогда ей больше не нужно было бы делать ни шагу. Однако, представив себе, как она лежит здесь мертвая, а маленькая антилопа еще живет — сколько она сможет прожить? час? день? сутки? — в ее безжизненном теле, она так ужаснулась, что громко застонала, и этот стон заставил человека, бредущего по тропе шагах в десяти от нее, остановиться и прислушаться. Сэти не слышала самих шагов, но вдруг почувствовала, что кто– то остановился неподалеку, а потом почувствовала запах волос. И услышала голос, который спрашивал: «Кто здесь?» Так Все ясно. Ее обнаружил какой-то белый мальчишка. У него тоже, как и у тех, хищные зубы и мерзкие

желания. Даже теперь, среди холмов и сосен, почти достигнув великой реки Огайо, всей душой стремясь к своим трем малышам, один из которых может умереть с голоду, не дождавшись молока, которое она несет, после того, как пропал ее муж, после того, как у нее украли молоко, а спину превратили в чудовищное месиво, после того, как осиротили ее детей, — даже после всего этого легкой смертью она не умрет. О нет!

Она рассказывала Денвер, что вдруг нечто вошло в нее прямо из земли — страшно холодное, но живое — как будто челюсти заходили внутри. «Ледяные челюсти», — говорила она. И вдруг ей захотелось увидеть глаза того белого мальчишки, захотелось вырвать их зубами, прокусить ему щеку.

— Я вдруг почувствовала нестерпимый голод, — рассказывала она Денвер. — Ужасно! Мне ужасно хотелось впиться в его глаза. Ждать я не могла.

И она, приподнявшись на локте, немного проползла — подтягиваясь и раз, и другой, и третий, и четвертый — навстречу тому молодому голосу, который все спрашивал:

— Эй, кто это там, а?

«Подойди да посмотри, — думала Сэти. — И это будет последнее, что ты увидишь». Сперва по-

явились чьи-то ноги, и она решила: что ж, видно, придется так выполнять волю Твою, Господи, — сейчас я эти ноги отгрызу.

— Теперь-то я смеюсь, — говорила Сэти дочери, — а я ведь действительно так думала. Я просто не успела. Но мне ужасно хотелось сделать это. Я была как змея. Ничего, кроме собственных челюстей и голода, не чувствовала.

Но это был вовсе не мальчишка. А белая девушка. Жуть какая оборванная, нечесаная — видно, из самых что ни на есть разбедняцких бедняков. И она сказала:

— Ой, гляди-ка, черномазая! Вот это да! В жизни не поверила б!

И дальше следовала та часть истории, которую Денвер любила больше всего.

Девушку звали Эми, и вот уж кому действительно нужны были крепкий бульон и побольше мяса. Руки у нее были узловатые и тонкие, как стебли сахарного тростника, а на голове — такая копна волос, что хватило бы на пятерых. Взгляд какой-то медлительный. Она вообще на все смотрела подолгу. Уставится — и смотрит. Зато говорила ужасно много и быстро, даже непонятно, как она успевала дышать. А руки-тростинки оказались удивительно крепкими, прямо железными.

— Ну, знаешь, ни разу в жизни не видела более испуганного лица! Чего это ты? И что здесь, в темноте, делаешь?

Распластавшись на траве, как змея, — ей все казалось, что она теперь стала змеей, — Сэти открыла было рот, но вместо ядовитого зуба и раздвоенного языка на свет явилась истина.

— Я убежала, — сказала Сэти. Это были первые слова, произнесенные ею за целый день, и она выговорила их с трудом, так сильно распух и болел язык — С такими ногами? Ах ты господи! — Девушка присела на корточки и уставилась на распухшие ступни Сэти. — У тебя, случайно, ничего нету поесть, а?

— Нет. — Сэти заворочалась, пытаясь сесть, но не смогла.

— Смерть как есть хочется. — Девчонка пошарила глазами вокруг, ища в траве что-нибудь съедобное. — Я думала, здесь черника растет. В соснах ее много. Я только поэтому сюда и поднялась. Вот уж не ожидала, что какую-то негритянку здесь найду. А впрочем, если черника и была, так ее давно птицы склевали. А ты чернику любишь?

— Я беременна, мисс. Эми посмотрела на нее:

— Так это тебе, наверно, потому есть и не хо-

чется, да? Что ж, мне-то непременно нужно хоть что-нибудь проглотить.

Она пригладила свои немыслимые патлы руками и тщательно обследовала вокруг каждый кустик. Так и не обнаружив ничего съедобного, она решительно встала, явно намереваясь уйти. Сердце у Сэти так и подпрыгнуло при мысли, что она останется совсем одна, лежа на траве и без единого ядовитого зуба в пасти.

— Куда держите путь, мисс?

Девушка обернулась; глаза ее как-то по-новому блеснули.

— В Бостон. Бархату хочу купить. Там есть такой магазин, называется «Вильсон». Я видела картинки — у них самый красивый бархат продается. Никто не верит, что я бархат могу купить, а я его непременно куплю!

Сэти кивнула и приподнялась на локте.

— А ваша мама знает, что вы отправились искать этот бархат, мисс?

Девчонка тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица.

— Моя мать работала на наших хозяев, чтоб свой проезд домой отработать. А тут я у нее родилась, и она почти сразу после этого умерла. Вот хозяева и заявили, что я должна отработать

ее должок Я и отработала. А теперь хочу купить себе бархат.

Они не смотрели друг на друга, по крайней мере в глаза друг другу смотреть избегали. И тем не менее между ними тут же завязалась обычная, самая свойская беседа ни о чем — разве что одна из них лежала на земле.

— Бостон, — сказала Сэти. — А это далеко?

— Еще бы! Ужасно! Сто миль. А может, и больше.

— Небось бархат-то можно бы и поближе сыскать.

— Можно, да не такой, как в Бостоне. В Бостоне самый лучший. И мне так к лицу будет! Ты его хоть когда-нибудь трогала?

— Нет, мисс. Никогда я никакого бархата не трогала. — Сэти не понимала, в чем тут причина — то ли в голосе этой девчонки, то ли в Бостоне, то ли в бархате, — но, когда эта белая девушка говорила, ребенок у нее в животе спал. Ни разу не толкнул и не пихнул ее изнутри; счастье, казалось, начало ей улыбаться.

— А ты хоть видела его? — спросила девушка. — Спорим, ты его даже не видела!

— Даже если и видела, все равно не знала, что это бархат. А на что он похож, этот твой бархат?

Эми с недоверием перевела взгляд на Сэти, словно опасалась рассказывать о столь важных вещах какой-то незнакомой негритянке.

— Тебя как зовут-то? — спросила она.

И хотя Сэти находилась от Милого Дома достаточно далеко, не стоило все же называть свое настоящее имя первому встречному.

— Лу, — сказала Сэти. — Меня Лу зовут.

— Ну вот, Лу, значит, так бархат похож на новорожденный мир. Чистый, нежный и очень мягкий. Тот бархат, что видела я, был коричневый, но у них в Бостоне есть любые цвета. Кармин, например. Это значит «красный», но, когда говоришь о бархате, надо говорить «кармин». — Она уставилась в небеса, но потом, словно вдруг вспомнив, что и так уже слишком задержалась в пути, вскочила и заявила: — Мне пора идти.

Уже продираясь сквозь кусты, она крикнула Сэти:

— А ты-то что будешь делать? Так и будешь лежать, пока не разродишься?

— Я встать не могу, — сказала Сэти.

— Что? — Девушка остановилась и обернулась к ней, словно не расслышав.

— Я сказала, что не могу встать.

Эми рукой вытерла под носом и медленно вер-

нулась к тому месту, где лежала Сэти.

— Вон там есть какой-то дом, — сказала она. — Дом?

— Н-ну… я мимо проходила. Да нет, это ненастоящий дом, люди там не живут, конечно. Что-то вроде сарая или навеса.

— Далеко это?

— Ну, это как посмотреть. Но если ты останешься здесь на ночь, тебя змея укусить может.

— Что ж, пусть кусает. Я все равно не могу встать, не говоря уж о том, чтобы куда-то идти. Господи, мисс, я и ползти-то не могу!

— Конечно же можешь, Лу! Давай, давай! — рассердилась Эми и, тряхнув копной волос, достаточной для пятерых, первой двинулась по тропе.

И Сэти поползла, а Эми шла рядом; когда Сэти нужно было передохнуть, Эми тоже останавливалась и понемножку рассказывала ей о Бостоне, о бархате и о разных вкусных вещах. При звуке ее голоса, похожего на голос шестнадцатилетнего мальчишки, маленькая антилопа вела себя тихо, — видно, паслась на лужку. И пока она ползком преодолевала ужасный путь до сарая, ребенок совсем не брыкался.

Когда они наконец добрались до цели, одежда

на Сэти вся превратилась в грязные лохмотья, за исключением повязки на голове. Ниже кровоточивших колен она вообще своих ног не чувствовала; переполненные груди кололо точно булавками. И лишь хрипловатый голос, что говорил о бархате, о Бостоне и всяких лакомствах, заставлял ее ползти дальше и думать, что, возможно, она все-таки ползет не к собственной могиле и это не последние часы в жизни ее не рожденного еще шестимесячного младенца.

В сарае было полно сухих листьев, которые Эми сгребла в кучу, чтобы Сэти могла лечь. Потом она притащила целую кучу камней, сверху тоже забросала их листьями и заставила Сэти положить ноги повыше, приговаривая:

— Знала я одну женщину, так ей, между прочим, ноги отрезали, когда они у нее вот так же распухли. — И она изобразила, как той женщине отпиливали ноги по колено. — Вжик пилой — и готово!.. Я вообще-то ничего была. Красивые руки и все прочее. Тебе небось это и в голову прийти не может, верно? Но это было до того, как они меня в подвале заперли. А знаешь, я как– то рыбу удила на Вивере. Знаешь, сомики там сладкие, как курятина. Ну так вот, удила я рыбу, и подплывает ко мне утопший ниггер. Я страсть как

утопленников не люблю, а ты? Между прочим, у тебя сейчас ноги совсем как у того негра. Такие же распухшие.

А потом она совершила чудо: подложила под ноги Сэти еще больше камней и стала растирать ей ступни и растирала до тех пор, пока Сэти от боли не заплакала горючими слезами.

— Да, конечно, теперь болеть-то будет, — сказала Эми. — Когда что-нибудь к жизни возвращается, всегда больно.

Истина на все времена, подумала Денвер. Может быть, то белое платье, обнимая своим рукавом талию ее матери, тоже мучилось болью? Если это так, значит, маленькое привидение что-то задумало. Входя в дом, она столкнулась с Сэти, выходившей из гостиной.

— Я видела, как тебя какое-то белое платье обнимало, — сказала Денвер.

— Белое? Может, это мое свадебное? А ну-ка, расскажи, как оно выглядело.

— С высоким воротом. На спине длинный ряд пуговок.

— Пуговки? Нет, не подходит. У меня отродясь ни одной пуговицы ни на чем не было.

— А у бабушки Бэби? Сэти покачала головой.

— Она с ними управляться не умела. Даже с

теми, что у нее на туфлях были. Ну а еще что?

— Сзади такие сборки. Там, на самом заду.

— Турнюр? Это было платье с турнюром?

— Я не знаю, как это называется.

— Ну, оно было все присобрано? Сзади, ниже талии?

— Угу.

— Такие платья богатые дамы носят. Шелковое?

— Из хлопка, похоже.

— Из батиста, наверное. Из белого батиста. Говоришь, оно меня обнимало? Как?

— Оно было как ты. В точности как ты. И стояло на коленях подле тебя, когда ты молилась. И рукой обнимало тебя за талию.

— О, господи!

— О чем ты молилась, мама?

— Ни о чем таком. Я вообще больше ни о чем Господа не прошу. Я просто думаю вслух.

— И о чем ты думала?

— Ты не поймешь, детка.

— Нет, пойму.

— Я думала о времени. Мне так трудно поверить, что время действительно существует. Некоторые вещи уходят. Минуют. А некоторые остаются. Мне все казалось, это из-за моих веч-

ных воспоминаний. Понимаешь? Некоторые вещи забываешь скоро. А некоторые — никогда. Оказалось — дело не в этом. Сами-то места, они всегда остаются там же, где и были. Даже если, к примеру, дом сгорит, место, где он стоял, — и воспоминания о том, где он стоял, — останется, и место это будет существовать не только в моей памяти, но и в жизни. А то, что я вспоминаю, это все берется оттуда, не у меня из головы; я хочу сказать, что если даже я не буду ни о чем думать и даже если умру, то все, что я сделала, узнала или увидела, все равно там и останется. Именно там, где происходило.

— А другие люди могут это видеть? — спросила Денвер.

— О да! Да, да, да! Вот, например, идешь ты по дороге и вдруг ясно слышишь или видишь что-то прямо перед собой. Совершенно ясно. Ну и решишь, что просто подумала об этом. Что сама только что все это придумала. Ан нет. Это ты на чужие воспоминания налетела. То место, где я жила до этого дома номер сто двадцать четыре, на самом деде существует! И никогда никуда не денется. Даже если вся ферма целиком — каждое ее дерево, каждая травинка — исчезнет. Воспоминание о ней будет там; больше того, если

ты туда отправишься — даже если никогда там не бывала — и постоишь на том месте, где эта ферма была, то все произойдет снова; все снова начнется — для тебя, будет поджидать тебя. Так что, Денвер, в Милом Доме тебе никогда нельзя появляться. Никогда. Потому что хоть все это и кончено давно — кончено раз и навсегда, — но те дни непременно будут ждать тебя там. Вот потому-то я и должна была навсегда увезти оттуда всех своих детей. Остальное значения не имело. Денвер погрызла ногти.

— Если оно все еще там и ждет, то, значит, на свете ничто никогда не умирает?

Сэти посмотрела ей прямо в глаза.

— Ничто и никогда, — сказала она.

— Ты никогда толком не рассказывала мне о том, что там произошло. Я знаю только, что тебя выпороли плетью и ты сбежала. Беременная. Мной.

— А больше и рассказывать нечего, разве что о том учителе. Он был маленького роста. Коротышка. Всегда носил жесткий воротничок с галстуком, даже когда ездил в поле… Учит детей, говорила она. Ей это было приятно. Приятно, что деверь у нее по-настоящему образованный, а согласился приехать и наладить дела на ферме

после смерти мистера Гарнера. Наши-то вполне могли бы и сами с этим справиться, хотя Поля Эф уже продали. Но получилось в точности так, как говорил Халле. Она не захотела быть единственным белым человеком на ферме; да к тому же еще и единственной белой женщиной. И очень обрадовалась, когда этот школьный учитель согласился приехать. Он привез с собой двух парней. Сыновей или племянников. Не знаю. Они его звали Онка[2] и были очень хорошо воспитаны, и они, и он сам. Говорили негромко и сморкались в платочек Ну очень воспитанные. Знаешь, из тех, кто даже с самим Иисусом Христом на короткой ноге и может запросто Его по имени звать, да только никогда этого не делает — из вежливости. Он очень хорошо в фермерских делах разбирался, так Халле говорил. Не такой сильный, как мистер Гарнер, но весьма смекалистый. Ему очень нравились те чернила, что я делала. Рецепт-то был миссис Гарнер, но ему больше нравилось, когда их растирала и смешивала я, а хорошие чернила были для него очень важны, потому что по ночам он сидел и что-то писал в своей книге. Книга была про нас, но тогда мы еще этого не знали. Мы

---

[2] Примечания: 2
Искаженное англ. uncle — «дядя»

просто думали, что у него манера такая — всякие вопросы нам задавать. Он стал таскать с собой повсюду записную книжку и записывать все, что мы говорили. Я и сейчас думаю, что эти вопросы сгубили Сиксо. Доконали его.

Она умолкла.

Денвер понимала, что больше от матери ничего не добьешься — по крайней мере сейчас. Медленно поднялись и опустились веки; нижняя губа медленно поползла вверх и прижала верхнюю; ноздри раздулись, Сэти глубоко вздохнула,

словно собиралась задуть свечу, — по этим признакам Денвер всегда сразу догадывалась, что больше мать рассказывать не будет.

— Знаешь, мне кажется, маленькое привидение что-то задумало, — сказала Денвер.

— Да? И что же?

— Не знаю, но платье, которое тебя обнимало, что-то же, наверное, значит?

— Возможно, — сказала Сэти. — Может быть, оно что-нибудь и задумало.

Кем бы они ни были, Поль Ди прогнал их навсегда. Ударяя столом, крича громким мужским голосом, он избавил номер 124 от его дурной славы. Денвер давно уже приучила себя гордиться тем приговором, который вынесли им соседи–

негры, считавшие, что привидение непременно злое и выискивает очередную жертву. Ведь никто из них никогда не испытывал тайного удовольствия от настоящих чар, от того, что не предполагаешь, а знаешь совершенно точно, что за миром окружающих тебя вещей есть еще один мир. Вот ее братья это понимали, но боялись; бабушка Бэби это знала, но печалилась. Никто не способен был по-настоящему оценить, что находиться в компании маленького привидения совершенно безопасно. Даже Сэти его не любила. Она просто мирилась с его присутствием — как мирятся с неожиданной переменой погоды.

А теперь оно исчезло. Изгнано гневными воплями мужчины с ореховыми глазами, и мир Денвер сразу стал плоским, неинтересным, у нее осталась только ее изумрудная комнатка высотой в семь футов, в лесу, у ручья. У матери были свои секреты — то, о чем она ни за что не хотела говорить или рассказывала только наполовину. Что ж, и у Денвер секреты тоже есть. И у нее они сладкие и душистые — словно одеколон «Ландыш».

Сэти не слишком задумывалась о том белом платье, пока не пришел Поль Ди, и тогда она вспомнила слова Денвер: маленькое привидение что-то задумало. Наутро после первой ночи, про-

веденной с Полем Ди, Сэти улыбалась, стоило ей подумать о том, что может означать одно-единственное слово. Это была роскошь, от которой она отвыкла за восемнадцать лет. До этой ночи она старалась не то чтобы избежать боли, но побыстрее перетерпеть ее. Когда-то, единственный раз в жизни, она строила планы — когда решилась бежать из Милого Дома, — и все тогда пошло вкривь и вкось, и она больше никогда не осмеливалась перечить судьбе и что-то еще затевать сама.

И все же утром, когда она проснулась рядом с Полем Ди, ей сразу вспомнилось слово, произнесенное ее дочкой несколько лет назад, и она подумала о том, кто это в белом платье стоял на коленях с нею рядом, а еще — об искушении, что охватило ее вчера у кухонной плиты, когда он обнял ее сзади, — о страстном желании доверять и помнить. А может, так и нужно? А может, стоит все-таки жить дальше и чувствовать? Жить дальше, полагаясь на что-то?

Мысли у нее путались, пока она лежала с ним рядом и слушала его дыхание, а потому — потихоньку, очень осторожно — она выбралась из кровати.

Стоя на коленях в гостиной, куда обычно при-

ходила поговорить с Богом и подумать, она вдруг отчетливо поняла, почему Бэби Сагз так тосковала по ярким краскам. В этой комнате не было ничего яркого, кроме двух оранжевых квадратов на стеганом лоскутном одеяле, которые среди здешней мрачной обстановки выглядели ослепительно. Стены комнаты были серые, пол — землисто– коричневый, деревянный комод — темно-бежевый, занавески — белые, а главный здесь предмет — стеганое лоскутное одеяло на железной кровати — являл собой полный набор темных и мрачных оттенков, говорившие о бережливости и скромности хозяйки: кусочки синей саржи, черной, коричневой и серой шерсти. И на этом фоне дико и неожиданно выглядели два оранжевых пятна — как жизнь в стране мертвых.

Сэти посмотрела на свои руки, торчавшие из рукавов платья бутылочно– зеленого цвета, и подумала, как все-таки мало в этом доме ярких красок и как странно, что до сих пор она и сама не затосковала по ним. Это неспроста, подумала она, определенно неспроста, потому что последняя яркая краска, которую она помнила, была розовой —покрытый розовыми блестками камень, который она положила на могилу своей малышки. После этого она стала различать цвета

не лучше, чем наседка. Каждый день с раннего утра она трудилась над пирожками с фруктовой начинкой, над закусками из картофеля и прочих овощей, пока повар занимался супами, мясом и всем остальным. Но ей было совершенно безразлично, были ли в тот день яблоки зелеными, а кабачок желтым. Каждый день она видела утреннюю зарю и закат, но не замечала и не различала красок Что-то тут было неладно. Как будто, увидев однажды красную кровь ребенка, а потом блестки на розовом надгробье, она совершенно перестала различать цвета.

Дом номер 124, может быть, именно потому был так полон сложных чувств и переживаний, что сама Сэти теперь совершенно равнодушно относилась к любой утрате. Было время, когда она каждое утро и вечер вглядывалась в поля, надеясь снова увидеть там своих мальчиков. Когда она стояла у открытого окна, не замечая мух, склонив голову к левому плечу, и все смотрела, смотрела — все высматривала их. Тень от облака на дороге, какая-нибудь старуха, коза, сорвавшаяся с привязи и изодранная колючками ежевики, — все сперва казалось ей Ховардом — нет, Баглером. Но понемногу она прекратила высматривать их в поле, и лица тринадцатилетних мальчишек

таяли в ее памяти, превращаясь в личики младенцев, да и то являвшихся ей только во сне. Когда же ее сны уносились за пределы дома номер 124 и направлялись куда им захочется, она порой видела сыновей среди прекрасных деревьев Милого Дома, видела их крошечные ножонки, скрывавшиеся среди густой листвы. Иногда же мальчики бежали вдоль железной дороги и смеялись — чересчур громко, чтобы расслышать ее, ибо никогда не оборачивались на ее зов. А когда она просыпалась, дом снова обступал ее со всех сторон: вон дверь, где выстроились в ряд крошки сухого печенья; вон белые ступеньки лестницы, по которой так любила ползать ее малышка; вон уголок, где Бэби Сагз чинила обувь, груда которой до сих пор валяется в холодной кладовой; вон то самое место на плите, где Денвер обожгла пальцы. И конечно же, сразу ощущалось то проклятие, что опутывало весь дом, не оставляя места ни для чего другого. Пока не появился Поль Ди, не разломал здесь все, не расчистил место — для себя, не заставил то, что жило в доме, потесниться, не изгнал его совсем, а сам расположился посреди устроенного им побоища.

Так что на следующее утро после появления в их доме Поля Ди, стоя на коленях в гостиной,

она ощутила, впервые заметив два оранжевых квадрата: дом номер 124 пуст.

И все из-за него. При нем все чувства как бы спешили подняться на поверхность. Вещи становились тем, чем и должны были быть: тусклое и выглядело тусклым; жар обжигал. Из окон неожиданно открылся вид. И представьте себе, Поль Ди, оказывается, еще и пел!

Немножко риса, чуть-чуть бобов, А мяса нету, поел — и готов.

Ох, тяжела работа, Когда все жрать охота!

Ну да, он уже встал и пел, приводя в порядок то, что вчера разнес вдребезги. Песенки были все какие-то незнакомые; наверное, он выучил их в той тюрьме-каменоломне, а может, на Войне. Ничего подобного они в Милом Доме не пели; там в их песнях каждое слово было пронизано тоской о любви.

А эти песни, привезенные им из Джорджии, были похожи на гвозди с плоскими головками, которые он вколачивал, вколачивал, вколачивал…

На рельсы свою голову положу, Пусть поезд пройдет — ничего не скажу.

Ах, если б только я начальником стал, Почем фунт лиха, белый босс бы узнал!

Пять центов получишь, А счастья — ни на грош.

Кайлом все машешь — Свою жизнь убьешь…

Как-то они не годились здесь, эти песни. Они были слишком громкими, слишком много в них было силы для тех мелких домашних дел, которыми он сейчас занимался: приделывал к столу отломанные ножки, вставлял стекла.

Но он не мог больше петь «Бурю над морем», которую они так часто пели под деревьями Милого Дома, так что предпочел мурлыкать что-нибудь без слов или бормотал себе под нос те слова, что приходили ему в голову, и чаще всего «Босые ноги. Ромашки смяты… Ботинки мои и шляпа сняты…».

Ужасно ему хотелось изменить слова песенки и спеть сразу: «Верни мне ботинки, верни мне шляпу…», потому что он не верил, что сможет жить с женщиной — с любой — дольше чем месяца два-три. Примерно столько времени он был способен оставаться на одном месте. После Делавэра и еще раньше, после проклятого Альфреда в штате Джорджия, где он спал в норе под землей и выползал на солнечный свет с единственной целью — долбить камень, он был обречен бродяжничать, переходить с места на место, и только так

мог убедить себя, что никогда больше не будет закованным в цепи ни спать, ни испражняться, ни есть, ни разбивать камни тяжелой кувалдой.

Но это была не обычная женщина в обычном доме. Стоило ему вступить в озерцо красного света, как он это понял, и в сравнении с домом номер 124 весь остальной мир казался ему теперь убогим, бесцветным. После Альфреда он заставил навсегда замолчать изрядную часть своей души и пользовался лишь той, что давала ему возможность ходить, есть, спать, петь. Если он сможет делать все это — да еще если будет для разнообразия какая-нибудь работа и немного любви, — то больше ему ничего и не нужно; захоти он большего, в памяти непременно всплывет лицо Халле и смех Сиксо, и придется с этим жить. И тогда он вспомнит, как его била дрожь в той земляной норе. И как он был благодарен за те дневные часы, когда вкалывал, как мул, в каменоломне, потому что, держа в руках кувалду, он переставал дрожать. Та земляная нора сделала с ним то, чего не смог сделать Милый Дом, чего не сделала с ним ишачья работа и собачья жизнь: довела до того, что лишь чудом он не лишился рассудка.

К тому времени как он добрался до штата Огайо, потом до города Цинциннати, потом до дома ма-

тери Халле Сагза, он считал, что уже все на свете видел и пережил. И сейчас, вставляя вышибленную оконную раму, он удивлялся внезапной радости, с какой увидел жену Халле живой и невредимой, когда она босиком, с непокрытой головой вышла из-за дома, неся в руках свои чулки и башмаки.

— Я подумал, не поискать ли мне где-нибудь здесь работу. Ты как считаешь?

— Выбор тут невелик В основном на реке. И еще со свиньями — на бойне.

— Что ж, на реке я, правда, никогда не работал, но могу поднять любую тяжесть весом с меня. В том числе и свинью.

— Здесь белые, конечно, лучше, чем в Кентукки, но тебе, возможно, придется драться за место.

— Не важно, буду ли я драться за место, важно — где это место найти. Так ты считаешь, это ничего, если я попробую здесь остаться?

— Очень даже неплохо было бы.

— А твоя дочка? Денвер? Сдается мне, она по-другому думает.

— С чего это ты решил?

— Она будто ждет чего-то… что должно произойти. Но, уж конечно, не того, что я здесь останусь.

— Не знаю, что ты имеешь в виду.

— Ладно, как бы то ни было, а она уверена: я здесь лишний.

— На этот счет можешь не беспокоиться. Она просто привыкла среди духов жить. С самого начала. И сама, наверно, уже чуточку заколдована.

— А это разве хорошо?

— Наверно. С ней-то ничего плохого случиться не может. Вот смотри. Все, кого я знала, либо умерли, либо пропали без следа. Но только не она. Не моя Денвер. Даже когда я носила ее, даже когда стало ясно, что я не смогу нормально разродиться — а значит, и сама она в живых не останется, — она притянула к себе из-за холма белую девушку. Уж такой-то помощи я ожидала меньше всего. А когда этот учитель нашел нас и они ворвались сюда со своим законом и ружьями…

— Так он все-таки вас нашел?

— Не сразу, но нашел. Отыскал в конце концов.

— И не увез вас обратно?

— О нет! Я туда не вернулась бы. И мне было все равно, кто меня нашел. Куда угодно, только не туда! Вот я и отправилась в тюрьму. Денвер была грудная, так что и она отправилась в тюрьму со мной вместе. Крысы там жрали все, что попадется, но ее не тронули.

Поль Ди отвернулся. Ему хотелось узнать об

этом побольше, однако упоминание о тюрьме вновь вернуло его в Альфред в штате Джорджия.

— Мне нужны гвозди. Здесь у кого-нибудь можно занять гвоздей, или мне обязательно в город идти?

— Да лучше в город. Тебе ведь и еще кое-что нужно. Всего одна ночь — и они уже разговаривали как муж и жена. Они словно перескочили через влюбленность и пылкие обещания и перешли прямо к «это ничего, если я попробую остаться здесь?».

Для Сэти будущее зависело от того, сможет ли она держать прошлое в узде. Она считала, что теперь они с Денвер живут «лучше, чем тогда», а на самом деле — просто иначе, чем тогда.

Однако то, что Поль Ди явился из тогдашней жизни и попал прямо в ее постель, тоже оказалось не так уж плохо; и мысли о будущем — с ним или без него — уже начинали тревожить ее. Что же касается Денвер, то здесь имели значение только те усилия, которые Сэти всегда прилагала и будет прилагать, охраняя дочь от прошлого, все еще поджидавшего ее. Только это и было важно.

* * *

Радостно взволнованная этими мыслями, Сэти избегала заходить в гостиную и старалась не замечать косых взглядов Денвер. Поскольку знала — такова уж жизнь, ничего хорошего не жди. Денвер постоянно во все вмешивалась и на третий день открыто спросила Поля Ди, долго ли он еще собирается здесь торчать.

Видно, эти слова сильно задели его: он даже чашку с кофе мимо стола поставил. Чашка упала на пол и покатилась по покосившимся половицам к входной двери.

— Торчать здесь? — Поль Ди даже не взглянул на разлитый кофе.

— Денвер! Да что с тобой такое? — Сэти посмотрела на дочь, чувствуя скорее растерянность, чем гнев.

Поль Ди поскреб заросший щетиной подбородок.

— Может, мне действительно пора сматываться отсюда?

— Нет! — Сэти даже удивилась, так громко она это выкрикнула.

— Он сам знает, что ему нужно, — заявила Денвер.

— Зато ты не знаешь, — ответила ей в тон Сэти. — Ты не знаешь даже, что и тебе самой-то нужно. И я больше не желаю слышать от тебя ни единого слова.

— Я просто спросила, не пора…

— Заткнись! Можешь сматываться отсюда сама. А пока пойди куда-нибудь и посиди молча.

Денвер взяла свою тарелку и вышла из-за стола, но успела добавить еще куриную спинку и несколько булочек к той куче еды, которую уносила с собой. Поль Ди наклонился, собираясь вытереть разлитый кофе своим синим носовым платком.

— Я сама вытру! — Сэти вскочила и бросилась к плите. За плитой висели разные тряпки и белье — все в разных стадиях высыхания. Сэти молча вытерла пол и подобрала откатившуюся к порогу чашку. Потом налила ему кофе в другую чашку и осторожно поставила ее на стол перед ним. Поль Ди коснулся ее краешка, но ничего не сказал — словно даже простое «спасибо» выговорить ему было не под силу, а сам кофе представлялся таким великим даром, которого он не мог позволить себе принять.

Сэти снова придвинула свой стул к столу, и они продолжали сидеть молча. В конце концов она

поняла, что должна заговорить первой.

— Я ее этому не учила.

Поль Ди погладил краешек чашки и промолчал.

— И я настолько же поражена ее поведением, насколько ты — обижен!

Поль Ди посмотрел на Сэти:

— Она ведь неспроста этот вопрос задала, верно?

— Неспроста? Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, ей, наверно, уже приходилось задавать этот вопрос или, может, хотелось его задать — о ком-то другом, до меня?

Сэти сжала руки в кулаки и подбоченилась.

— Ты, видно, и сам не лучше этой девчонки!

— Не сердись, Сэти.

— Нет, буду! Буду!

— Ты же понимаешь, что я имел в виду.

— Понимаю, и мне это не нравится.

— О, господи, — прошептал он.

— Кто? — Сэти уже опять кричала.

— Господи! Я сказал «о, господи»! Я всего лишь сел поужинать, а меня дважды вывозили мордой об стол. Один раз за то, что я вообще здесь сижу, а второй — за то, что я спросил, почему меня облаяли в первый раз!

— Она тебя не облаивала.

— Нет? А похоже на то.

— Послушай-ка. Я прошу у тебя прощения за нее. Я действительно…

— Ты этого сделать не можешь. Ни за кого ты просить прощения не можешь. Она сама должна это сделать.

— Ну тогда я позабочусь о том, чтобы она непременно это сделала. — Сэти вздохнула.

— Я вот что знать хочу: не тот ли она самый вопрос задала, что и у тебя на уме?

— Ох, нет, нет, Поль Ди! Нет.

— Значит, у вас на этот счет разные мнения? Если она вообще со своим умишком способна мнение иметь.

— Извини, но я не желаю слышать про нее ничего дурного. Я сама ее накажу и отругаю. А ты оставь ее в покое.

Опасно, подумал Поль Ди, очень опасно. Для бывшей рабыни очень опасно любить кого-то так сильно, особенно собственных детей. Лучше всего, он это знал по опыту, любить чуть-чуть, совсем немножко; рано или поздно сломают твоей любви хребет или запихнут ее в саван, и тогда, что ж, у тебя все-таки останутся силы для другой любви.

— Почему? — спросил он ее. — Почему ты считаешь себя обязанной все время ее покрывать? Извиняться за нее? Она уже взрослая.

— Мне все равно, взрослая она или нет. Разве это имеет значение для матери? Ребенок есть ребенок. Ну да, они растут, становятся старше, но взрослыми?.. Как это — взрослыми? Для меня, например, это ничего ровным счетом не значит.

— Это значит, если она что-то сделала, то должна и отвечать за свои поступки. Ты же не можешь все время защищать ее. А что будет, когда ты умрешь?

— Ничего! Я буду защищать ее, пока жива, и когда умру — тоже.

— Ах так? Ну хорошо, с меня хватит, — сказал он. — Я ухожу.

— Да так уж оно есть, Поль Ди. Не умею я объяснить лучше, да только так уж оно и есть. Если мне придется выбирать — что ж, выбирать-то, собственно, будет нечего.

— В этом-то все и дело. Именно в этом. Я не прошу тебя выбирать. И никто бы на моем месте не попросил. Я думал… ну, я думал, ты сможешь… думал, тут и для меня место найдется.

— Она спросила меня….

— Так нельзя. Надо ей все прямо сказать.

Объяснить, что дело не в том, что кого-то ей предпочли, — просто нужно чуть потесниться, чтобы кому-то еще рядом с ней местечко нашлось. Ты должна ей это сказать. А если ты можешь это сказать и действительно так думаешь, тогда тебе должно быть ясно, что нельзя и мне рот затыкать. Я ведь никак не собирался ей вредить, и я, конечно, буду о ней заботиться, если смогу. Но я не позволю, чтобы мне затыкали рот, когда она отвратительно ведет себя. Если хочешь, чтобы я тут остался, так нечего затыкать мне рот.

— Может быть, стоит оставить все как есть? — задумчиво сказала она.

— А как есть?

— Мы вполне уживаемся.

— А как насчет того, что у каждого на душе?

— Это меня не касается.

— Сэти, если я останусь здесь, с тобой, с Денвер, ты сможешь ходить куда хочешь, говорить что хочешь. Можешь прыгнуть с любой высоты — я непременно тебя поймаю, детка. Поймаю прежде, чем ты упадешь. Можешь погружаться как хочешь глубоко — я тебя за ноги удержу. Чтобы ты уж точно смогла вернуться. Я это говорю вовсе не потому, что мне нужно где-то жить. Это-то меня и вовсе не заботит. Я же говорил тебе: я настоящий

бродяга, но сюда я стремился целых семь лет. Прошел весь этот долгий путь пешком. К северным границам одного штата, к южным — другого, на восток, на запад… Я бывал в такой глуши, что у нее и названия-то нету, и нигде никогда не зажи-вался подолгу. Но когда я добрался сюда и уселся на веранде, поджидая тебя, что ж, вот тогда я понял, что вовсе не в эти места так стремился: я стремился к тебе. Мы с тобой можем вместе прожить целую жизнь, милая. Целую жизнь!

— Не знаю. Ох, не знаю!

— Предоставь это мне. Посмотрим, как оно пойдет. Никаких обещаний, если ты не хочешь. Просто посмотрим, как оно пойдет. Хорошо?

— Хорошо.

— Такты готова предоставить все это мне?

— Ну… кое-что.

— Кое-что? — Он улыбнулся. — Ладно. Пусть будет кое-что. В городе идет карнавал. В четверг, завтра, праздник для цветных, и у меня есть два доллара. Мы с тобой и с Денвер отправимся туда и истратим их до последнего цента. Что скажешь?

— Нет! — вот что она сказала. По крайней мере, начала говорить (и вообще, что скажет ее хозяин, если она попросит выходной?), но, уже сказав «нет», она думала о том, как ей приятно видеть

перед собой его лицо.

В четверг кузнечики стрекотали вовсю, и небо в легких перистых облаках казалось белесым от жары уже в одиннадцать. Сэти для такой погоды оделась на редкость неудачно, но, поскольку это был ее первый выход в свет за восемнадцать лет, она чувствовала себя обязанной надеть свое единственное парадное платье, слишком тяжелое и теплое, и шляпку. Шляпка, конечно же, была необходима. Леди Джонс или Элла чего доброго подумают, что она идет на работу, раз голова у нее повязана платком. Это платье, немного, правда, поношенное, зато из хорошей шерсти, было рождественским подарком Бэби Сагз от мисс Бодуин, той белой женщины, которая очень ее любила. Денвер и Поль Ди оделись куда более подходящим образом, потому что не чувствовали — ни тот, ни другая — ни обязанности, ни потребности одеваться как-то особенно торжественно. Денвер даже капор сняла, и он болтался где-то у нее за спиной. Поль Ди был в жилетке нараспашку, без пиджака, и рукава рубашки закатал выше локтей. Они шли не держась за руки, зато за руки держались их тени. Сэти глянула влево и увидела, как три их тени скользят по пыльной обочине, не разнимая рук Может быть, он все-таки прав? Про-

жить целую жизнь. Глядя на тени, державшиеся за руки, Сэти с изумлением подумала, что оделась так, словно идет в церковь. Те люди, что идут впереди и позади них, непременно решат, что она важничает, дает им понять, что она не такая, как они, потому что живет в двухэтажном доме; что она сильнее их, потому что смогла сделать и пережить такое, чего они-то уж точно не сделали бы и были уверены, что и она никогда не сделает и не переживет. Она была рада, что Денвер не согласилась с ее настойчивыми требованиями «одеться как следует» или по крайней мере переплести косы. Но Денвер и не пыталась сделать эту прогулку хоть сколько-нибудь приятной. Она и пойти-то согласилась нехотя, и на лице у нее было написано: «Ну-ну, давайте веселитесь! А попробуйте-ка развеселить меня». Зато уж кто был действительно счастлив, так это Поль Ди. Он каждому встречному за версту кричал «Привет!», все время смеялся из-за того, какая ужасная сегодня жара, передразнивал орущих ворон и первым бросался нюхать отцветавшие розы. Но все время, что бы они ни делали — смахивала ли Денвер пот со лба или останавливалась, чтобы завязать шнурок на ботинке; пинал ли Поль Ди ногой камешек на дороге или тянулся, чтобы

погладить по щечке ребенка, уснувшего у матери на плече, — три тени, что следовали слева от них по обочине, держались за руки. Никто этого не замечал, кроме Сэти, и она вскоре тоже перестала смотреть туда, решив, что это добрый знак. Жизнь? Кто знает.

За изгородью лесного склада отцветали розы. Тот пильщик, что посадил их двенадцать лет назад, придавая лесопилке более привлекательный вид — а может, отчасти искупая грехи, ибо распиливал деревья, чтобы прокормиться, — был и сам поражен, как быстро они принялись и заполонили все вокруг, обвив сколоченную из толстых досок ограду, отделявшую склад от пустоши, где спали бездомные, бегали дети и один раз в год устроители карнавала устанавливали свои пестрые шатры и палатки. Чем больше увядали розы, тем сильнее становился их аромат, и для каждого, кто приходил сюда в эти дни, карнавал всегда сочетался с запахом умирающих роз. От сладкого запаха кружилась голова и хотелось пить, но он ничуть не уменьшал желания повеселиться, и толпы цветных тянулись по дороге к площади. Некоторые шли по заросшей травой обочине, другие шагали по дороге, подымая пыль. Все, как и Поль Ди, пребывали в приподнятом настроении,

которое не мог испортить даже запах умирающих роз (Поль Ди призывал каждого полюбоваться ими). И когда цветные толпой подходили ко входу, перегороженному веревкой, они светились, как фонарики, задыхались от волнения, видя, как белые люди специально для них творят чудеса и всем на потеху изображают уродцев без головы или с двумя головами сразу, великанов ростом в двадцать футов или карликов ростом в два фута, исполинов весом в целую тонну, дикарей, с ног до головы покрытых татуировкой; как они глотают стекло и огонь, извлекают изо рта немыслимой длины ленты; как они завязывают себя в узел, делают пирамиды из человеческих тел, играют со змеями и борются друг с другом.

Все это было перечислено в афише, которую прочитали те, кто умел читать, и услышали те, кто читать не умел; и даже понимание того, что почти все это неправда, тоже нисколько не уменьшило их аппетита. Клоун у ворот оскорблял их самих и их детей («Для щенков вход свободный!»), но из-за его перепачканной едой куртки и драных штанов ему прощали все. Да и то — невелика цена за такое удовольствие! Они такого, может, больше в жизни не увидят. Два цента и оскорбление, брошенное в лицо, — не слишком

дорого, чтобы посмотреть спектакль, который устраивают белые, забавляясь — и забавляя негров. Так что, хотя само по себе веселье было куда ниже среднего (именно поэтому устроители карнавала и согласились выделить четверг для цветных), все равно четыре сотни чернокожих, что пришли повеселиться, получали массу удовольствий, одно за другим.

Леди-Весом-В-Тонну все плевала в их сторону, но из-за своей толщины доплюнуть не могла, и они здорово потешались, видя беспомощную злобу в ее заплывших жиром глазках. Танцовщица из «Тысячи и одной ночи» танцевала всего лишь три минуты вместо полагавшихся пятнадцати, но заслужила благодарность чернокожих детей, которым не терпелось поскорее увидеть Абу Заклинателя Змей.

Денвер заказала шандры, лакрицы, мятных леденцов и лимонад; все это им подали за столик, и обслуживала их маленькая белая девчушка в дамских туфлях на высоких каблуках. Утешив себя сладостями и видя людей, которые пришли сюда не глазеть на нее с любопытством, а веселиться, причем буквально каждую минуту кто-то говорил «привет, Денвер!», она была почти довольна и даже попробовала взглянуть на этого

Поля Ди с другой точки зрения; возможно, он был не так уж и плох. И правда, что-то в нем было такое — когда они все втроем стояли и смотрели, как танцует Лилипут, взгляды, бросаемые на Поля Ди другими неграми, почему-то мягчели, добрели, а от этого Денвер давно уже отвыкла. Некоторые даже кивали и улыбались ее матери, и явно никто не мог сопротивляться исходившему от Поля Ди веселью. Он восхищенно хлопал себя по колену, когда Великан танцевал с Лилипутом или когда Двухголовый человек разговаривал сам с собой. Он покупал все, о чем бы Денвер ни попросила, и многое, о чем она не просила вовсе. Он поддразнивал Сэти, уговаривая ее зайти в те балаганы, куда она зайти ни за что не соглашалась. Совал ей в рот кусочки лакомств, которые она есть отказывалась. Когда Настоящий Африканский Дикарь стал трясти свою клетку и страшно рычать, Поль Ди заявил при всех, что этого парня он знавал еще в Роаноке.

Поль Ди кое с кем познакомился, даже разузнал насчет работы. Сэти начала улыбаться в ответ на приветливые улыбки знакомых. У Денвер от радости кружилась голова. И на пути домой тени шли впереди и по-прежнему держались за руки.

* * *

Полностью одетая женщина в нарядном платье вышла прямо из ручья. Едва выбравшись на сухой берег, она опустилась на землю и прислонилась к шелковице. Весь день и всю ночь просидела она там, опершись затылком о ствол дерева и поломав сзади поля соломенной шляпки. Она чувствовала боль во всем теле, больше всего — в легких. Промокшая насквозь, хватая воздух открытым ртом, она все это время тщетно пыталась бороться со смыкавшимися тяжелыми веками. За день ветерок постепенно высушил ее платье; но влажный ночной ветер снова смял его. Никто не видел, как она оказалась на берегу. А если бы и видел, то вряд ли решился бы подойти. Не потому, что она была вся мокрая, или бредила наяву, или дышала с трудом, словно у нее астма, но потому что она улыбалась. Ей потребовалось целое утро, чтобы заставить себя подняться с земли, пройти через лес, мимо гигантских, похожих на замок, зарослей букса, миновать луг и приблизиться к окрашенному серой краской дому номер 124. Совершенно выбившись из сил, она села в первом же приглянувшемся ей уголке — на пень возле крыльца. К этому времени ей уже не так трудно

было держать глаза открытыми. Она могла не смыкать веки минуты две, а может, и больше. Но тонкая шейка упорно клонилась вниз, и подбородок касался дорогих кружев, которыми был отделан вырез ее платья.

Так порой выглядят женщины, которые пьют шампанское, когда и праздновать– то нечего; шляпки с поломанными полями частенько сидят на них криво, и они клюют носом в общественных местах, и шнурки у них на ботинках обычно развязаны. Но вот кожа у них никогда не бывает такой, как у той женщины, что сидела, тяжело дыша, на пне возле крыльца дома номер 124. Кожа у нее была как у младенца — гладкая, без единой морщинки, даже на суставах пальцев.

Ближе к вечеру, когда закончился карнавал и негры возвращались домой — подсаживаясь к кому-нибудь в повозку, если повезет, или пешком, — юная женщина снова уснула. Солнечные лучи били ей прямо в лицо, так что когда Сэти, Денвер и Поль Ди вышли из-за поворота дороги, то сперва увидели только черное платье и расшнурованные башмаки, а пса по кличке Мальчик и след простыл.

— Глядите-ка, — сказала Денвер, — что это? И вдруг — Сэти и сама не поняла, что случи-

лось, — стоило ей подойти поближе и вглядеться в лицо этой женщины, как она почувствовала, что мочевой пузырь у нее сейчас просто лопнет. Пробормотав: «Ой, извините», она бросилась за дом. Ни разу с тех пор, когда она была еще совсем маленькой и находилась под присмотром той восьмилетней девочки, которая показала ей мать, она не чувствовала, что может и не удержаться. Добежать до уборной она не успела и вынуждена была задрать юбку у самой ее двери. Из нее так и хлынул поток воды. Как у лошади, подумала она. Вода все лилась и лилась, и ей показалось, что это похоже на родовые воды, которыми она чуть не затопила дырявую лодку, когда рожала Денвер. «Господи, сколько же из тебя воды выходит, — сказала Эми, — ты бы придержала ее, Лу, а то совсем нас утопишь». Но удержать воды, исторгавшиеся из разверстого чрева, было невозможно — как и теперь. Она надеялась только, что Поль Ди не станет беспокоиться и не пойдет за дом искать ее — ведь тогда он увидит, как она сидит на корточках перед дверью уборной и в пыли уже такая воронка, что смотреть стыдно. Когда она уже начала думать, не примут ли ее в качестве очередного уродца в свой балаган устроители карнавала, все кончилось. Сэти оправила

юбку и бросилась к крыльцу. Там никого не было. Все трое уже вошли в дом — Поль Ди стоял перед незнакомкой и смотрел, как она жадно пьет воду, одну кружку за другой.

— Она сказала, что очень хочет пить, — сказал Поль Ди. И снял шляпу. — Похоже, ее и впрямь ужасная жажда мучает.

Женщина залпом выпила протянутую ей полную жестяную кружку и попросила еще. Четыре раза Денвер подавала ей полную кружку, и каждую кружку она выпивала с такой жадностью словно пересекла пустыню. Когда она наконец напилась, на подбородке у нее осталось несколько капель воды, но она не стала их вытирать, а каким-то сонным взглядом уставилась на Сэти. Голодная, подумала Сэти, и гораздо моложе, чем можно предположить по ее одежде — дорогие кружева на платье и шляпка из тонкой соломки. Кожа у нее была безупречной, за исключением трех вертикальных шрамиков на лбу, таких тоненьких, что они больше похожи были на волоски — до того еще, как детские волосы становятся густыми и тяжелыми, как та масса черных кудрей, что скрывалась у нее под шляпкой.

— Ты здешняя? — спросила Сэти.

Девушка покачала головой и наклонилась,

чтобы снять ботинки. Потом задрала платье выше колен и стащила с ног чулки. Когда она заталкивала чулки в башмаки, Сэти заметила, что ступни у нее, как и ладошки, нежные, словно у младенца. Ее, верно, кто-то подвез, подумала Сэти. Может, она из Западной Виргинии — многие тамошние девушки надеются подзаработать на уборке табака или сорго. Сэти наклонилась и подняла ее ботинки с пола.

— Как тебя кличут-то? — спросил Поль Ди.

— Возлюбленная, — ответила девушка, и голос у нее оказался таким тихим и хриплым, что все трое переглянулись. Сперва они обратили внимание на голос — только потом на это странное имя.

— Возлюбленная? Это у тебя прозвище такое? — спросил ее Поль Ди.

— Прозвище? — Она, казалось, была озадачена. Потом сказала: — Нет. — И повторила слово «возлюбленная» по буквам, медленно, словно буквы эти рождались прямо у нее на устах.

Сэти выронила башмаки, которые держала в руках; Денвер села, а Поль Ди улыбнулся. Он узнал эту осторожную манеру — так говорят те, кто, как и сам он, читать не умеет, но выучил буквы, из которых состоит его имя. Он уже собрался было

спросить, откуда она родом, но передумал. Раз молодая цветная женщина откуда-то убежала, так уж наверное не от хорошей жизни. Четыре года назад он как-то оказался в Рочестере и встретил там пятерых женщин с четырнадцатью девочками. Все мужчины в их семьях — братья, дядья, отцы, мужья, сыновья — сгинули один за другим. У женщин был с собой лишь клочок бумаги с адресом священника. К тому времени Война уже года четыре как закончилась, но, похоже, ни белые, ни черные об этом еще не догадывались. Множество негров группами и поодиночке слонялись по проселочным дорогам и пастушьим тропам от Скенектади до Джексона. Словно потеряв опору в жизни, они разыскивали друг друга, чтобы услышать хоть словечко о двоюродном брате, о тетке, о друге, который когда-то пригласил: «Ты ко мне непременно заезжай! В любое время. Как будешь поблизости от Чикаго, так и заезжай». Некоторые бежали от семьи, не способной их содержать, некоторые, напротив, стремились воссоединиться с семьей; другие покинули родные места из-за неурожая, из-за гибели всех родственников, из-за того, что их жизни что-то угрожало. Совсем маленькие мальчики, моложе Ховарда и Баглера, какими он их

знал; разрозненные семьи, состоявшие из одних только женщин да детей, а где-то, неведомо где, метались одинокие, загнанные и сами гнавшиеся за кем– то мужчины, мужчины, мужчины — все они перекати-полем носились по стране. Им было запрещено пользоваться общественным транспортом, за ними охотились кредиторы и репортеры грязных газетенок, вот они и пробирались проселочными дорогами, опасливо озираясь по сторонам и полностью полагаясь друг на друга. Молчаливые — они открывали рот только тогда, когда требовалось произнести обычные вежливые слова при встрече; они никогда не откровенничали, и не жаловались сами, и не спрашивали других о пережитых горестях и несчастьях, что гнали их с места на место. Белые терпеть не могли таких разговоров. Это все знали.

Так что Поль Ди не стал выяснять, откуда эта молодая особа в шляпке со сломанными полями и как сюда попала. Если захочет и у нее будут на это силы, так и сама расскажет. Больше всего их сейчас интересовало, зачем она сюда пришла. Но у каждого под этим основным вопросом таился свой собственный: Поля Ди, например, удивляло то, что башмаки у нее совсем новые; Сэти была

глубоко тронута ее прозвищем или именем: воспоминание о розовом в блестках камне вызывало в ее душе особую теплоту к этой девушке. А Денвер пробирала дрожь. Она смотрела на эту спящую, вернее, сонную красавицу и не могла оторвать глаз.

Сэти повесила свою шляпку на крючок и легко обернулась к девушке.

— Какое у тебя милое имя! Возлюбленная, Белавид[3]. Я буду звать тебя Бел, хорошо? Снимай же шляпку и не стесняйся; сейчас я что-нибудь приготовлю перекусить. А мы на карнавале были — его тут на окраине Цинциннати устраивают. Там столько всякого — стоит посмотреть!

Сидя прямо, опершись на спинку стула, девушка так и уснула, слушая ласковые слова Сэти.

— Мисс! Эй, мисс! — Поль Ди тихонько потряс ее. — Может, ляжешь да поспишь немного, а?

Она чуть приоткрыла глаза-щелочки — с трудом встала, и ее усталые, младенчески нежные ноги побрели в гостиную. Там она рухнула на кровать Бэби Сагз.

Денвер сняла с нее шляпку, а на ноги ей набросила стеганое лоскутное одеяло с двумя

---

[3] Примечания: 3
Beloved (англ.) — возлюбленная.

оранжевыми квадратами. Девушка дышала как паровоз.

— Похоже, круп у нее, — сказал Поль Ди, прикрывая дверь в гостиную.

— А жара у нее нет? Денвер, ты ей лоб не щупала?

— Щупала. Холодный.

— Ну, значит, это лихорадка. Когда лихорадит, всегда то жарко, то холодно.

— А может, это и холера, — сказал Поль Ди.

— Ты так думаешь?

— Воды уж больно много пьет. Верный знак — Бедняжка. И ничего у нас в доме нет от этой болезни. Придется ей самой выкарабкиваться. Вот уж отвратительная болезнь — хуже не придумаешь.

— Она вовсе не больна! — заявила вдруг Денвер так горячо, что они улыбнулись.

Четыре дня девушка спала; просыпалась только для того, чтобы напиться воды. Денвер самоотверженно ухаживала за ней, оберегала ее сон, прислушивалась к затрудненному дыханию и, из ревности и отчаянной любви, старательно скрывала, что у их гостьи недержание мочи. Она тайком стирала и выполаскивала простыни, когда Сэти уходила в свой ресторан, а Поль Ди

отправлялся к причалам, чтобы подзаработать на разгрузке барж Она готова была без конца кипятить и подсинивать белье, лишь бы лихорадка у Возлюбленной поскорее прошла без следа. И так была поглощена всеми этими заботами, что порой забывала даже поесть и совсем не ходила в свою изумрудную комнатку.

— Бел? — звала шепотом Денвер. — Бел? Возлюбленная? — Но когда черные глаза чуточку приоткрывались, могла выговорить лишь: — Я тут, я все время тут, с тобой.

Порой, когда Возлюбленная слишком долго смотрела перед собой туманным взором и молчала, только облизывала губы и глубоко вздыхала, Денвер просто с ума сходила от страха.

— Да что же с тобой такое? — не выдерживала она.

— Тяжело, — шептала та. — Здесь очень тяжело.

— Может, сесть хочешь?

— Нет, — шелестел еле слышный голос.

Прошло еще три дня, прежде чем Возлюбленная заметила оранжевые квадраты на темном фоне лоскутного одеяла. Денвер была очень этим довольна — теперь больная бодрствовала куда дольше. Казалось, она была полностью поглоще-

на созерцанием выцветших оранжевых лоскутов, даже попыталась приподняться на локте и погладить их. Попытка эта, впрочем, совершенно лишила ее сил, и Денвер перестелила одеяло так, чтобы самая яркая его часть была на уровне глаз больной девушки.

Терпение, которого Денвер никогда не имела прежде, стало теперь основной ее чертой. Пока мать ни во что не вмешивалась, она была прямотаки идеальной сиделкой, самим состраданием; но стоило Сэти попытаться помочь, как Денвер превращалась в мегеру.

— Она сегодня хоть ложку чего-нибудь съела? — спрашивала Сэти.

— Она и не должна ничего есть, раз у нее холера.

— А ты уверена, что у нее холера? Это ведь только Поль Ди так говорит.

— Ну не знаю, да только пока что она все равно есть ничего не станет!

— По-моему, у холерных больных рвота все время…

— Ну так тем более есть ей ни к чему, верно?

— Знаешь, от голоду-то ей ведь тоже умирать ни к чему, Денвер.

— Ох, мама, оставь нас в покое. Я о ней сама

позабочусь.

— Она хоть говорила что-нибудь?

— Уж это-то я бы тебе сразу сказала.

Сэти посмотрела на дочь и подумала: да, ей здесь было очень одиноко. Очень.

— Интересно, куда это Мальчик подевался? — Сэти решила, что пора переменить тему.

— Он больше не вернется, — сказала Денвер.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, и все. — Денвер взяла с тарелки кусок сладкого пирога и снова пошла в гостиную.

Она уже хотела было сесть на привычное место, как вдруг глаза Возлюбленной широко распахнулись. Сердце у Денвер бешено забилось. Нет, она не впервые смотрела в это лицо и не впервые в этих больших черных глазах не было ни малейших признаков сонливости. И не впервые она видела яркие голубоватые белки. Дело в том, что эти огромные черные глаза вообще ничего не выражали.

— Ты чего-нибудь хочешь?

Возлюбленная посмотрела на кусок пирога у Денвер в руке, и Денвер протянула пирог ей. Больная улыбнулась, и сердце Денвер тут же улеглось и успокоилось, точно путник, который наконец-то добрался до дому.

С этой минуты и во все последующие дни всегда можно было рассчитывать, что любая сладость доставит Возлюбленной удовольствие. Она словно и на свет– то родилась только для того, чтобы сладости есть. Годилось все — сотовый мед, посыпанный сахарным песком ломоть хлеба, старая черная патока, затвердевшая в банке, лимонад, самодельные конфеты из сахара и масла, и вообще все сладкое, что Сэти приносила домой из ресторана. Возлюбленная превращала стебель сахарного тростника в мочалку, однако продолжала держать его во рту, когда даже последняя сладкая капелька, казалось, была высосана. Денвер, глядя на это, смеялась, Сэти улыбалась, а Поль Ди говорил, что от этого зрелища его просто тошнит.

Сэти считала, что выздоравливающий после тяжелого недуга организм требует сладкого. Однако у их гостьи потребность эта нисколько не уменьшалась, а постоянно росла, и хотя она давно уже поправилась, но никуда уходить явно не собиралась. Похоже, ей некуда было идти. Во всяком случае, она ни о чем таком даже не упоминала, как, впрочем, не очень-то представляла себе, зачем она здесь и что было там, откуда она пришла сюда. Они решили, что все это — последствия

лихорадки: и забывчивость, и чрезвычайная медлительность. Молодая женщина, лет девятнадцати—двадцати, стройная и тоненькая, она двигалась, как если бы была во много раз толще и старше — держась за мебель и подпирая голову ладошкой, словно шея ее вот-вот переломится, не в силах выдержать тяжесть.

— Ты что ж, так и собираешься вечно ее кормить? — спрашивал Сэти Поль Ди, сам удивленный собственной жадностью и тем раздражением, которое все это у него вызывало.

— Денвер любит ее. Да и мне особого беспокойства нет. Пусть ей полегче станет. По-моему, у нее внутри еще не все в порядке — уж больно тяжело дышит.

— Странная она какая-то… — пробормотал Поль Ди, словно разговаривая с самим собой.

— Чем же странная?

— Ведет себя как больная, голос у нее тоже как у больной, а больной не выглядит. Кожа хорошая, чистая, глаза ясные, да и сама сильная как бык.

— Не такая уж она сильная! Еле ходит, все время за что-нибудь держится.

— Вот и я о том же. Ходить как следует не может, а качалку одной рукой поднимает — я сам видел.

— Неправда!

— Не спорь. Спроси лучше Денвер. Она там рядом была.

— Денвер! Поди-ка сюда на минутку. Денвер, мывшая веранду, заглянула в окно.

— Поль Ди говорит, что вы с ним видели, как Бел одной рукой качалку подняла. Было такое?

Длинные тяжелые ресницы скрывали глаза Денвер; взгляд ее ускользал, даже когда она спокойно подняла глаза и посмотрела прямо на Поля Ди.

— Нет, — сказала она. — Я ничего такого не видела. Поль Ди нахмурился, но промолчал. Если до сих пор дверь в стене между ними и была немножко приоткрыта, то теперь она захлопнулась наглухо.

* * *

Капли дождя льнули к длинным сосновым иглам, удерживались, не отрываясь, а Возлюбленная не могла отвести взор от Сэти. Шагнет ли та к раковине, чтобы отжать влажную губку, или начнет колоть щепу для растопки, все время глаза Возлюбленной гладили ее, ласкали, пробовали на вкус, буквально съесть были готовы. Как закадычная подружка, девушка постоянно вертелась возле Сэти, старалась никуда не выходить из

комнаты, если Сэти была там, — разве что та сама попросит ее что-нибудь принести или сделать. Она вставала затемно, боясь упустить Сэти, и сидела на кухне — ждала, когда Сэти спустится вниз, чтобы сготовить что-нибудь по-быстрому до ухода на работу При свете лампы и горящих в плите дров две их тени скрещивались на потолке, словно два черных меча. Бел торчала у окошка с двух часов дня, поджидая Сэти с работы, или сидела на веранде, потом — на нижней ступеньке крыльца, потом стала выходить на тропинку, ведущую к Блустоун-роуд, пока, наконец, не осмелела настолько, что стала уходить из дома все дальше и дальше, чтобы встретить Сэти на дороге и вместе с ней возвращаться домой. Она будто все время боялась, вернется ли к ней ее старшая подруга.

Сэти льстило это неприкрытое, тихое обожание. Подобная привязанность со стороны собственной дочери (если ее вообще можно было ожидать от Денвер) непременно вывела бы ее из себя и страшно огорчила, заставляя думать, что она вырастила типичную маменькину дочку, которая без нее и шагу ступить не может. А обожание этой милой, хотя и очень странной гостьи было ей приятно — как приятно учителю поклонение

фанатичного ученика и последователя.

Теперь приходилось все раньше и раньше зажигать в доме свет — дни становились совсем короткими. Сэти уходила на работу в темноте, Поль Ди в темноте возвращался домой с работы. В один из таких вечеров, мрачный и холодный, Сэти, разрезав брюкву на четыре части, поставила ее тушиться и отсыпала Денвер кастрюлю гороха — перебрать и замочить на ночь. Потом уселась передохнуть. Согревшись у плиты, она задремала и вдруг почувствовала прикосновение Возлюбленной. Легкое, точно листок с дерева упал, но пронизанное желанием. Сэти вздрогнула и открыла глаза. Сперва она увидела у себя на плече нежную руку Бел, потом, прямо перед собой, ее глаза. И в них — немую, бессловесную мольбу. Сэти погладила ее по руке и быстро взглянула на Денвер, но та на них не смотрела — была занята горохом.

— А где твои бриллианты? — Бел не сводила глаз с лица Сэти.

— Бриллианты? Скажи на милость! Да на что они мне, бриллианты эти?

— В ушах носить.

— Да, оно бы неплохо, конечно. Были у меня когда-то хрустальные сережки. Подарок моей

прежней хозяйки.

— Расскажи! — потребовала Бел, так и просияв от счастья. — Расскажи мне о твоих бриллиантах.

Рассказы эти она готова была слушать без конца. Это было сродни ее любви к сладкому, обнаруженной Денвер, — они вызывали почти такой же восторг. И вот что было в этом для Сэти удивительно: у нее самой всякое воспоминание о прежней жизни вызывало боль, все это было утрачено навсегда. У них с Бэби Сагз существовал молчаливый уговор никогда не поднимать запретную тему прошлого; на расспросы Денвер Сэти отвечала или предельно коротко, или невнятными отговорками. Даже с Полем Ди, который и сам был из ее прошлого и с которым она по крайней мере могла говорить о событиях той жизни относительно спокойно, вспоминать прошлое было мучительно — словно тревожить едва затянувшуюся ранку в уголке губ.

Но когда она начала рассказывать Бел о тех сережках, то вдруг поняла, что ей хочется это вспомнить. Может быть, потому, что Бел не имела никакого отношения к тем временам и событиям, а может, потому, что она так горячо просила рассказать ей об этом, — так или иначе,

удовольствие было совершенно неожиданное.

И вот, под постукивание перебираемых горошин и острый запах тушившейся брюквы, Сэти рассказывала о хрустальных сережках, что когда-то покачивались у нее в ушах.

— Когда я вышла замуж, их подарила мне моя хозяйка, там, в Кентукки. Так это называлось — «выйти замуж». По-моему, она понимала, как у меня скверно на душе из-за того, что не будет ни свадьбы, ни священника. Ничего. Я раньше думала, что обязательно хоть что-то должно быть — чтобы можно было сказать, что свадьба была сыграна правильно и по-настоящему. Мне было мало, если бы он просто перенес в мою хижину свой тюфяк, набитый листом от кукурузных початков. Или я бы перенесла в его хижину свой ночной горшок Я думала, что хоть какой-то праздник должен быть. Может, танцы. Турецкие гвоздики у меня в волосах.

— Сэти улыбнулась. — Я никогда не видела ни одной настоящей свадьбы, но видела в шкафу подвенечное платье миссис Гарнер, и она рассказывала О том, как все было устроено. Два фунта коринки ушло только в пирог, говорила она, и забили целых четыре овцы. Пир продолжался два дня подряд. Вот и мне хотелось чего-нибудь

похожего. Может быть, устроить так, чтобы мы с Халле и все остальные люди из Милого Дома уселись за стол и съели что-нибудь эдакое. И еще мне хотелось пригласить гостей — цветных из Ковингтона или той усадьбы, которая называлась Высокие Деревья. Там Сиксо частенько бывал, тайком конечно. Но все равно никакого праздника не получилось. Нам просто сказали: ладно, будьте мужем и женой, и все. И больше ничего.

Что ж, тогда я решила по крайней мере сшить себе свадебное платье, что– нибудь получше того тряпья, в котором вечно на кухне возилась. Я потихоньку утаскивала разные куски материи и в конце концов смастерила себе нечто невероятное. Верх из двух наволочек, украденных из рабочей корзинки миссис Гарнер. Переднюю часть юбки я сшила из нарядного шарфа хозяйки, на котором упавшая свеча прожгла дыру прямо посередине; этот шарф я пристроила к широкому кушаку, на котором мы обычно утюг пробовали. А вот из чего сделать заднюю часть юбки, никак придумать не могла. Не попадалось такого клочка, какого сразу не хватились бы. Мне ведь потом все это еще надо было снова распороть и положить туда, откуда взяла. Халле терпеливо ждал, когда я это платье дошью. Он понимал,

что без него для меня никакой свадьбы не будет. В конце концов взяла я противомоскитный полог, что в амбаре на гвозде висел — мы через него сок процеживали для желе, — замочила как следует и выстирала, а потом собрала в сборки и приметала к кушаку и лифу сзади вместо задней половины юбки. Вот и все — более нелепого платья и представить себе невозможно. Положение спасала только моя шерстяная шаль, в ней по крайней мере я не выглядела как самая распоследняя уличная торговка. Мне ведь и было-то всего четырнадцать, наверно, поэтому я ужасно гордилась.

В общем, миссис Гарнер, должно быть, увидела меня в этом наряде. Я-то считала, что краду все очень ловко, а она, оказывается, знала о каждом моем шаге. Даже о нашем медовом месяце: мы тогда на кукурузное поле с Халле ходили. И в самый первый раз тоже пошли именно туда. Это было днем, в субботу. Он попросил разрешения не ходить на работу. Обычно-то он по субботам и по воскресеньям на стороне работал, чтобы выплатить долг за Бэби Сагз. Но в тот день он сказался больным, а я надела свое замечательное платье, и мы, держась за руки, отправились на кукурузное поле. Я до сих пор помню запах жарящихся

кукурузных початков, доносившийся оттуда, где сидели все три Поля и Сиксо. На следующий день миссис Гарнер поманила меня пальцем и повела наверх, в свою спальню. Открыла деревянную шкатулку и достала пару хрустальных сережек И сказала: «Вот, хочу тебе подарить, Сэти». Я говорю: «Да, мэм». «У тебя уши-то проколоты?» — спрашивает она. Я говорю: «Нет, мэм». «Что ж, проколи, — велела она, — и носи эти сережки — на счастье. Я хочу, чтобы ты носила их и чтобы вы с Халле были счастливы». Я поблагодарила ее, но так никогда их и не надевала, пока не убежала оттуда. На следующий день после моего появления здесь, в этом доме, Бэби Сагз развязала узелок на моей нижней юбке и вынула оттуда хрустальные сережки. Я как раз сидела вот тут, у плиты, и держала на руках Денвер, а Бэби проткнула мне в ушах дырочки, чтобы я могла вдеть туда серьги.

— Я никогда не видела, чтобы ты серьги носила, — сказала Денвер. — Где же они теперь?

— Нету, — сказала Сэти. — Давно уже. — И больше не прибавила к этой истории ни слова.

Еще кое-что они узнали об этом в следующий раз, когда все трое вбежали в дом, спасая от налетевшего с ветром дождя белье — простыни и нижние юбки. Задыхаясь и смеясь, Сэти и Денвер

стали раскидывать белье на столе и на стульях. Возлюбленная без конца пила, черпая воду кружкой из ведра, и смотрела, как Сэти вытирает промокшие волосы Денвер полотенцем.

— Может, лучше косы-то расплести? — спросила Сэти.

— Да ладно. Завтра. — Денвер так и съежилась, только представив себе, как частый гребешок вонзится в ее густые вьющиеся волосы.

— Не бывает никакого завтра. Не откладывай, сделай сейчас, — сказала Сэти.

— Так ведь больно! — возразила Денвер.

— Расчесывай волосы каждый день, вот и больно не будет.

— О, господи!

— А твоя женщина — она тебе никогда волосы не расчесывала? — спросила Бел.

Сэти и Денвер разом уставились на нее. Даже спустя четыре недели они никак не могли привыкнуть к звуку ее голоса, похожему на хруст гравия под ногами. И все же в ее голосе звучала музыка — какая-то особенная, незнакомая.

— А твоя женщина — она тебе никогда волосы не расчесывала? — Этот вопрос был адресован Сэти, потому что Бел смотрела на нее.

— Моя женщина? Ты хочешь сказать, моя мать?

Даже если и расчесывала, так я этого не помню. Я ее почти и не видела, разве что несколько раз в поле и еще один раз, когда она готовила синюю краску индиго. Но утром, когда я проснулась, она уже снова была в поле. Если луна светила ярко, они работали при луне. А по воскресеньям она спала как бревно. Она, должно быть, всего недели две-три кормила меня грудью — так и все остальные женщины делали. А потом снова на рисовое поле вернулась, и я сосала грудь другой женщины, которая была обязана кормить всех чужих детей. Так что, наверно, мне нужно ответить «нет». Думаю, нет, она никогда меня не причесывала. Она ведь и ночью-то спала где-то в другом месте, не в нашей хижине. И видимо, не в хижинах рабов, насколько я теперь могу догадаться. Но кое-что она для меня действительно сделала. Однажды она схватила меня и повела куда-то за коптильню. Расстегнула свое платье спереди, приподняла одну грудь и ткнула пальцем прямо под нею. Там у нее, на ребрах, был выжжен кружок и в нем крест. Прямо каленым железом на коже. Она сказала: «Вот смотри: это твоя мать. — И ткнула пальцем в кружок. — У меня одной такое клеймо осталось. Все остальные умерли. Если со мной что-нибудь случится

и ты не сможешь узнать меня в лицо, то всегда отличишь по этому клейму». Ужасно она меня тогда напугала. И в голове у меня сидела только одна мысль: как это важно и как мне тоже нужно сказать ей что-нибудь важное. Но так ничего и не придумав, я сказала первое, что пришло в голову: «Да, мама. Но как же ты-то меня узнаешь? Как? И мне тоже такую метку нужно поставить. Ты мне тоже такую метку поставь». — Сэти засмеялась негромко.

— И что же она? — спросила Денвер.

— Она дала мне пощечину.

— За что?

— Тогда я этого не понимала. Не понимала до тех пор, пока не получила собственное клеймо.

— А с ней что случилось?

— Повесили. К тому времени как срезали веревку, никто уже не мог сказать, был ли у нее кружок с крестом или не было, и уж меньше всего я. А я ведь смотрела. — Сэти выбрала из гребня волосы и, обернувшись назад, бросила их в огонь. Они вспыхнули, словно звезды, и противно запахло паленым. — О, господи! — сказала Сэти и встала так резко, что гребешок, который она воткнула в волосы Денвер, упал на пол.

— Мам, что с тобой? Мам?

Сэти подошла к одному из стульев, сдернула со спинки простыню и с треском ее раздернула. Потом свернула пополам, еще пополам — и еще, и еще раз. Потом взялась за следующую простыню. Простыни еще не досохли, но свертывать их было так приятно, что Сэти просто не могла остановиться. Ей необходимо было делать что-то руками, и немедленно, потому что она вдруг начала вспоминать нечто, как ей казалось, давно забытое. Нечто ужасно постыдное, очень личное, что просочилось в трещинку ее памяти сразу после упоминания о той пощечине и крестике в кружке.

— Почему они повесили твою маму? — спросила Денвер. Она впервые услышала что-то о матери Сэти. Бэби Сагз была единственной бабушкой, которую она знала.

— Я так и не поняла. Их там было так много, — сказала Сэти, но все яснее и яснее становилось воспоминание — пока она сворачивала, разворачивала и снова сворачивала простыни — о той женщине по имени Нан, которая схватила Сэти за руку и потащила подальше от толпы, прежде чем она успела разглядеть клеймо. Нан Сэти знала лучше других женщин; Нан почти весь день была где-то поблизости, она кормила детей, при-

сматривала за ними, готовила, и у нее была одна целая рука и только половинка второй. И еще Нан говорила особенные слова. Слова эти Сэти тогда понимала, но теперь уже ни вспомнить, ни повторить не могла. Она считала, что именно поэтому так мало помнит из жизни, что предшествовала Милому Дому, — только песни, танцы и как много там было народу. Что рассказывала Нан, Сэти давно позабыла, как и язык, на котором это рассказывалось. На том же языке говорила и ее мать, и язык этот она никогда уже вспомнить не сможет. Но самые главные слова — о, они-то всегда были при ней! Их она не могла бы забыть никогда. Прижимая к груди влажные белые простыни, она выуживала из памяти значение тех слов загадочного языка, которого больше не понимала. Ночь. Нан держит ее за руку своей здоровой рукой, а обрубком второй, жестикулируя, машет в воздухе. «Послушай, что я скажу тебе, маленькая Сэти», — и она рассказывала, как мать Сэти и сама она, Нан, вместе плыли через море. Обеих много раз насиловали матросы. Плыли они ужасно долго. «Она всех новорожденных выбросила, всех, кроме тебя. Одного, что родился после того, как ее насиловали всей командой, она оставила на острове. Других, тоже рожденных

от белых, она выбрасывала за борт, даже не дав им имени. А тебе она дала имя того чернокожего мужчины. Которого обнимала. Других — не обнимала никогда. Никогда. Никогда. Слушай, это я точно говорю тебе, маленькая Сэти, слушай».

Но на маленькую Сэти это особого впечатления тогда не произвело. А став взрослой, она рассердилась, хотя и не понимала, на что именно. Сейчас же ей вдруг ужасно захотелось повидать Бэби Сагз; желание это обрушилось на нее как волна прибоя. И в тишине, наступившей после грохота этой волны, Сэти посмотрела на обеих девочек, сидевших у плиты: на свою болезненную, неразумную гостью и вечно раздраженную, одинокую родную дочь. Обе показались ей маленькими и очень далекими.

— С минуты на минуту Поль Ди придет… — проговорила она.

Денвер вздохнула с облегчением. Потому что, когда ее мать вдруг застыла, погруженная в свои мысли, машинально сворачивая простыни, Денвер, стиснув зубы, молила Бога, чтобы все это поскорее кончилось. Она терпеть не могла, когда мать рассказывает о чем-то, не связанном с ней, Денвер, или еще с Эми. Весь остальной мир казался ей тем более могущественным и прекрасным,

что ей-то в нем места не было. И, не принадлежа ему, она его ненавидела и хотела, чтобы Возлюбленная тоже возненавидела его, хотя на это и не было ни малейшей надежды. Ее подруга, напротив, пользовалась любой возможностью, чтобы задать какой-нибудь нелепый вопрос и заставить Сэти что-нибудь рассказывать. Денвер заметила, с какой жадностью она слушает эти рассказы. А теперь она задумалась о вопросах, которые задавала Возлюбленная: «А где твои бриллианты?» — или: «А твоя женщина — она никогда тебе волосы не расчесывала?» Но самой удивительной была просьба: «Расскажи мне о твоих сережках». Как она об этом узнала?

* * *

Возлюбленная сияла, и Полю Ди это очень не нравилось. Женщины, они ведь как клубничные кусты, когда собираются «усы» выпустить: сперва меняется цвет листьев; потом появляются тонкие усики, потом бутоны. К тому времени как опадают белоснежные лепестки и образуются бледно-зеленые ягоды, сами листья становятся блестящими, темными и плотными, словно покрытыми воском. Именно так и выглядела Возлюбленная — блестящей и сияющей. Поль Ди

теперь занимался любовью с Сэти по утрам, едва проснувшись, чтобы позже, когда он спускался вниз по белой лесенке в кухню, где она стряпала под неусыпным наблюдением Бел, голова у него была уже ясной.

По вечерам, когда он возвращался домой и они втроем накрывали на стол, ее сияние так бросалось в глаза, что он удивлялся, как это Денвер и Сэти ничего не замечают. А может, и они это видели. Женщины ведь, как, впрочем, и мужчины, всегда могут определить, когда на кого-то из них нападает любовная лихорадка. Поль Ди осторожно глянул на Бел, пытаясь понять, чувствует ли это она сама, но она не обращала на него ни малейшего внимания — зачастую даже не отвечала на прямо заданный ей вопрос. В таких случаях она обычно только смотрела на него, однако рта не открывала. Уже пять недель она прожила с ними в одном доме, но они знали о ней не больше, чем в первую минуту, когда увидели ее дремлющей на пне.

Они сидели за столом, который Поль Ди сломал в день своего появления в доме номер 124. Ножки он ему потом приделал, и куда более крепкие, чем раньше. С капустой уже было покончено, а на тарелках у них возвышались горки обглодан-

ных косточек от копченых свиных ножек. Сэти раскладывала хлебный пудинг, невнятно бормоча, что, дескать, надеется, что пудинг получился ничего, и заранее извиняясь, как это всегда делают искусные повара, опасаясь, что он все-таки не удался, и тут что-то в лице Возлюбленной, какая-то особая, собачья преданность в ее глазах, неотрывно смотревших на Сэти, заставила Поля Ди спросить:

— Неужели у тебя ни братьев, ни сестер нет? Бел покачала ложкой, но на него не посмотрела.

— Никого у меня нет.

— Что же ты искала, когда пришла сюда? — снова спросил он.

— Это место. Я искала место, где могла бы жить.

— Тебе кто-нибудь рассказывал об этом доме?

— Она рассказывала. Когда я была на мосту, она сказала мне.

— Это, наверно, кто-то из старых знакомых, — догадалась Сэти. Из тех времен, когда дом номер 124 был пересадочной станцией, куда доставлялись различные послания, а потом и те, кто их отправил. Где обрывки сведений разбухали и полнились соками, словно сушеные бобы в родниковой воде, пока не становились вполне

удобоваримыми.

— И все же как ты попала сюда? Кто тебя привел? Теперь она смотрела на него твердым взглядом, но ничего не отвечала.

Он чувствовал, с каким трудом сдерживают себя Сэти и Денвер, как напряглись их мускулы, как они оплетают друг дружку липкой паутиной, отгораживаясь от него. Но он решил во что бы то ни стало заставить ее заговорить.

— Я спросил, кто тебя сюда привел?

— Я пришла сюда пешком, — сказала она. — Шла долго-долго. Очень долго. И никто меня не привел. Никто мне не помог.

— У тебя же ботинки были ничуточки не изношенные! Если ты так долго шла пешком, что ж по твоим ботинкам-то этого не заметно?

— Поль Ди, перестань! Не дразни ее.

— Я хочу понять, — сказал он, размахивая перед собой столовым ножом.

— Да взяла я эти ботинки! И платье взяла! Все равно на этих ботинках шнурки не завязывались! — Бел, выкрикнув это, так злобно на него посмотрела, что Денвер даже тронула ее за руку.

— Я научу тебя зашнуровывать ботинки, — сказала ей Денвер и тут же получила от Бел благодарную улыбку.

У Поля Ди было отчетливое ощущение, что он уже схватил за хвост крупную серебристую рыбину, но в тот же миг она выскользнула у него из рук и исчезла, блеснув, в темной глубине. Но если ее сияние предназначено не для него, то для кого же? Он никогда не встречал женщины, которая вдруг начала бы вся светиться изнутри не ради определенного человека, а просто так, словно объявляя об охватившем ее желании. Опыт подсказывал ему, что подобное сияние возможно только в том случае, если ему есть на чем сфокусироваться. Как у той женщины с тридцатой мили, которой было ужасно скучно курить и ждать с ним вместе в канаве, пока не пришел Сиксо, и вот тут-то она и засияла как звездное небо. Он знал и по себе. Он сразу почувствовал это, стоило ему взглянуть на мокрые босые ноги Сэти, иначе он никогда не осмелился бы в тот самый первый день обнять ее и шептать ей в спину всякие слова.

Но эта девица, эта Возлюбленная, бездомная и одинокая, вела себя просто невероятно, хотя он не смог бы с точностью сказать, что его настораживало. За последние двадцать лет он повидал немало разных цветных. Во время Войны, до и после нее он видел негров настолько потрясенных и растерянных, настолько голодных и усталых,

настолько обездоленных, что казалось чудом, как это они вообще способны что-то вспомнить или рассказать. Многие, как и он сам, прятались в пещерах и охотились на сов, которых ели; многие, как и он сам, крали пойло у свиней; многие, как и он сам, спали днем на деревьях, привязавшись к веткам, а шли только ночью; многие, как и он сам, зарывались в отбросы на помойках и прыгали в колодцы, только бы не попасться в облаву, только бы не заметил патруль и прочие бывалые люди — егеря, ополченцы, те, кого созывают шерифы для подавления беспорядков, только бы не обратили внимания просто любители позабавиться. Однажды он встретил чернокожего мальчишку лет четырнадцати, который жил в лесу совершенно один и утверждал, что не помнит, чтобы когда-либо жил в настоящем доме. Он видел, как схватили и повесили безумную негритянку — за кражу уток, которых она считала своими детьми.

Перебираться с места на место. Уходить. Бежать. Прятаться. Красть и снова перебираться с места на место. Лишь однажды ему удалось задержаться в одном городе — с одной женщиной, точнее, с одной семьей — более чем на несколько месяцев. Это было единственный раз — с той

ткачихой в Делавэре, самом отвратительном месте для негров, с его точки зрения, помимо округа Пуласки в Кентукки и, конечно, тюрьмы в Джорджии.

Ото всех этих негров Возлюбленная очень отличалась. Ее сияние, ее неношеные башмаки… Все это тревожило Поля Ди. Может быть, потому, что сама она не тревожилась нисколько и совершенно не обращала на него внимания. А может, потому, что она словно подгадала: объявилась здесь в тот самый день, когда они с Сэти уладили все споры, вышли на люди и имели полное право как следует повеселиться — как настоящая семья. Пожалуй, и с Денвер тогда что-то начало меняться к лучшему. Сэти смеялась; ему пообещали постоянную работу, дом номер 124 был очищен от духов. Жизнь начинала входить в нормальную колею. И на тебе! Какая-то водохлебка вдруг является, заболевает, остается в их доме, поправляется — и отсюда ни на шаг!

Ему очень хотелось, чтобы она ушла, но Сэти позволила ей остаться, и он не мог выгнать ее — ведь он в этом доме хозяином не был. Одно дело — прогнать привидение, и совсем другое — выбросить на улицу беспомощную цветную девчонку, да еще в таких местах, где хозяйничает

Ку-клукс-клан — этот дракон, жаждущий черной крови, который жить без нее не может и переплывает Огайо когда ему вздумается.

Продолжая сидеть за столом и жевать прутик, Поль Ди решил, что надо как– то эту девицу пристроить. Посоветоваться с другими неграми и найти ей подходящее место в городе.

И стоило этой мысли прийти ему в голову, как Бел подавилась изюминой, которую долго выковыривала из хлебного пудинга. Она свалилась со стула, упала на спину и стала биться на полу, держась за горло. Сэти приподнимала ее, хлопала по спине, а Денвер все пыталась оторвать ее руки от горла. Стоя на четвереньках, она выблевала только что съеденный ужин и, задыхаясь, хватала ртом воздух.

Наконец она успокоилась, и Денвер принялась убирать за ней.

— Пойду посплю, — сказала Бел.

— Пойдем ко мне в комнату, — предложила Денвер. — Я за тобой смогу присмотреть.

Лучшего момента и выбрать было нельзя. Денвер уже извелась вся, придумывая, как бы залучить Бел к себе в комнату. Ей было невыносимо спать на втором этаже и не знать, как она там, внизу. Не заболела ли? А вдруг уснула и

не проснулась? Или (о, господи, только не это!) вдруг встала среди ночи и побрела прочь со двора точно так же, как явилась сюда? А так им было бы проще и разговаривать друг с другом: по ночам, когда Сэти и Поль Ди уже заснут, или днем, пока они еще не вернулись с работы. Упоительные, безумные разговоры, полные недоговоренностей, странных мечтаний и темных намеков — насколько же они увлекательнее ясности.

Когда девушки ушли, Сэти начала убирать со стола. Она составила грязные тарелки стопкой возле таза с водой и спросила:

— Чего это ты на нее так взъелся?

Поль Ди нахмурился, но ничего не ответил.

— Мы с тобой уже один раз здорово поцапались из-за Денвер. Неужели из-за Бел тоже будем ссориться? — спросила она снова.

— Я просто никак не пойму, в чем тут дело. Ясно, почему она так цепляется за тебя, но я никак не могу уразуметь, чего ты-то за нее цепляешься.

Сэти перестала мыть посуду и посмотрела на него:

— А тебе не все равно? Кормить ее мне не трудно. Чуть больше прихватываю с собой из ресторана — и все дела. И потом, они ладят с Денвер. Ты это прекрасно знаешь, и я знаю, что

ты это прекрасно знаешь, так что ж ты зубами-то скрежещешь?

— Сам не понимаю. Просто чувствую, что-то тут не то.

— Ну и чувствуй себе на здоровье. Чувствуй, каково это, иметь место для ночлега и никто от тебя не требует заслужить его. Почувствуй, каково это. И если этого тебе мало, то попробуй представить себе, каково это — цветной женщине скитаться одной по дорогам, где любая тварь на тебя наброситься может. Попробуй — представь себе такое!

— Я-то все это куда как хорошо знаю, Сэти. Я ведь не вчера родился и в жизни ни с одной женщиной подлости себе не позволил.

— Ну, значит, ты один такой замечательный, — откликнулась Сэти.

— А не двое?

— Нет. Не двое.

— Разве Халле тебя когда обижал? Ведь он всегда на твоей стороне был. И никогда тебя в беде не бросал.

— Да? А кого же тогда он бросил, если не меня?

— Не знаю, да только тебя он не бросал. Это точно.

— Ну так он еще хуже поступил: бросил своих детей!

— Этого ты знать не можешь.

— Он же не пришел! Его же не было там, где мы условились!

— Он там был.

— Так отчего ж не показался? Почему я из-за него должна была впопыхах отправлять детей одних, а потом еще и его разыскивать?

— Он не мог с чердака слезть.

— С чердака? С какого чердака? — У тебя над головой.

Медленно, медленно, используя каждую секунду отведенного ей времени, Сэти придвинулась к столу.

— Он все видел?

— Видел.

— Это он тебе рассказал?

— Это ты мне рассказала.

— Как это?

— В тот самый день, когда я объявился в вашем доме. Ты сказала, что они отняли у тебя молоко. А я-то никак не мог в толк взять, отчего он умом тронулся! Из-за этого, вот из-за чего. Я знал только, что он сломался. Все эти годы, когда он и по субботам, и по воскресеньям работал, и по ночам порой тоже, ему нипочем были. А вот из-за того, что он тогда с чердака увидел — что бы это ни

было, — сломался, как хворостинка.

— Значит, он видел? — Сэти крепко обхватила себя руками, вцепилась пальцами в локти, словно боялась, что улетит.

— Видел. Не мог не видеть.

— Он видел, как те парни делали со мной такое, и позволил им жить дальше? Он видел? Видел? Видел?

— Эй, эй! Послушай. Дай-ка я тебе кое-что расскажу. Человек, черт побери, не топор безмозглый, которым только и делают, что целый день дрова рубят да щепу колют. То, что он увидел, его доконало. И отрубить он этого не мог, потому что оно у него внутри засело.

Сэти металась по комнате — взад-вперед, взад-вперед, — под светом лампы.

— Связной тогда сказал: к воскресенью. Они отняли у меня молоко, и он это видел и даже вниз не слез? Наступило воскресенье, но он не пришел! Наступил понедельник, а Халле нет как нет. Я думала сперва, он умер и потому не пришел; потом — что они поймали его и не выпускают. Потом — нет, он не умер, потому что, если б он умер, я бы об этом узнала. Ну а потом сюда через столько лет явился ты и тоже ничего не сказал мне, умер он или нет, потому что тоже ничего

не знал. И я подумала: что ж, наверно, он просто нашел себе что-нибудь другое, полегче, без нас. И потом, если б он оказался где-нибудь неподалеку, то непременно зашел бы хоть к Бэби Сагз, если уж не ко мне. Но я и предположить не могла, что он все видел.

— Разве теперь это имеет значение?

— Если он жив и видел это, он никогда больше не ступит на мой порог. Кто угодно, только не Халле.

— Это его доконало, Сэти. — Поль Ди поднял на нее глаза и вздохнул. — Пожалуй, я скажу тебе все. В последний раз, когда я его видел, он сидел возле маслобойки. И размазывал по лицу масло.

Ничего не произошло, и она была благодарна за это. Обычно она могла явственно увидеть все то, о чем слышала. Но увидеть то, о чем сказал Поль Ди, она не могла. Голова была пуста. Осторожно, очень осторожно она задала более понятный вопрос:

— И что он сказал?

— Ничего.

— Ни слова?

— Ни слова.

— А ты с ним заговаривал? Сказал ему что-нибудь? Хоть что-нибудь!

— Я не мог, Сэти. Я просто… не мог.

— Почему же!

— У меня во рту железный мундштук был.

Сэти вышла на веранду и присела на ступеньки крыльца. День сменился синими сумерками, солнце так и не выглянуло, но еще видны были черные тени деревьев на лугу перед домом. Сэти мотала головой из стороны в сторону, покоряясь своему непокорному разуму. Почему ее разум ничего не отвергает? Почему он поглощает все — нищету, сожаления, чужую подлость? Как прожорливый ребенок, он хватает и сует в рот все, что попадется. Ну хоть один-то разок может он сказать: нет, спасибо, больше не хочу? Я сыт и не могу проглотить ни кусочка? Я сыта, черт меня побери! Хватит с меня двух мальчишек с хищными острыми зубами, один сосет мою грудь, другой держит, не дает вырваться. Хватит с меня. Хватит с меня этого книгочея учителя, который все следит за нами, все что-то записывает. Я всем этим сыта по горло, черт меня побери! И я не хочу возвращаться назад за добавкой. А тут еще выясняется, что муж мой спрятался на чердаке прямо над моей головой, там, где, как он думал, никто его искать не станет, — и видел оттуда все то, что я ни видеть, ни вспоминать не хочу, хоть

глаза закрывай. И не остановил их — смотрел и не вмешивался. Но мой прожорливый ум говорит: ой, вот спасибо, я с удовольствием съем еще! Ну хорошо, вот тебе еще. Раз уж не могла остановиться, этому теперь не будет конца. И вот я слушаю, как муж мой сидел на корточках у маслобойки и размазывал по лицу масло и сыворотку, потому что из головы у него не шло то молоко, которое они отняли у меня. Что же касается моего мужа, тут и спрашивать нечего: если уж он так сломался тогда, то теперь, конечно же, мертв. И раз Поль Ди видел его, но не мог ни спасти, ни утешить, потому что в рот ему вставили железный мундштук, то было и еще кое-что, о чем Поль Ди может рассказать мне, и мой ум, разумеется, захочет это узнать и ни за что не скажет: нет, спасибо, больше мне не надо. А я не желаю об этом знать, и я не обязана это помнить! У меня есть другие заботы: нужно, например, позаботиться о завтрашнем дне, о Денвер, о Бел, о собственной старости и болезнях, не говоря уж о любви.

Но ее жадному уму на будущее было наплевать. Перегруженный прошлым и желающий получить побольше подробностей, он не оставлял ей возможности подумать о завтрашнем дне. В точности как тогда, в зарослях дикого лука, на

берегу Огайо, в полдень: самое большее, что она тогда могла себе представить, — это еще один шаг. Другие же сходят с ума, а она что, особенная? У других же случается, что башка перестает работать, мозги свихиваются набекрень, и все вокруг им начинает казаться не таким, как есть, — это, наверно, и случилось с Халле. А может, оно и неплохо было бы: сидеть с ним рядом на корточках за молочным сараем, у маслобойки, и размазывать холодное комковатое масло по лицу, а на все остальное плевать. Чувствовать, как масло скользит, липнет к рукам, втирать его в волосы, продавливать сквозь пальцы… Ах, как было бы просто кончить все именно там! Закрыть за собой дверь в этот мир. Захлопнуть ее. Давить пальцами масло. Но трое ее детей, укрытых одеялом, сосали тряпочки с сахарной водой на пути в Огайо, так что какие уж тут забавы с размазыванием масла. Поль Ди тоже вышел на веранду и тронул ее за плечо:

— Я не хотел рассказывать тебе об этом,

— А я не хотела про это знать.

— Я не могу взять свои слова обратно, но могу больше никогда к этому не возвращаться, — сказал Поль Ди.

Он очень хочет рассказать мне все, подумала

она. Он хочет, чтобы я спросила, как ему самому тогда пришлось — когда язык стиснут железным мундштуком, когда желание сплюнуть так велико, что от этого плачешь. Она знала о таком наказании и несколько раз видела его там, где жила до Милого Дома. Видела, как в железо заковывали мужчин, молодых парней, маленьких девочек, женщин. Видела то безумие, что появлялось у них в глазах, когда им в рот вставляли железные удила и дергали, выворачивая губы. После такого наказания разодранные губы и растрескавшиеся уголки рта еще как-то удавалось вылечить с помощью гусиного жира, но язык болел очень долго и безумный ужас никогда не исчезал из глаз.

Сэти подняла голову и посмотрела Полю Ди прямо в глаза, пытаясь разглядеть там какой-нибудь след былого.

— В детстве я видела людей, — заговорила она, — которым в рот вставляли железные удила; они всегда потом выглядели какими-то дикими. Вряд ли такое наказание — за что бы их ни наказывали — приносило пользу: люди после этого теряли разум. А у тебя в глазах я ничего такого не вижу. Глаза у тебя совсем не дикие.

— Знаешь, есть способ поселить во взгляде

человека безумие, но есть и способ изгнать его оттуда. Я их оба знаю, но еще не решил, какой из них хуже. — Он сел рядом с ней на ступеньку. Сэти посмотрела на него. В гаснущем свете дня его лицо, темно-коричневое, осунувшееся, чем-то вдруг тронуло ее.

— Хочешь мне все рассказать? — спросила она.

— Не знаю. Я никогда об этом не рассказывал. Ни одной живой душе. Иногда пел, но никогда никому не рассказывал.

— Ну так давай, расскажи. Я могу тебя выслушать.

— Возможно. Возможно, у тебя даже хватит сил. Вот только я не уверен, что сумею. Сказать обо всем так, как надо. Дело ведь было вовсе не в железном мундштуке — нет, не в нем.

— А в чем же? — спросила Сэти.

— В петухах, — сказал он. — В том, как они смотрели на меня, когда я шел мимо.

Сэти улыбнулась:

— Это под той сосной?

— Да. — Поль Ди тоже улыбнулся. — Их там, должно быть, штук пять было — на ветки взгромоздились — и еще по крайней мере штук пятьдесят несушек.

— Мистер тоже там был?

— Не совсем там. Но я и двадцати шагов не прошел, как его увидел. Он слетел со своего наблюдательного поста на столбе и уселся на бочку с водой.

— Он очень любил сидеть на этой бочке, — сказала Сэти и подумала: нет, теперь уже не остановиться.

— Да? Ты тоже помнишь? Как на троне. А ведь это я помог ему вылупиться из яйца, знаешь ли. Он бы подох, если б не я. Мамаша его уже ушла и весь свой пищащий выводок за собой увела. Только это одно яйцо и осталось. Выглядело оно как болтун, но тут я заметил, что в нем вроде бы что-то шевелится; я тихонько скорлупу-то разбил, и оттуда вылез Мистер, колченогий и все такое. Я потом все смотрел, как этот сукин сын растет и никому во дворе спуску не дает.

— Да, он всегда был противный, — сказала Сэти.

— Это уж точно. Кровожадный какой-то. И вредный. А кривая нога у него совсем никудышная была. Зато гребень не меньше моей ладони и красный как кровь. И вот сидит он на этой бочке и на меня смотрит. И честное слово, улыбается! У меня из головы все Халле не выходил — такой, каким я его только что видел. Я даже о железе

во рту позабыл. Мне все Халле виделся и то, что случилось чуть раньше с Сиксо… Но когда я увидел Мистера, то понял: все это случилось и со мной тоже. Не только с ними, но и со мной. Один спятил, одного продали, один пропал, одного сожгли, а у меня — железо во рту и руки связаны за спиной. Последний из мужчин Милого Дома.

Мистер, он всегда выглядел таким… свободным. Он был куда лучше меня. Сильнее, упорнее. Этот сукин сын не мог сам даже вылезти из яйца и все-таки стал королем, а я… — Поль Ди умолк и стиснул пальцы так, что они побелели. Он сидел так довольно долго, пока буря не улеглась, мир вокруг не успокоился и он не смог говорить дальше.

— Мистеру было позволено стать тем, кем он мог стать. А мне этого позволено не было. И даже если б я его поймал и зажарил, то все равно я жарил бы петуха по кличке Мистер и знал бы это. А я уже не смогу быть Полем Ди — умру я или выживу. Этот учитель все во мне переломал. И я стал совсем другим, слабее цыпленка и куда слабее того наглого петуха, что сидел на краю кадки с водой и грелся на солнышке.

Сэти погладила его по колену.

Поль Ди только еще начал рассказывать; это

было еще только самое начало, но пальцы Сэти легли ему на колено, мягкие и ободряющие, и заставили его замолчать. Просто заставили, и все. Потому что если рассказывать дальше, то оба они могут оказаться на самом краю, упасть туда, откуда нет возврата. Хватит, остальное он оставит при себе: в той жестянке из-под табака, что хранит у себя в груди, там, где когда-то билось его красное сердце. Крышка жестянки заржавела и не открывалась. И пусть. Он и не станет открывать ее, взламывать при этой милой храброй женщине, потому что, если она почувствует хотя бы слабый запах того, что там хранится, ему будет очень стыдно. А ей будет очень больно, когда она поймет, что у него больше нет трепещущего красного сердца, красного, как гребень петуха Мистера, и в груди ничего не бьется.

Сэти все гладила и гладила его по могучему, будто каменному колену, разглаживала штанину и надеялась, что ему от этого легче, как и ей самой. Так порой она месила тесто в тусклом свете ресторанной кухни. Еще до того, как на работу придет старший повар. Устраивалась в узком пространстве, слева от бидонов с молоком и спиной к кухонному столу. Месила тесто. Упорно, изо всех сил месила тесто. Нет ничего лучше, когда

хочешь прогнать воспоминания о прошлом и начать всякие серьезные дела.

* * *

Наверху Возлюбленная танцевала. Два крошечных шажка, еще два, еще шажок, плавный поворот, проход с высоко поднятой головой, и все сначала.

Денвер сидела на кровати, улыбалась и «делала музыку».

Она никогда еще не видела Бел такой счастливой. Конечно, порой ее надутые губки расплывались в довольной улыбке — когда она получала что-нибудь сладкое или когда Денвер рассказывала ей что-нибудь интересное. Она лучилась восторгом, слушая истории Сэти о прежних днях, и от нее исходило тепло, как от печки. Но веселой она никогда не была. Каких-то десять минут назад она лежала на полу с выпученными глазами, задыхаясь и хватаясь за горло. А теперь, буквально несколько секунд отдохнув на постели Денвер, уже вскочила и танцевала!

— Где ты научилась танцевать? — спросила ее Денвер.

— Нигде. Вот смотри на меня и делай так же. — Она подбоченилась и принялась скакать

босиком. Денвер рассмеялась. — Теперь ты. Ну же, давай, — сказала Бел. — Ну давай же, ты можешь не хуже. — Ее черная юбка так и разлеталась.

Денвер, похолодев, встала с кровати, понимая, что в два раза ниже и толще Бел, но тоже поплыла с высоко поднятой головой, холодная и легкая, точно снежинка.

Бел взяла Денвер за руку, а другую свою руку положила ей на плечо. И они стали танцевать вместе. Кружили по крошечной комнатке, и, может, оттого, что голова закружилась, а может, от этого ощущения холода и легкости Денвер смеялась как сумасшедшая. Заразительный ее смех подхватила и Бел. Разыгравшись, как котята, они долго кружились и раскачивались туда-сюда, туда-сюда, пока, совершенно измученные, не шлепнулись на пол. Бел, переводя дыхание, откинулась назад и голову положила на кровать, и тут Денвер увидела краешек того, что видела целиком, когда Бел раздевалась на ночь. Глядя на это, она прошептала:

— Почему ты называешь себя Возлюбленной? Бел закрыла глаза.

— Там, во тьме, мое имя — Возлюбленная. Денвер подобралась чуточку ближе.

— А как оно — там, где ты была прежде? Рас-

скажи, а?

— Там темно, — проговорила Бел. — Я там — маленькая. Вот такая. — Она подняла голову и легла на бок, свернувшись на полу клубком.

Денвер испуганно прижала пальцы к губам.

— Тебе там было холодно?

Бел съежилась еще больше и помотала головой:

— Жарко. Просто дышать нечем. И ужасно тесно.

— А ты там кого-нибудь видела?

— Там много людей. Некоторые мертвые.

— А Иисуса Христа ты не видела? А Бэби Сагз?

— Не знаю. Я не знаю имен. — Бел села.

— Расскажи, как ты попала сюда?

— Я ждала, потом оказалась на мосту. И ждала там в темноте; потом наступил день, потом снова ночь, потом снова день. Очень долго ждала.

— И ты все время стояла на каком-то мосту?

— Нет. Это уже потом. Когда я выбралась.

— Почему ты вернулась? Улыбка скользнула по лицу Бел.

— Чтобы увидеть ее лицо.

— Мамино? Сэти?

— Да, Сэти.

Денвер слегка задело, что не она была главной

причиной возвращения Возлюбленной.

— Ты разве не помнишь, как мы играли у ручья?

— Я была на мосту, — сказала Возлюбленная. — Ты видела меня на мосту?

— Нет, у ручья. Там, в лесу, за домом.

— А, но я-то была в воде. И видела в воде ее бриллианты. Могла их даже потрогать.

— И что же тебе помешало?

— Она ушла и оставила меня. Одну, — сказала Возлюбленная. Она подняла глаза, встретилась взглядом с Денвер и нахмурилась. Впрочем, может, и не нахмурилась. Может, Денвер это только показалось из-за тоненьких шрамиков у нее на лбу.

Денвер заторопилась, глотая слова.

— Не сердись, — бормотала она, — не надо. Ты ведь от нас не уйдешь, а?

— Нет. Никогда. Здесь я — есть.

Денвер, сидевшая по-турецки, вдруг резко наклонилась вперед и схватила Бел за запястье.

— Только не говори ей! Пусть мама не знает, кто ты. Пожалуйста! Ты меня слышишь?

— Нечего указывать мне, что я должна делать! Никогда не указывай мне.

— Но я ведь на твоей стороне, Возлюбленная.

— Она — единственная. Она — единственная, кто мне нужен. Ты уходи, если хочешь, но она — единственная, кто мне нужен. — Глаза у нее невероятно расширились, черные, как полночное небо.

— Я тебе ничего такого не сделала. Я тебе никакого зла не причинила. Я никому зла не причиняю, — сказала Денвер.

— Я тоже. Я тоже.

— Что ты собираешься делать?

— Остаться здесь. Мое место — здесь.

— Мое тоже!

— Ну так оставайся, но никогда больше не указывай мне, что я должна делать. Никогда.

— Мы же танцевали. Всего лишь минуту назад мы с тобой танцевали! Давай еще?

— Я больше не хочу. — Бел встала и легла поверх постели. Обе затихли, и их молчание ударялось о стены, как вспугнутая птица. Наконец дыхание Денвер стало спокойнее, угроза непереносимой утраты отступила.

— Расскажи, — попросила ее Возлюбленная. — Расскажи, как Сэти родила тебя в лодке.

— Она никогда мне всего не рассказывала, — сказала Денвер.

— А ты расскажи!

Денвер уселась на кровать, скрестив руки под фартуком. Она ни разу не ходила в свою зеленую комнатку с тех пор, как в день карнавала они увидели Возлюбленную сидящей на пне возле крыльца. Она даже не вспоминала о своем тайнике — только сейчас, когда отчаяние охватило ее. Там, в зарослях букса, больше не было тайны; все это теперь в избытке могла ей дать новая подруга, или сестра: бешено бьющееся сердце, мечты, опасность и красоту. Денвер несколько раз сглотнула, готовясь рассказывать — плести из тех отдельных нитей, которые ей удалось вытянуть у матери и бабки за всю свою жизнь, сеть, чтобы удержать Возлюбленную.

— Мама говорила, у нее руки были хорошие. У той белой девушки. Очень худые, маленькие, но добрые. Мать сразу это поняла, она так и говорила: добрые, хорошие руки. И волос у этой девушки на голове было столько, что на пять голов бы, наверно, хватило. По-моему, из-за ее рук мама поверила, что справится: переберется со мной вместе на тот берег. Но бояться белой девушки перестала только потому, что у той рот был особенный. Мама сама так сказала. Она сказала: с этими белыми никогда не знаешь как себя вести. Никогда не знаешь, с чего они, например,

могут вдруг на тебя взъесться. Или скажут одно, а сделают другое. Но вот по губам их иногда все-таки можно определить, злые они или нет. Мать говорила, что та девушка трещала как трещотка, но губы у нее были добрые. И потом, она помогла маме добраться до сарая в лесу и растерла ей ноги — вот даже как А еще — мать была уверена: эта девушка ее не выдаст. Можно ведь было неплохо заработать, если выдать беглого раба, и похоже, этой девушке, Эми, деньги-то были как раз нужны — она только и говорила, что мечтает купить себе бархат.

— Что такое бархат?

— Это такая ткань, плотная и мягкая.

— Рассказывай дальше.

— Ну, в общем, растерла она ноги маме, и они ожили, и мама заплакала, так ей было больно. Зато, снова почувствовав свои ноги, она и стала думать, что теперь, наверно, сумеет все-таки перебраться на тот берег, где жила бабушка Бэби Сагз и…

— Кто это?

— Я же сказала. Моя бабушка.

— Это мать Сэти?

— Нет. Мать моего отца.

— Рассказывай дальше.

— И все остальные. Мои братья и… маленькая сестренка. Мать их туда заранее отослала, и они дожидались ее у бабушки Бэби. И ей, конечно, во что бы то ни стало нужно было попасть к ним. А эта девушка Эми ей помогла.

Денвер остановилась и вздохнула. Начиналась самая лучшая часть истории. Та часть, которая вся была про нее. Она и любила ее и ненавидела: ей всегда казалось, что где-то есть у нее, Денвер, неоплаченный счет и оплатить его непременно нужно. Но кому она должна платить по счету и что именно для этого должна сделать, оставалось неясно. И сейчас, глядя на оживленное лицо Возлюбленной, видя, как жадно та впитывает каждое ее слово, задает всякие вопросы о цвете и размере различных вещей, упорно желая все понять, Денвер вдруг начала видеть и чувствовать то, о чем говорила: вот девятнадцатилетняя рабыня — всего на год старше Денвер — бредет по темному лесу, стремясь к своим детям, которые так далеко сейчас от нее. Она страшно устала, очень боится и наверняка заблудилась. Но самое главное — она одна– одинешенька, а внутри у нее еще один ребенок, о котором она тоже должна позаботиться. За ней гонятся, может — с собаками, наверняка — с ружьями; и уж конечно, у

охотников огромные, хищные зубы. Ночью ей не так страшно — ведь ночь одного с нею цвета, но днем каждый звук кажется ей выстрелом или крадущимся шагом преследователей.

Денвер все это теперь видела и чувствовала сама — через Возлюбленную. Чувствовала все, что могла тогда чувствовать ее мать. Видела, как все это происходило. И чем больше подробностей она вспоминала и добавляла в свой рассказ, тем больше это нравилось Возлюбленной. Порой Денвер даже предупреждала ее вопросы, сама наполняя живой краской и живым биением сердца те жалкие обрывки, которые когда-то получила от матери и бабушки. Ее соло, таким образом, вскоре превратилось в дуэт; они лежали рядышком на постели, и Денвер старалась удовлетворить жадное любопытство Бел, подобно любовнику, который заботится единственно о том, чтобы доставить радость и наслаждение своей возлюбленной. Темное стеганое одеяло с двумя оранжевыми квадратами тоже, конечно, было тут — Бел без него заснуть не могла. Одеяло пахло травами, и прикосновение его напоминало руки — неугомонные руки вечно занятых работой женщин: сухие, теплые, чуть шершавые. Денвер рассказывала, Возлюбленная слушала, и

обе изо всех сил старались воспроизвести то, что происходило на самом деле, про что знала одна только Сэти, и только она одна могла это помнить и облечь в слова. Какой был голос у Эми, какое у нее горячее дыхание, похожее на жар костра. Как быстро менялась погода среди этих холмов — там было холодно ночью и жарко днем, неожиданно наплывали туманы. Как беспечно она вела себя с этой белой девушкой — эта беспечность была рождена отчаянием и подкреплена мимолетными взглядами Эми и ее добрыми губами.

— Незачем вам бродить по этим холмам, мисс.

— Нет, вы только ее послушайте! А ты-то зачем сюда пришла? Ведь если тебя поймают, так голову враз отчикают. За мной-то никто не гонится, а вот за тобой точно гонятся. — Эми сильно нажала пальцами, массируя свод ее стопы.

— Чей это ребенок?

Сэти не ответила.

— Ты даже и этого не знаешь? Боже мой! — Эми вздохнула и покачала головой.

— Больно?

— Немного.

— Это хорошо. Чем больнее, тем лучше для тебя. Ничего не вылечишь без боли, ты же знаешь. Ну чего ты все ерзаешь?

Сэти приподнялась на локтях. От долгого лежания на спине она чувствовала между лопатками жгучую боль. Огонь перекинулся с ног еще и на спину: она вся взмокла, так это было ужасно.

— У меня спина очень болит, — сказала она.

— Спина? Господи, ну и досталось тебе. Повернись-ка, дай я посмотрю.

С невероятным трудом, так что ее даже затошнило, Сэти перевернулась на правый бок. Эми расстегнула платье у нее на спине и, увидев то, что там было, воскликнула:

— Господи ты боже мой! — и умолкла.

Сэти догадывалась, что там, должно быть, что-то ужасное, потому что больше Эми не сказала ни слова, лишь пальцами легонько касалась ее спины, и слышалось только ее дыхание. Сэти не могла пошевелиться, не могла лежать ни на животе, ни на спине, а если ложилась на бок, ее истерзанные ноги соприкасались, и это вызывало нестерпимую боль. Наконец Эми заговорила — словно во сне:

— Это же дерево, Лу. Настоящее вишневое деревце. Смотри, вот ствол — с красной корой, сильно расщепленный — он полон соков; а вот здесь от него отходят ветки, много веток А вот на них листья, во всяком случае, очень похоже. И

черт меня побери, если это не цветы! Маленькие беленькие цветочки — как у вишни. Да, у тебя на спине целое вишневое дерево, Лу. В цвету. Интересно, что задумал Господь, дозволяя такое? Меня, конечно, тоже не раз били, но ничего подобного я не помню. У мистера Бадди рука была тяжелая, злая. Бил меня кнутом только за то, что я прямо ему в глаза посмотрела. Правда. Один раз я посмотрела ему прямо в глаза, и он так разъярился, что запустил в меня кочергой. Небось догадался, о чем я подумала.

Сэти застонала, и Эми, умолкнув, переложила израненные ноги Сэти повыше, чтобы основная нагрузка приходилась на ляжки.

— Ну что, так лучше? Господи, разве можно так умирать! Ты ведь понимаешь, что умрешь здесь? И я понятия не имею, как тебе из этой истории выпутаться. Благодари еще Создателя, что я случайно на тебя набрела, не то пришлось бы тебе умирать прямо там, в траве. Ну а если б змея проползла, так она б тебя точно укусила. А медведь и вообще бы съел. Может, все-таки тебе стоило остаться там, откуда ты сбежала, а, Лу? Хотя по твоей спине можно догадаться, — ха-ха! — почему ты там не осталась. Кто бы тебе это дерево ни нарисовал — он на сто очков мистера

Бадди переплюнет. Слава богу, я на твоем месте не оказалась. Ну что ж, ничем, кроме паутины, я тебя полечить не смогу. Только ее тут маловато, пойду поищу в кустах. Можно, конечно, еще мох приложить, да только там всякие жучки водятся. А может, попробуем вскрыть эти твои «цветочки»? Пусть-ка гной вытечет. Ну что ты молчишь? Ты– то сама что думаешь? А все ж интересно, что у Господа было на уме, когда он такое позволил. Ты, конечно же, что-то натворила, да? Ну теперь-то хоть никуда не убегай.

Сэти слышала, как Эми что-то бормочет и напевает в зарослях, собирая паутину. На ее пении она и постаралась сосредоточиться, потому что стоило Эми немного отойти, как ребенок в животе у Сэти снова принимался возиться. Хороший вопрос, думала Сэти. Что было на уме у Господа? Эми оставила платье у нее на спине незастегнутым, и теперь туда задувал ветерок, чуть смягчая, утоляя боль. Это была небольшая передышка, и она успела почувствовать, что язык весь распух и растрескался от жажды. Эми вскоре вернулась с полными пригоршнями паутины, которой, тщательно очистив ее от высохших паучьих жертв, увешала спину Сэти, приговаривая, что, дескать, примерно так украшают елку на Рождество.

— У нас там, где я жила, есть одна старая негритянка. Ну ничегошеньки не знает, а шьет здорово. Все для миссис Бадди шьет — и тонкое белье с кружевами, очень красивое, правда, но ведь и двух слов связать не умеет. И совсем неученая, вроде как ты. Ты тоже ничегошеньки не знаешь. Так и помрешь, ни о чем не узнав. А я нет! Я все равно доберусь до Бостона и куплю себе бархат! Карминный. Ты ведь о таком и не слыхала, верно? И не услышишь. Спорим, тебе не доводилось даже спать на солнышке? Я целых два раза так спала. Обычно-то я скотину кормлю еще до рассвета и спать не ложусь до поздней ночи. Но один раз я прикорнула днем за телегой, да так и заснула. Спать, когда тебе на лицо солнышко светит, — знаешь, как хорошо. Первый раз я так спала, когда была еще маленькая. И никто меня тогда будить не стал. Ну а когда я за телегой прикорнула, то все цыплята, черт бы их побрал, разбрелись, и мистер Бадди меня здорово выпорол. Кентукки — вообще гнусное местечко. Жить нужно только в Бостоне. Там и мать моя жила, пока не задолжала мистеру Бадди. Джо Натан говорит, что мистер Бадди — мой папаша, да только я этому не верю, а ты?

Сэти сказала, что тоже не верит.

— А ты знаешь, кто твой отец, а?

— Нет, — сказала Сэти.

— Ну и я не знаю. Знаю только, что не мистер Бадди. — И Эми, покончив с лечением, встала и прислонилась к стене сарая. Ее медлительные глаза стали совсем неподвижными и какими-то блеклыми в солнечном свете, который пламенем горел в ее волосах. И вдруг она запела:

День, устав, клонится к ночи, И малыш устал мой очень.

На качелях колыбели Он лежит в своей постели; Дарит негу ветерок, Вновь стрекочет песнь сверчок.

Сильфы с эльфами в тумане Кружат на лесной поляне, И приходит к нам из сказки Фея Кукольные Глазки.

Эми вдруг перестала раскачиваться, отстранилась от стены, села и съежилась, обхватив костлявыми руками колени и прижав локти своими крепкими, добрыми пальцами. Потом медленно опустила глаза и стала высматривать что– то в грязи под ногами.

— Это песенка моей мамы. Это она меня научила.

Темнота ей не страшна, Ведь она же фея сна, Плавно колыбель качает И тихонько напевает.

В тишине чуть слышно только Тиканье часов

на полке, Свет луны в окно струится, Спят игрушки, звери, птицы, Им нашептывает сказки Фея Кукольные Глазки.

Нежно малыша обнимет — Как рукой усталость снимет, Чуть кудрями прикоснется — И малыш мой улыбнется, Карие глаза сомкнет И с улыбкою уснет.

Так в объятьях темной ночи Дети все смежают очи, Мудрость черпая из сказки Феи Кукольные Глазки[4].

Закончив петь, Эми некоторое время сидела молча, потом повторила последние слова, встала, вышла из сарая и там остановилась в сторонке, прислонясь к молодому ясеню. Когда она вернулась, солнце еще вовсю освещало раскинувшуюся внизу долину, а у них здесь, на стороне Кентукки, были почти сумерки.

— Ты еще не умерла, Лу? Эй, Лу?

— Еще нет.

— Давай поспорим. Если ты доживешь до утра, то и вообще останешься жива.

— Эми поправила кучу листьев у Сэти под ногами, чтобы той было удобнее, и опустилась на колени, чтобы снова растереть ее опухшие

---

[4] Примечания: 4
Перевод Е.Пучковой.

стопы. — Давай-ка еще разок, и как следует! — сказала она и, когда Сэти от боли зашипела, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, рявкнула: — Заткнись! Держи рот закрытым.

Стараясь не шевелить языком, Сэти что было сил закусила губу и позволила добрым рукам заняться своим делом. Эми напевала себе под нос «И затихал шмелиный бас, смолкало пенье пчел», — потом, словно устав, отодвинулась к противоположной стене, уселась там и, опустив голову на плечо, заплела свои патлы, приговаривая:

— Не вздумай только умирать ночью, слышишь? И не вставай, Я не желаю видеть, как твое безобразное черное лицо качается тут надо мной. Будешь помирать, отползи куда-нибудь подальше, чтобы я тебя отсюда видеть не могла, слышишь?

— Слышу, — сказала Сэти. — Я сделаю все, что смогу, мисс.

Сэти, собственно, уже и не рассчитывала увидеть что-либо еще в своей жизни, так что, почувствовав, как чья-то нога осторожно коснулась ее бедра, некоторое время приходила в себя после глубокого сна, который уже приняла за смерть. Она села, вся дрожа от напряжения, и

Эми внимательно осмотрела ее вспухшую, кровоточащую спину.

— Выглядит жутко! — заявила она. — Но ты вроде бы выжила. Господи, помоги. Ты выжила, ты пережила самое страшное, Лу! И все благодаря мне. А правда, я хорошо умею лечить? Ты как, идти-то сможешь?

— Да нужно же мне встать, чтобы хоть помочиться.

— Ну давай посмотрим, что у тебя получится.

Приятного мало, но, в общем, терпеть можно, и Сэти, хромая, сделала несколько шагов — сперва ухватившись за Эми, потом за молодое деревце.

— Вот оно, моих рук дело! Я ведь правда хорошо лечу? —Да, — проговорила Сэти, — очень хорошо.

— Надо нам с этого холма убираться, да поскорее. Давай-ка. Я тебя провожу вниз, к реке. Тебе ведь туда надо? А сама я на большое шоссе пойду. Выведет точнехонько в Бостон. А в чем это у тебя все платье?

— В молоке.

— Господи, все у тебя не так, как у людей!

Сэти опустила глаза, посмотрела на свой живот и потрогала его. Ребенок, конечно, умер. Она-то ночью не умерла, но умер ребенок Ну, раз уж так

оно получилось, то теперь ее ничто не остановит. Она доставит молоко своей малышке, даже если ей придется переправляться вплавь.

— Ты разве есть не хочешь? — спросила ее Эми.

— Я ничего не хочу, лишь бы поскорее попасть на ту сторону, мисс.

— Ну-у. Ладно, не спеши. Тебе ведь, наверно, как-то обуться надо?

— А как?

— Сейчас придумаю, — сказала Эми и действительно придумала. Оторвала два куска от шали Сэти, набила их листьями и привязала эти мешочки к ее ступням, и при этом все говорила, не закрывая рта:

— А сколько тебе лет, Лу? Я уже четыре года кровавлюсь, а никаких детей у меня ни от кого нет. Нет у меня времени с каким-то там молоком возиться, потому что…

— Я знаю, — сказала Сэти. — Тебе нужно в Бостон.

К полудню они увидели ее; потом подошли достаточно близко, чтобы ее услышать. Часам к трем они уже могли бы из нее напиться, если б захотели. На небе появились уже четыре звезды, когда они обнаружили, что поблизости нет ни

одного суденышка, на которое Сэти могла бы пробраться, и ни одного перевозчика, который согласился бы переправить на тот берег беглянку. Впрочем, лодка нашлась. В ней было одно весло, множество дырок и два птичьих гнезда.

— Ну вот тебе и лодка, Лу. Господь с тобой.

Сэти видела перед собой целую милю темной воды, через которую предстояло плыть с одним веслом в утлой лодчонке да еще против течения, несущего воды Огайо в Миссисипи, что была в сотнях миль отсюда. Река вдруг показалась ей похожей на дом, на убежище, и ее ребенок (который все-таки оказался жив), видимо, тоже так считал. Во всяком случае, стоило Сэти подойти поближе к реке, ее собственные воды хлынули потоком, словно желая воссоединиться с водами Огайо. Сэти показалось, что она треснула изнутри; сильнейшая схватка заставила ее изогнуться дугой.

— Ты что это делаешь, а? — возмутилась Эми. — У тебя что, совсем мозгов нет? Сейчас же прекрати! Тебе говорю, прекрати это, Лу, тупица ты этакая! Тупее просто на свете не бывает. Эй, Лу! Лу!

Сэти больше не могла ни о чем думать, лишь бы куда-нибудь заползти. Она подождала, когда вслед за приступом чудовищной боли наступила

благодатная передышка, и на коленях заползла в дырявую лодку. Лодка покачнулась под ее тяжестью, и она едва успела упереться обвязанными тряпками и листьями ногами в скамью, когда от очередной схватки у нее перехватило дыхание. Задыхаясь от боли и видя в небесах над собой четыре летних звезды, она вытянула ноги и раздвинула их, потому что уже начала появляться головка, как сообщила ей Эми, словно сама Сэти этого не понимала, словно та боль, что разрывала ее изнутри, была просто трещиной на стволе орешины или молнией, распарывающей небо.

Дальше дело не пошло. Головка ребенка вышла наполовину; кровь матери заливала крохотное личико. Эми перестала молить Бога о помощи и начала богохульствовать.

— Тужься! — кричала Эми.

— Тащи! — шептала Сэти.

И сильные добрые руки в четвертый раз принялись за работу, хотя и не сразу, потому что речная вода, просачивавшаяся сквозь бесчисленные дыры и щели, уже заливала бедра Сэти. Сэти потянулась назад и ухватилась за веревку, которой была привязана лодка, пока Эми что было сил тащила младенца за головку. И когда чья-то огромная ступня вдруг поднялась и удари-

ла в днище лодки и в спину Сэти, та поняла: дело сделано, и позволила себе на минутку потерять сознание. Очнувшись, она не услышала детского плача — только ободряющее воркование Эми. Ребенок долго не плакал, они обе уже решили, что потеряли его. Внезапно Сэти выгнулась дугой, и из нее буквально вылетел послед. И только тогда ребенок захныкал. Сэти посмотрела на него: двадцать дюймов пуповины свисали с его животика, и он весь дрожал в прохладном вечернем воздухе. Эми поспешно завернула младенца в свою юбку, и, мокрые насквозь, скользкие от крови, обе они выбрались на берег, посмотреть, что же все-таки было у Господа на уме.

Споры папоротника, растущего в низинах вдоль реки, стремились к воде серебристо-голубыми струями, которые не заметишь, пока не наклонишься над водой, или не подойдешь к ней совсем близко, или пока не ляжешь у самой кромки воды, когда низкие лучи солнца скользят по поверхности реки. Очень часто споры эти принимают за насекомых, но на самом деле это семена, в которых спит новое поколение папоротников, уверенное в своем будущем. И, глядя на них, на какой-то миг легко поверить, что у каждого из семян это будущее есть, что каждое

семечко станет тем, что ему суждено: что оно проживет свою жизнь так, как задумано. Миг подобной уверенности длится недолго, но, может быть, дольше, чем жизнь самой споры.

На берегу реки в прохладе летнего вечера две женщины вместе сражались со смертью под дождем из серебристо-голубых спор. Они не надеялись когда-либо вновь встретиться в этом мире, и вряд ли что-то в данный момент заботило их меньше. Но там, на берегу реки, в преддверии летней ночи, окруженные папоротниками, они кое-что сделали вместе, и сделали хорошо, как надо. Патрульный, проплывая мимо, затрясся бы от смеха, увидев двух изгоев, двух бесприютных бродяжек — чернокожую рабыню и босоногую белую девушку с растрепанными волосами, заворачивавших младенца десяти минут от роду в те обноски, что были на них самих. Но мимо не проплыл ни один патрульный, и не явился ни один священник. Вода, почмокивая, плескалась прямо у них под ногами. Ничто не могло помешать им выполнить свою работу. И они сделали ее как следует, сделали хорошо.

Наступили предрассветные сумерки; Эми сказала, что должна идти, чтобы не попасться среди бела дня с беглой рабыней: лодки вот-вот начнут

сновать по реке. Вымыв лицо и руки, она встала, посмотрела на ребеночка, которого перед тем запеленала и плотно привязала Сэти к груди.

— Она так никогда и не узнает, кто я такая. Ты ей расскажешь? Расскажешь, кто вытащил ее в этот мир? — Эми вздернула подбородок и посмотрела куда-то вдаль, туда, где должно было встать солнце. — Ты уж все-таки расскажи ей, ладно? Слышишь? Скажи: мисс Эми Денвер. Из Бостона.

Сэти чувствовала, как засыпает, погружается в сон, который, как она знала, будет очень глубоким. Уже почти соскользнув в сон, она успела подумать: «Какое хорошенькое имя. Денвер. Правда хорошенькое».

* * *

Пора было во всем этом разобраться. Пока Поль Ди не пришел и не уселся на ее крыльце, слова, что некогда прошептала ей Бэби Сагз, заставляли ее ходить, двигаться, помогали терпеть отвратительные выходки маленького привидения; благодаря этим словам она восстанавливала в памяти лица Ховарда и Баглера и могла уже порой вспоминать их целиком, потому что во сне видела только, как они мелькают среди ветвей больших деревьев, а муж ее продолжал оста-

ваться в тени, но он, безусловно, существовал — правда, неведомо где. А теперь лицо Халле там, у маслобойки, распухало, разрасталось, давило на глаза, и от этого нестерпимо болела голова. Ей ужасно хотелось, чтобы Бэби Сагз растерла ей затылок и шею и прошептала те слова: «Сложи свое оружие, Сэти. И меч, и щит. Положи их на землю. На землю. И меч, и щит — на землю. На берег реки. И меч, и щит. И позабудь о войне, не думай о ней. Пусть все это уйдет. Положи их на землю — меч и щит». Ощущая легкий нажим пальцев Бэби, слушая ее тихие наставления, она действительно складывала оружие. Клала на землю тяжелые клинки, которыми отбивалась от горя, сожалений, злобы и боли. Один за другим она клала их на берегу реки, над стремительным, чистым потоком.

Девять лет не ощущала она прикосновения пальцев Бэби Сагз, не слышала ее голоса — слишком долго. И слова, нашептанные в гостиной, значили теперь слишком мало. Вымазанное маслом лицо Халле — Господь, дозволив такое, не сделал это лицо лучше — требовало от нее чего-то большего: построить памятник или сшить траурное платье. Или совершить какой-то обряд. Сэти решила сходить на ту Поляну, где давно

уже не бывала и где когда-то в солнечном свете танцевала Бэби Сагз.

До того как соседи стали избегать дом номер 124, а его обитатели сами затворились в нем ото всех, до того как он стал игрушкой и обиталищем обиженных духов, дом номер 124 был очень веселым и шумным; здесь Бэби Сагз, святая, любившая людей, давала советы, кормила, ругала и утешала. Здесь на плите тихонько кипели два — всегда два, не один! — горшка, и лампа горела всю ночь. Незнакомые люди отдыхали здесь, а дети возились на полу, примеряя их башмаки. Здесь оставляли для передачи самые важные послания, ибо тот, кому они предназначались, всегда мог случайно заглянуть сюда не сегодня, так завтра. Беседа велась вполголоса и только по делу — Бэби Сагз, святая, не одобряла лишней болтовни. «Главное — знать меру, — говаривала она и прибавляла: — Хорошо, когда умеешь остановиться вовремя».

Таким был дом номер 124, когда Сэти с новорожденной Денвер, крепко прикрученной к ее груди, вылезла из тележки и сразу почувствовала широкие объятия своей свекрови, ее руки, которыми она могла, казалось, обнять весь Цинциннати. Бэби Сагз решила, что раз уж жизнь, проведенная

в рабстве, «испоганила ее ноги, спину, голову, глаза, руки, почки, чрево и язык», то теперь у нее не осталось ничего, кроме ее большого сердца — которое она тут же и заставила трудиться. Она не разрешала прибавлять к своему имени слова почтения, разве что ласковые прозвища после него, и стала вольной проповедницей: обращалась к людям и открывала свое огромное сердце для тех, кто испытывал в том потребность. Зимой и осенью она несла свое сердце в Африканскую методистскую церковь, к баптистам и папистам, в Церковь святых, искупленных и спасенных. Незваная, необлаченная, непомазанная, она позволяла своему великому сердцу говорить в их присутствии. Потом наступала теплая пора, и тогда Бэби Сагз, святая, вела всех чернокожих — мужчин, женщин и детей, всех, кто был способен передвигаться, — на Поляну и несла туда свое великое сердце. Поляной называлась широкая вырубка в лесной чаще, сделанная неизвестно для чего в конце длинной полузаросшей тропы, знакомой лишь оленям да тому, кто впервые вырубил здесь деревья. И весь жаркий субботний полдень она сидела на этой Поляне, а собравшиеся люди ждали в тени среди деревьев.

Устроившись на большом плоском камне, Бэби

Сагз кланялась и молча молилась. Собравшиеся издали наблюдали за нею. Они понимали, что настал их черед, когда она клала свою палку. А потом кричала:

— Пусть подойдут дети! — И дети выбегали из-за деревьев и устремлялись прямо к ней.

— Пусть матери услышат ваш смех, — говорила она им, и лес начинал звенеть. Взрослые смотрели и не могли сдержать улыбок А потом она кричала:

— Пусть подойдут сюда взрослые мужчины! — И те выходили один за другим из тени деревьев, звеневших от смеха детей.

— Пусть ваши жены и дети увидят, как вы танцуете, — говорила она им, и земля содрогалась от топота крепких ног.

И наконец она подзывала к себе женщин.

— Плачьте, — говорила она им. — О живых и о мертвых. Просто плачьте. — И, не прикрывая руками лиц, женщины давали волю слезам.

Так всегда начиналось: смеющиеся дети, танцующие мужчины, плачущие женщины, а потом все смешивалось. Женщины переставали плакать и начинали танцевать; мужчины садились и начинали плакать; дети плясали, женщины смеялись, дети плакали — пока, измученные

совершенно, задыхаясь, все они не падали на сырую землю Поляны. И в наступившей тишине Бэби Сагз, святая, приносила им в жертву свое великое щедрое сердце.

Она не призывала их очиститься, не говорила: иди и впредь не греши. Не говорила, что на них лежит благословение, ибо кроткие наследуют землю и праведников возвысит Господь.

Она говорила им о том, что Благодать будет им доступна, если они способны вообразить ее себе. Но если они не могут ее себе представить, то она и не снизойдет на них никогда.

— Здесь, — говорила она, — на этой Поляне, мы — всего лишь плоть; плоть, которая плачет, смеется, танцует босиком на траве. Любите же свою плоть. Те, другие, вашу плоть не любят. Она им отвратительна. Они не любят ваши глаза; они бы предпочли выколоть их. Не больше любят они и кожу на ваших спинах — они бы с радостью содрали ее. И — о, мой народ! — до чего же они не любят ваши руки! Те самые, трудом которых они пользуются, а потом связывают их, стягивают веревками, отрубают и всегда оставляют пустыми. Любите же ваши руки! Любите их. Поднимите их и поцелуйте. Коснитесь ими других людей, похлопайте себя по коленям, погладьте руками

себя по лицу, потому что те, другие, этого тоже очень не любят. Именно вы должны полюбить свои руки, именно вы! Ах нет, и рты ваши, ваши губы тоже им ненавистны, тем, другим. Им куда приятнее, когда они разбиты в кровь, когда снова и снова кровь заливает их. То, что вы говорите своими губами, им безразлично. Того, что выкрикиваете вы от боли, они не слышат. А то, что вы кладете в рот, дабы напитать тело свое, они у вас непременно отнимут и взамен дадут свиное пойло. Да, губы ваши и рты им тоже ненавистны. Вы же должны полюбить их. Все то, о чем я говорю здесь, — это плоть ваша. Та самая плоть, что так нуждается в вашей любви. Ноги, которым нужно и отдохнуть, и потанцевать; спины, которым непременно нужна поддержка; плечи, которым очень нужны руки, сильные руки. И вот что я вам скажу: те, другие, — слышите ли вы меня, дети мои? — они очень не любят, когда на шее у вас не затянута петля, когда шея у вас свободна. Когда она прямая. Так что любите свою шею; коснитесь ее рукой, удивитесь ее красоте, погладьте ее и держите шею свою прямой, а голову — высоко поднятой. И все свои внутренности — те самые, которые они с превеликим удовольствием бросили бы свиньям, — вы тоже должны полюбить.

Темную, черную вашу печень — любите ее, любите; и свое живое, бьющееся сердце — любите тоже! Больше, чем глаза или ноги свои. Больше, чем легкие, которые должны полниться вольным воздухом. Больше, чем животворное свое чрево и животворные свои чресла — слушайте меня, любите же свое сердце, дети мои. Ибо нет ничего дороже. — И тут Бэби Сагз умолкала, вставая с камня, и, несмотря на свое искалеченное бедро, начинала танцевать, чтобы высказать то, что невозможно выразить словами, а остальные принимались петь, аккомпанируя ей. Тянули долгие ноты, пока четырехголосная каденция не завершалась мощным аккордом любви к бесценной плоти.

Сейчас Сэти очень захотелось там оказаться. Хотя бы послушать отзвуки некогда звучавшего там пения. А может, получить какой-то совет от своей покойной свекрови, как же ей теперь быть со своим щитом и мечом. Господи ты боже мой, уже девять лет прошло с тех пор, как Бэби Сагз, святая, объявила себя лгуньей, спрятала ото всех свое великое сердце и улеглась на кровать, лишь изредка вставая в поисках ярких красок. Больше она ничего видеть не желала.

— Эти белые твари забрали все, что у меня

когда-либо было, о чем я когда– либо мечтала, — говорила она. — И они порвали струны моего сердца. Нет большего несчастья в мире, чем белые люди.

И дом номер 124, закрывшись ото всех, примирился с тем злом, которое творил поселившийся в нем дух. Лампу уже не оставляли зажженной на всю ночь, перестали заходить соседи. И после ужина никто не вел тихих разговоров вполголоса. И никто, сняв с усталых ног башмаки, не смотрел, как дети играют с ними на полу. Бэби Сагз, святая, думала, что солгала. И не было им суждено никакой благодати — ни вымышленной, ни реальной, и никакие танцы на залитой солнцем Поляне не могли этого изменить. Ее вера, ее любовь, ее воображение и ее великое старое сердце начали умирать через двадцать восемь дней после прибытия ее невестки.

И все-таки Сэти решила отправиться именно на Поляну — отдать дань Халле. Пока еще все зеленое, пока Поляна еще похожа на то священное место, каким была когда-то: влажная дымка над травой и запах перезрелых ягод.

Она накинула шаль и велела Денвер и Бел сделать то же самое. Все вместе они вышли из дому поздним утром в воскресенье — впереди Сэти, за

ней девушки, и ни души вокруг.

Когда они добрались до опушки леса, Сэти сразу отыскала ту тропу, потому что теперь на Поляне устраивались гулянья для горожан, устанавливались накрытые столы и всевозможные палатки, слышались звуки банджо и тому подобное. Старая тропа превратилась в дорогу, но над ней по-прежнему склонялись густые ветви деревьев и падали на траву конские каштаны.

Ничего, кроме того, что она сделала, сделать было невозможно, но Сэти винила себя за то, что Бэби Сагз этого не выдержала. И сколько бы раз в те дни Бэби ни пыталась это отрицать, Сэти знала, что горе пришло в дом номер 124 в тот миг, когда она выпрыгнула на землю из повозки с привязанной к груди новорожденной, завернутой в рубашку белой девушки, что так стремилась в Бостон. Денвер и Бел спокойно шли за ней по светло-зеленому коридору из дубов и конских каштанов, когда Сэти вдруг почувствовала, что покрывается испариной,

— в точности как тогда, когда очнулась, вся мокрая и грязная, на берегу реки Огайо.

Эми ушла. Сэти чувствовала себя ужасно одинокой и слабой, но она была жива, и ребенок тоже. Она сделала несколько шагов по берегу,

постояла, глядя на сверкающую воду. Порой вдали мелькала плоскодонка, но ей было не разглядеть, кто там, в лодке: белые или негры. Она вся взмокла, начиналась лихорадка, за которую она благодарила Всевышнего: собственный жар поможет ей согреть ребенка. Когда плоскодонка совсем исчезла из виду, она двинулась дальше, споткнулась и чуть не налетела на троих негров — двух мальчиков и пожилого мужчину, занятых рыбной ловлей. Она остановилась и стала ждать, когда с ней заговорят. Один из мальчиков показал на нее, и мужчина, глянув через плечо, отвернулся. Все, что он хотел знать, он уже знал.

Некоторое время они молчали. Потом мужчина спросил:

— На тот берег нужно?

— Да, сэр, — сказала Сэти.

— Тебя там кто-нибудь ждет? — Да, сэр.

Он снова быстро посмотрел на нее и мотнул головой в сторону большого камня, что выступал из земли с ним рядом, словно нижняя губа великана. Сэти подошла ближе и села. Камень был довольно горячим от солнца, но все же не таким горячим, как сама Сэти. Она слишком устала, так что сидела совершенно неподвижно; от бьющего в глаза солнца кружилась голова. Пот лил с нее

ручьями; ребенок у нее на руках совершенно промок. Она, должно быть, уснула сидя, потому что, когда снова открыла глаза, тот мужчина стоял перед ней с дымящимся куском только что поджаренного угря. Ей оказалось невыносимо трудно протянуть руку и взять еду, еще труднее — переносить ее запах, совсем невозможно — есть. Она попросила дать ей напиться, и он принес ей воды из реки Огайо в жестяной банке. Сэти выпила все до капли и попросила еще. В голове снова начался звон, но она и думать не желала о том, чтобы после всего этого пути и стольких мук взять да и умереть, так и не переплыв на другой берег реки. Мужчина смотрел, как струйки пота стекают у нее по лицу. Потом окликнул одного из мальчишек.

— Сними-ка свою куртку, — велел он ему.

— Но, сэр?

— Ты меня слышал?

Мальчик начал стаскивать куртку, тихонько подвывая:

— Что я буду носить?

Мужчина отвязал ребенка от груди Сэти, завернул его в куртку мальчика и связал рукава спереди узлом.

— А я что буду носить?

Мужчина вздохнул и, помолчав, сказал:

— Хочешь взять свою куртку назад? Ну давай, отбери ее у этого малыша, а самого ребеночка голым на траву положи. И надевай свою куртку. Если ты сможешь сделать такое, то уходи с глаз моих долой и обратно не возвращайся.

Мальчик потупился, отвернулся и отошел в сторону. Сэти дремала, держа в руке кусок жареного угря; ребенок лежал на земле у ее ног. Во рту у нее совершенно пересохло, тело было покрыто испариной. Наступал вечер, и тут мужчина коснулся ее плеча.

Она совершенно не ожидала, что они проплывут вверх по реке так далеко от того места, где Эми нашла полусгнившую лодку. Когда Сэти уже совсем решила, что старик везет ее назад в Кентукки, он резко повернул плоскодонку, и они мгновенно оказались на другом берегу. Там он помог ей взобраться по крутому склону, а тот мальчик, что снял свою куртку, нес новорожденную, в эту куртку завернутую. Мужчина подвел Сэти к неприметной, покрытой ветками хижине с земляным полом.

— Подожди здесь. Скоро за тобой придут. Только никуда не выходи. Они сами тебя увидят.

— Спасибо вам, — сказала она. — Мне бы очень

хотелось знать ваше имя, чтобы лучше вас запомнить.

— Имя-то? Имя мое Штамп. Знаешь такой штамп: «Оплачено»? — сказал он. — Ты за ребенком смотри как следует и прислушивайся, не идет ли кто. Ясно?

— Ясно. Я буду смотреть, — сказала Сэти, да только обещания своего не сдержала. Когда через несколько часов прямо перед ней возникла какая-то женщина, она не успела услышать ни звука. Это была невысокая молодая женщина с мешком. Она приветливо поздоровалась с Сэти.

— Я знак-то давно заметила, — сказала она. — Да все у меня не получалось быстрее прийти.

— Какой знак? — спросила Сэти.

— Штамп оставляет старый свиной хлев открытым, если кто-то с той стороны перебрался. И белый лоскут привязывает, когда еще и ребенок есть.

Она опустилась на колени и вытащила из мешка шерстяное одеяло, кусок хлопчатобумажной ткани, две печеные сладкие картофелины и пару мужских ботинок.

— Меня зовут Элла, — сказала она. — Мужа моего, Джона, сейчас дома нет. А ты сама куда направляешься?

Сэти сказала, что к Бэби Сагз и что уже отправила к ней троих своих детей.

Элла туго перевязала пупок младенца полоской ткани, словно вслушиваясь в недосказанное — в незаданные вопросы, в промелькнувшие как бы между словами сведения о неназванных, неупомянутых людях, оставшихся на той стороне. Она вытряхнула камешки из мужских ботинок и попыталась втиснуть в них ноги Сэти. Ничего не получилось. Печально вздыхая, они распороли ботинки сзади по шву — действительно, было очень жаль портить такую ценную вещь. Сэти надела куртку того мальчика, так и не осмелившись спросить, известно ли что-нибудь о ее детях.

— Они добрались, — сказала Элла. — Штамп многих из той партии перевозил. Всех их оставили на Блустоун-роуд. Это недалеко.

Сэти замерла от счастья; благодарность переполняла ее, и она, тихо празднуя радостную весть, очистила от шелухи картофелину, разломила ее и съела.

— То-то они тебе обрадуются! — сказала Элла. — А эта кроха когда родилась?

— Вчера, — сказала Сэти, утирая пот. — Надеюсь, она выживет.

Элла посмотрела на маленькое грязное личико,

выглядывавшее из шерстяного одеяла, и покачала головой.

— Трудно сказать, — промолвила она. — Если бы кто-то вздумал спросить меня, я бы ответила: ничего и никого никогда не любите! — И тут же, словно желая смягчить резкость своего утверждения, улыбнулась Сэти. — Ты что ж, так сама и родила?

— Нет. Мне одна белая девушка помогла.

— Тогда нам лучше поспешить.

Бэби Сагз поцеловала ее в губы, но детей повидать не позволила. Они спят, сказала она, а Сэти слишком грязная и страшная, чтобы будить их среди ночи. Бэби Сагз передала новорожденную какой-то молодой женщине в чепце, предупредив ее, чтоб не промывала девочке глазки, пока Бэби не принесет материнской мочи.

— Она уже плакала? — спросила Бэби.

— Немножко.

— Пора бы. Ну что ж, приведем в порядок ее мать. Она повела Сэти в гостиную и при свете спиртовой лампы обмыла ее, каждую часть тела по отдельности, начав с лица. Затем, поджидая, пока согреется очередная порция воды, присела рядом и принялась шить что-то из серенького ситца. Сэти задремала и проснулась, только когда

Бэби начала обмывать ей руки и плечи, потом прикрыла ее стеганым одеялом и поставила в кухне на огонь еще один таз с водой. Она разрывала простыни на бинты, шила что-то из серенького ситца и приглядывала за женщиной в чепце, которая возилась с малышкой, то и дело роняя слезы в готовящуюся еду. Обмыв Сэти ноги, Бэби Сагз внимательно осмотрела каждую ее ступню и легонько промокнула тряпочкой. Потом как следует вымыла между ногами и внизу живота, использовав для этого целых два таза теплой воды, и туго перевязала живот и промежность. Потом снова взялась за неузнаваемые ступни.

— Ты их чувствуешь?

— Чувствую — что? — спросила Сэти.

— Ничего. Поднимись-ка. — Она помогла Сэти встать и перебраться в кресло– качалку, а ноги ее опустила в ведро с соленой водой и можжевельником — отмокать до утра. Корку на ее сосках Бэби сперва смазала жиром, а когда она отмякла, смыла теплой водой. К рассвету по-прежнему молчавший ребенок проснулся и взял грудь.

— Благодари Господа, что все обошлось, — сказала Бэби. — Когда покормишь, позови меня. — Уже повернувшись, чтобы уйти, она вдруг заметила темное пятно на простыне. Нахмурилась и

посмотрела на спину своей невестки, склонившейся к девочке. Кровяные розы цвели на одеяле, прикрывавшем плечи Сэти. Бэби Сагз зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Когда малышка наелась и уснула — глазенки ее были полуоткрыты, она сонно причмокивала язычком, — старая женщина молча смазала цветущую алыми розами спину Сэти и подложила двойную прокладку под только что сшитое платье.

Сэти все время казалось, что это ей только снится. Но когда привели сонных детей, двух мальчиков и дочку, — господи, неужели она уже ползала? — ей стало безразлично, сон это или явь. Сэти лежала в постели, и ее дети были с ней, ползали по ней, вокруг нее, заползали под нее, но главное — были с ней рядом, все трое. Малышка пускала чистые детские слюнки ей в лицо, и Сэти так громко смеялась от радости, что девочка — неужели она уже ползала?– испуганно жмурилась. Баглер и Ховард принялись играть с ее обезображенными ногами, не сразу, правда, осмелившись их коснуться. Она все время их целовала. Она целовала их в спинки, в загривочки, в макушки, в ладошки, и мальчики первыми решили, что, пожалуй, довольно, когда она задрала им рубашонки и стала целовать их тугие

круглые животишки. Она остановилась только тогда, когда они спросили:

— А папа придет?

Она не заплакала. Она сказала:

— Да, скоро, — и улыбнулась, чтобы они подумали, что глаза у нее блестят только от любви к ним. И тут вмешалась Бэби Сагз — сказала мальчишкам «кыш!» и помогла Сэти переодеться в ситцевое платье, которое начала шить ночью, сидя возле нее. Потом Сэти снова легла, прижав к груди старшую дочку,

— неужели она уже ползала? — Она вытащила левую грудь и двумя пальцами сунула сосок в открытый ротик девочки. Итак, путешествие с молоком было закончено для обеих. Обе получили свое.

Вошла Бэби Сагз и стала смеяться над ними, рассказывая Сэти, какая сильная эта малышка и какая она умная, уже хорошо ползает. Потом наклонилась и подобрала с полу грязное тряпье — бывшую одежду Сэти.

— Все это надо выбросить, ни на что не годится, — сказала она.

Сэти подняла глаза от ребенка.

— Погоди! — окликнула она Бэби. — Посмотри, нет ли там в подоле нижней юбки узелка.

Бэби Сагз пропустила ветхую ткань сквозь пальцы и действительно нащупала что-то твердое. Развязав узелок, она вытащила серьги и протянула их Сэти:

— Прощальный подарок?

— Свадебный.

— Хорошо, если б при серьгах еще и жених был. — Бэби смотрела на лежавшие на ладони камешки. — Ты как думаешь, что с ним случилось?

— Не знаю. Он не пришел, как мы договорились. А я непременно должна была выбраться оттуда. Непременно. — Сэти некоторое время не сводила глаз с сонного личика сосущей девочки, потом прямо посмотрела на Бэби Сагз. — У него получится. Если уж у меня получилось, то у Халле получится обязательно.

— Ну что ж, надевай сережки-то. Может, они ему путь облегчат. — Уверенная в том, что сын ее умер, Бэби Сагз вернула их Сэти.

— Мне сперва нужно уши проткнуть.

— Я проткну, — сказала Бэби Сагз. — Вот немного придешь в себя, и проткну.

Сэти позвенела сережками, доставив несказанное удовольствие дочке, — господи, неужели она уже ползала? — все тянувшейся к блестящим камешкам.

На Поляне Сэти отыскала тот старый большой камень, на котором молилась Бэби, тут же припомнив запах нагретой солнцем листвы, топот танцующих ног и веселые крики, от которых срывались на землю конские каштаны. Великое сердце Бэби Сагз принимало всю заботу на себя, и всем дышалось легко.

Так Сэти прожила двадцать восемь дней своей свободной жизни — целый лунный месяц. От струйки чистых детских слюнок, брызнувших ей в лицо, до струи маслянистой крови прошло ровно двадцать восемь дней. То были дни выздоровления, физического и душевного, дни рассказов и разговоров. То были дни знакомств: она узнала имена сорока или пятидесяти соседей и кое-что об их взглядах и привычках, узнала, какова была их прошлая жизнь и как они попали сюда, и теперь Сэти чувствовала, что все эти люди смеются и печалятся с нею вместе, отчего и радость, и горе переносить гораздо легче. Один научил ее читать; другая — шить. И все понемногу учили ее тому, как это хорошо — просыпаться на заре и самой решать, как провести свой собственный день. Только это и помогло ей пережить ожидание Халле. Понемножку и в доме номер 124, и на Поляне, окруженная другими людьми,

Сэти начинала осознавать себя. Освободиться, убежав от хозяев, — это одно, а понять, что ты можешь собой распоряжаться, — совсем другое.

И вот она сидела на камне Бэби Сагз, а Денвер и Бел смотрели на нее из-за деревьев. Не наступит тот день, думала она, когда Халле постучится в мою дверь. Не знать этого было тяжело; знать — еще тяжелее.

Только коснись меня, думала она. Только дай мне снова почувствовать твои пальцы на затылке, на шее, и я постараюсь справиться даже с этим, выберусь и из этого тупика. Сэти опустила голову– и точно, вот и они, легкие, точно перышко птички. Но знакомые, ласковые пальцы Бэби Сагз. Сэти постаралась не напрягаться, чтобы им легче было делать свое дело, — они казались такими слабыми, как у ребенка, и прикосновение их больше походило на поцелуй. Но и за это Сэти была благодарна Бэби Сагз, чья далекая любовь ничуть не уступала телесной близости. Уже одного только желания Бэби помочь невестке в трудный час, не говоря о попытке облегчить ее боль, было довольно, чтобы настроение у Сэти исправилось, и она решилась на следующий шаг: попросила о знаке, о совете — как ей справиться с жадностью собственного разума, желавшего

знать непереносимое. Жить с этим невозможно и спрятаться некуда. Она понимала, Поль Ди привнес в ее жизнь нечто такое, на что ей очень хотелось рассчитывать, но рассчитывать на это она боялась. Он уже успел рассказать ей кое-что новое о прошлом и оживить старые воспоминания, разрывавшие сердце. Пустое пространство в ее душе — там, где хранилось неведение о судьбе Халле, порой напоминавшее о себе справедливым негодованием на его трусость, или глупость, или чудовищное невезение, — теперь заполнилось огромным горем; и кто знает, что еще ожидает ее впереди. В прошлом, когда дом номер 124 был жив, она могла разделить горе с друзьями, женщинами и мужчинами из соседних домов. Потом, очень долго, никто из друзей у нее не бывал — все они отказывались заходить в дом, где поселилось маленькое привидение, и она отвечала на это вызывающей гордостью человека, с которым поступают несправедливо. Но теперь у нее был кто-то, с кем можно разделить горе; и этот человек прогнал привидение сразу, как только вошел в дом, и с тех пор оно, слава богу, больше не давало о себе знать. Но вместо старой боли он принес новую, куда страшнее: лицо Халле, вымазанное маслом и сывороткой; железные

удила у него самого во рту и бог его знает что еще, о чем он может рассказать ей, если захочет.

Невидимые пальцы куда смелее поглаживали ее шею, словно Бэби Сагз наконец собралась с силами. Она как будто уперлась большими пальцами Сэти в затылок, остальными массируя ей шею сзади и с боков все сильнее и сильнее; потом пальцы медленно стали продвигаться все ближе к ее горлу, совершая легкие круговые движения. Сэти, пожалуй, скорее удивилась, чем испугалась, когда обнаружила, что пальцы ее душат. По крайней мере, было очень похоже. Наконец пальцы Бэби Сагз так сжали ей горло, что стало невозможно дышать. Качнувшись вперед, она вцепилась в невидимые руки, пытаясь оторвать их от горла. Она уже била ногами по земле, когда к ней подбежала Денвер, а за ней Бел.

— Мам! Что с тобой, мам? — кричала Денвер. — Мамочка! — И она перевернула мать на спину.

Пальцы тут же оставили Сэти в покое, она с трудом перевела дыхание, прежде чем сумела различить склонившееся над ней лицо дочери, а за ней — темную фигуру Бел.

— Господи, что это с тобой было?

— Кто-то меня душил, — еле выговорила Сэти.

— Кто?

Сэти потерла шею и, кряхтя, села.

— Наверное, бабушка Бэби. Я попросила ее только шею мне растереть, как прежде — она отлично это делала, — и все было хорошо, но потом ей, видно, надоело со мной возиться.

— Она никогда бы с тобой так не поступила, мам! Бабушка Бэби? Нет уж!

— Помоги-ка мне встать, и пойдем отсюда.

— Смотрите. — Бел показала на шею Сэти.

— Что? Что ты там видишь такое? — удивилась та.

— Синяки какие-то, — ответила Денвер.

— У меня на шее?

— Вот, — подтвердила Бел. — Вот и вот. — Она коснулась грязноватого на вид пятна у Сэти на горле, более темного, чем кожа. Пальцы у нее были очень холодными.

— Это же не поможет… — начала было Денвер, но Бел уже наклонилась и обеими руками стала разглаживать мягкую, как замша, и блестевшую, словно тафта, кожу Сэти.

Сэти застонала. Пальцы девушки были такими прохладными и чуткими. Стянутая в тугой клубок, потайная, несчастная жизнь Сэти словно чуточку подалась, смягчилась, и ей показалось, что луч счастья, мелькнувший тогда в сцеплен-

ных руках теней на обочине дороги, когда они возвращались с карнавала, вспыхнет снова и не погаснет — если только ей удастся справиться с тем, что она узнала от Поля Ди, и тем, что он еще хранил при себе. Просто справиться. Не сломаться. Не падать и не рыдать всякий раз, как ненавистная картина возникнет, выплывет из небытия и предстанет перед нею в мельчайших подробностях. Нельзя поддаваться этому безумию, как приятельница Бэби Сагз — та молодая женщина в чепчике, что все солила еду слезами. Или тетушка Филлис, которая даже спала с открытыми глазами. Или как Джексон Тилл, которая спала вообще под кроватью. Сэти хотела одного: продолжать жить. Как до сих пор. Когда они с дочерью одни жили в доме, где бесчинствовал дух умершего ребенка, ей, черт побери, все удавалось. Так почему же теперь, когда в доме вместо привидения живет Поль Ди, она чувствует, что вот-вот сломается? Чего она боится? Почему ей понадобилась Бэби? Самое плохое ведь уже позади, верно? Пока в доме жил дух ее мертвой дочери, она все могла вынести, могла сделать все что угодно, принять любое решение. А теперь один лишь намек на то, что случилось с Халле, и она совсем растерялась, точно отставший

от матери крольчонок. Пальцы Возлюбленной были блаженно легкими. Чувствуя их на шее и на затылке и вновь обретая способность ровно дышать, Сэти ощущала, как уходит страх и душу наполняет покой.

Смешные мы, подумала она и закрыла глаза, пытаясь представить их троих посреди Поляны, у того самого камня, который, так любила Бэби Сагз, святая: одна из них сидит, запрокинув голову и подставив горло добрым рукам второй, что стоит возле нее на коленях и массирует ей шею; третья наблюдает за ними.

Денвер следила за лицами матери и Бел. Бел не видела ничего, кроме собственных пальцев, круговыми движениями растиравших шею Сэти. Потом вдруг она наклонилась и с нежностью поцеловала Сэти куда-то под подбородок Б этой позе обе застыли на некоторое время, не зная, как это прекратить; не зная, что делать с этой неожиданной вспышкой любви и нежности. Потом Сэти, словно очнувшись, захлопала глазами, схватила Бел за волосы и высвободилась. Позже она убедила себя, что дурман нашел на нее потому, что дыхание девушки пахло грудным молоком, как у ребенка; а Бел она сказала сурово и хмуро:

— Ты уже не маленькая, чтобы так вести себя.

Потом взглянула на Денвер и, заметив у нее в глазах полнейшую растерянность, сменившуюся чем-то более угрожающим, быстро встала, разрушив все чары.

— Ну хватит! Пошли домой! — Она махнула девушкам рукой, призывая их подняться.

Покидали Поляну они точно в таком же порядке, как и пришли: Сэти впереди, девушки, чуть отставая, позади. Как и тогда, все трое молчали, но молчание это было иным. Сэти была встревожена, но не из-за поцелуя Возлюбленной, а потому, что как раз перед этим поцелуем она чувствовала себя удивительно легко, успокоенная ее ласковыми пальцами. Она думала и о тех ласковых пальцах, что унимали боль, а потом вдруг начали душить, и что-то такое промелькнуло, ускользая, в ее памяти… Уверена она была только в одном: Бэби Сагз не душила ее, как ей сперва показалось. Денвер была права, и, шагая в пятнистой тени деревьев с прояснившейся головой, вдали от чар Поляны, Сэти припомнила прикосновения тех старых пальцев, которые знала лучше, чем свои собственные. Это они тогда обмыли ее, каждую часть тела по отдельности, перевязали ей живот, расчесали волосы и смазали маслом заскорузлые, растрескавшиеся соски; это они шили ей одежду,

мыли больные, израненные ноги, смазывали лечебным снадобьем спину и аут же бросали любую работу, чтобы помассировать Сэти затылок, — особенно в первые дни, когда она никак не могла выкарабкаться из-под бремени памяти и беспамятства: учитель, пишущий что-то в своей книжке сделанными ею чернилами, пока его племянники забавляются с нею; лицо той женщины в фетровой шляпе, когда, работая в поле, она разогнулась и потянулась… Даже лежа с закрытыми глазами, она бы все равно изо всех рук на свете тут же отличила руки Бэби Сагз и добрые руки той белой девушки, что мечтала купить себе бархат. И все– таки целых восемнадцать лет она прожила в доме, где ее постоянно касался кто-то из другого мира. Так вот, те пальцы, что так сильно сжали ей шею, принадлежали этому существу. Может быть, оно теперь живет на Поляне? После того как Поль Ди выгнал его из дома номер 124, может быть, оно поселилось здесь? Похоже, что так и есть, подумала Сэти.

Теперь она понимала, зачем взяла с собой Денвер и Бел, — сперва это казалось ей просто прихотью, неясным желанием иметь хоть какую-то защиту. И девочки действительно спасли ее! Бел и до сих пор была так возбуждена, что вела

себя точно двухлетняя.

Потихоньку, подобно слабому запаху дыма, когда огонь уже потушен и окно распахнуто настежь, развеивалось подозрение, что прикосновение пальцев Возлюбленной точно такое же, как и у маленького привидения. Сейчас осталось лишь что-то вроде легкого беспокойства — эта тревога была недостаточно сильной, она не отвлекала от главного, от того, что занимало сейчас все ее мысли: она хотела, чтобы Поль Ди оказался рядом. И не важно, что он там ей сказал и что еще знает, — она хотела, чтобы он присутствовал в ее жизни. И на Поляну она пришла не только почтить память Халле, — она пришла сюда, чтобы задать вопрос, и она получила ответ. Доверие и общая память, да, именно так она себе это и представляла, когда он баюкал ее возле кухонной плиты. Тяжесть его крепкого тела и бережные руки, обнимавшие ее; живой и колючий волосок из его бороды; склонившееся над ней лицо. Его полные ожидания глаза и душа, что знает ее душу. Прошлое сделалось легче, потому что это было и его прошлое тоже — можно было рассказывать без конца, что-то выясняя и уточняя. Ну а то, что им было друг о друге неизвестно, то, что никогда еще не рассказывалось и не имело даже

словесной оболочки, — что ж, со временем они скажут друг другу и об этом; о том, куда отправили Поля Ди с железом во рту; и о чистой смерти ее — господи, неужели она уже ползала?

— малышки…

Сэти захотелось поскорее вернуться домой и дать этим ленивым девчонкам какую-нибудь работу — пусть займут свои любопытные бездумные головы. Она почти бежала по зеленому коридору; теперь здесь стало прохладнее — солнце клонилось к западу. Когда Сэти оглянулась, ей вдруг показалось, что две девушки позади нее похожи, как сестры. Обе одинаково послушные, любящие… Сэти прекрасно понимала Денвер. Долгое одиночество сделало ее скрытной — самодостаточной. Страх притупил в ней определенные чувства, зато другие, напротив, обострил до крайности. Девочка выросла застенчивая, но очень упрямая и трезвомыслящая. Ради своей дочери Сэти жизни бы не пожалела. Другую же, Возлюбленную, она знала хуже, почти совсем не знала, ведать не ведала о ее прошлом — знала только, что ради нее, Сэти, она все на свете сделает и что они с Денвер очень близки. Теперь, думала она, понятно почему. Чувства обеих были настроены в лад. То, что могла дать одна, другая всегда рада

была принять. Обе не хотели мешать ей и отступили к деревьям, окружавшим Поляну, но потом, когда Сэти стала задыхаться, сразу бросились к ней — а все потому, что чувствовали похоже, так она объясняла это себе, потому что не замечала меж ними ни соперничества, ни желания главенствовать. Она задумалась об ужине, который хотела приготовить для Поля Ди, — что– нибудь, с чем стоит повозиться, что-нибудь особенное, чтобы отметить начало своей новой жизни с этим нежным и добрым человеком. Ладно, обжарим в масле целиком некрупные картофелины, подрумянив их со всех сторон и густо поперчив; потом приготовим зеленую фасоль в стручках; желтый кабачок сбрызнем уксусом и подсахаренной водой… Можно поджарить молодую кукурузу с зеленым луком и маслом. И может быть, поставить дрожжевое тесто.

Она уже мысленно обшаривала кухню, готовя эти яства, и была так увлечена, что не сразу разглядела под белой лестницей деревянную лохань с водой, а в ней Поля Ди. Она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ.

— Лето, должно быть, кончилось, — сказала она.

— Залезай сюда тоже.

— Ну да, как же! Девчонки-то по пятам идут.
— Никого пока не слышно.
— Мне готовить нужно, Поль Ди.
— Я тебе помогу.

Он встал, и она не отстранилась, когда он обнял ее. Все платье тут же промокло насквозь. Подбородком она касалась его плеча.

— А что ты будешь готовить?
— Думала, зеленую фасоль в стручках.
— Красота!
— Поджарить немножко кукурузы?
— Еще бы!

Она была уверена: все у нее найдется и будет приготовлено отлично. В точности как в тот день, когда она прибыла в дом номер 124 — и твердо знала, что молока у нее хватит на всех ее детей.

В дверях вдруг возникла Возлюбленная. Им, конечно, следовало бы услышать ее шаги, но они не услышали. Пыхтели, шептались — Возлюбленная сразу поняла, что они там, как только дверь с грохотом захлопнулась за нею. Она вздрогнула и повернула голову в ту сторону, откуда, из-под белой лестницы, доносились шорохи и шепот. Она сделала еще шаг и чуть не расплакалась. Она была так близко! Но это все-таки было лучше, чем гнев, который поднимался в ее душе, когда

Сэти делала или думала о чем-то, не имевшем к ней отношения. Возлюбленная могла терпеть часами — девять, десять часов каждый день, — когда Сэти не было дома. Она могла терпеть даже ночи, когда Сэти лежала с ним рядом. А теперь — и дневное время, на которое Возлюбленная всегда рассчитывала и которым приучила себя удовлетворяться, было для нее сокращено, ибо Сэти пожелала вдруг обратить свое внимание и на другие вещи. В основном на него, конечно. На него, который сказал ей что-то такое, из-за чего она убежала в лес и разговаривала сама с собой на большом камне. На него, который прятал ее по ночам за стенами и дверями. На него, который сейчас там, под лестницей, держал ее в объятиях и что-то шептал ей, — а ведь Возлюбленная только что спасла ей жизнь и вправе распоряжаться временем Сэти.

Она круто повернулась и вышла. Денвер видно не было. Может, она ждет ее где-нибудь неподалеку? И Возлюбленная отправилась ее искать, помедлив минутку, чтобы полюбоваться кардиналом, перелетевшим с ветки на ветку. Она следила за красным, как кровь, пятнышком, мелькавшим среди листвы, пока не потеряла птицу из виду; она побрела дальше, все еще огля-

дываясь, — надеялась увидеть ее еще раз.

В конце концов она свернула с тропинки и пробежала через лесок к ручью. Стоя у самой воды, она смотрела на собственное отражение. Потом рядом с ним появилось лицо Денвер; их лица смотрели друг на друга.

— Это ты сделала, я видела! — сказала Денвер. -Что?

— Я видела, какое у тебя было лицо. Это ты сделала так, что она начала задыхаться!

— Я этого не делала!

— Ты говорила мне, что любишь ее.

— Я ведь все исправила, разве не так? Разве не я освободила ей шею?

— Это потом. А сперва ты стала ее душить.

— Я поцеловала ее в шею. Я ее не душила. Ее душил железный ошейник.

— А я видела тебя! — Денвер схватила Бел за руку.

— Осторожней, девушка, — проговорила вдруг Возлюбленная и, вырвав руку, бросилась бежать куда-то вдоль журчащего ручья.

Оставшись одна, Денвер задумалась. А что, если она ошиблась? Они с Бел стояли среди деревьев и шептались, пока Сэти сидела на камне. Денвер знала, что именно здесь, на Поляне, священно-

действовала Бэби Сагз, только сама она тогда была еще совсем маленькой, никогда на Поляне не бывала и помнить ничего не могла. Дом номер 124 и поле за ним — вот и весь мир, который она знала. В нем ей и хотелось остаться.

Когда-то давно она знала больше и тянулась к большему. Одна ходила по тропе, что вела к другому дому. Стояла под окном и слушала. Четыре раза она действовала на свой страх и риск — после обеда, когда мать и бабушка ослабляли свое внимание, когда вся домашняя работа уже была переделана и наступала пора спокойных вечерних занятий, Денвер ускользала из дома номер 124 и уходила на поиски того дома, который посещали многие другие дети, но не она. Наконец она нашла его, но не решилась постучаться и прокралась к окну. Леди Джонс сидела на стуле с очень высокой спинкой, а перед ней на полу сидели, скрестив ноги, соседские дети — несколько человек У Леди Джонс в руках была книга. У детей на коленях — грифельные доски. Леди Джонс что-то говорила, но слишком тихо, чтобы Денвер могла расслышать, а дети повторяли за ней. Четыре раза Денвер ходила туда и подсматривала. На пятый раз Леди Джонс застукала ее и сказала:

— Пришла, так заходи в дверь, мисс Денвер. Это

тебе не цирк.

И вот почти целый год она провела в обществе своих сверстников; вместе с ними училась читать, писать и считать. Ей было тогда семь, и эти два предвечерних часа были для нее поистине драгоценными. Особенно она гордилась тем, что все сделала сама, и ей было приятно радостное удивление, с которым ее поступок восприняли мать и братья. За пять центов в месяц Леди Джонс делала то, что белые считали необязательным, а может, и незаконным: пускала в свой домик чернокожих ребятишек, у которых было время и желание учиться. Ах, какое восхищение вызывала у Денвер монетка, которую завязывали в уголок носового платка, а платок потом привязывали к поясу! Она всегда сама относила ее Леди Джонс. И как приятно было правильно научиться держать мел, чтобы не скрипел, когда пишешь; и как замечательно выглядела заглавная буква «В» и маленькая буква «и»; и как хороши были те буквы, что составляли ее имя; и как красиво звучали те печальные фразы из Библии, по которой Леди Джонс учила их читать. Денвер упражнялась дома каждое утро; блистала в классе каждый полдень. Она была так счастлива, что даже не понимала, что соученики ее избегают — что они

под самыми разнообразными предлогами, то замедляя, то убыстряя шаг, стараются не идти с нею рядом. Конец ее заблуждениям положил Нельсон Лорд — мальчишка, такой же способный, как и Денвер. Он задал ей тот вопрос о ее матери и навсегда положил конец скрипучему мелу в руке, маленькой букве «и» и всему остальному, чем они занимались в предвечерние часы, — все это теперь стало для нее недосягаемым. Ей бы следовало посмеяться, когда он спросил это, или так толкнуть его, чтобы он шлепнулся на землю; но ни в лице его, ни в голосе никакой вредности не было. Только любопытство. Но вопрос всколыхнул то, что пряталось в ее душе, таилось, но никогда не исчезало.

В школу она больше не вернулась. Когда она и на второй день не пошла туда, Сэти спросила ее, в чем дело. Денвер не ответила. Она слишком боялась задать братьям или кому-то еще вопрос Нельсона Лорда, потому что какие-то странные и ужасные ощущения и воспоминания, связанные с матерью, уже всплывали в ее душе. Позже, когда умерла Бэби Сагз, она не удивилась, что Хорвард и Баглер убежали. Она не соглашалась с Сэти, что убежали они из-за привидения. Если бы так, то чего же они так долго терпели-то? Они прожи-

ли вместе с этим духом столько же, сколько и Денвер. Но если Нельсон Лорд сказал правду, так ничего удивительного, что братья ее всегда были такие угрюмые и старались как можно меньше бывать дома.

Между тем мучившие ее чудовищные и непонятные мысли о матери нашли выход: Денвер сосредоточила все свое внимание на духе мертвой сестренки. До Нельсона Лорда она мало реагировала на выходки привидения. Терпение, которое проявляли мать и бабушка, сделало ее почти равнодушной. Но потом маленькое привидение начало ее раздражать и даже выводить из себя своими злобными проделками. Поэтому она и отправилась в школу Леди Джонс. Тогда привидение обрушило на нее весь свой гнев, любовь, страх, и девочка просто не знала, что с этим делать и как вести себя. Когда она набралась мужества и все-таки задала тот вопрос Нельсона Лорда, то не смогла услышать ни ответа Сэти, ни слов Бэби Сагз, да и вообще больше ничего с тех пор не слышала. В течение двух лет ее окружала оболочка тишины, слишком плотная, чтобы ее можно было прорвать. Вынужденное молчание, однако, придало ее зрению такую остроту, что ей и самой порой не верилось, как это она может,

например, видеть черные ноздри воробья, сидевшего в шестидесяти футах у нее над головой. После двух лет тишины в ушах у нее отдались громовые раскаты — кто-то полз вверх по лестнице. Бэби Сагз решила, что это пес Мальчик решил пробраться в запретные для него места. Сэти же подумала, что это тяжелый резиновый мяч, которым играли братья, скатился по ступенькам.

— Неужели этот чертов пес совсем спятил? — воскликнула Бэби Сагз.

— Да он на крыльце, — сказала Сэти. — Сама посмотри.

— Но тогда что же это за грохот?

Сэти сердито захлопнула дверцу духовки.

— Баглер! Баглер! Я сколько раз вам говорила, чтоб не смели играть здесь в мяч? — Она глянула в сторону белой лестницы и увидела наверху Денвер.

— Это она пробовала наверх подняться, — пояснила Денвер.

— Что? — Сэти нервно скомкала в руках тряпку, которой бралась за дверцу духовки.

— Это малышка, — сказала Денвер. — Разве ты не слышала, как она по ступенькам ползет?

Непонятно, что больше сбило Сэти с толку: то ли, что к Денвер вдруг снова вернулся слух, то

ли, что ее малышка — господи, неужели она уже ползала? — теперь уже не только ползает, но и делает дальнейшие успехи в исследовании дома.

Возвращение к Денвер слуха, утраченного из-за ответа, который она не в силах была услышать, и вновь обретенного благодаря звуку шажков ее мертвой сестренки, когда та пыталась вскарабкаться по лестнице, обозначило очередной поворот в судьбах обитателей дома номер 124. И с этих пор дух стал выказывать откровенную недоброжелательность. Вместо прежних вздохов и мелких пакостей теперь это была самая настоящая злонамеренность. Баглер и Ховард прямо-таки бесились, видя полную беспомощность матери и бабушки, и с мрачным упреком на лицах надолго исчезали из дому, стараясь как можно больше времени проводить в городе, на конюшне, где подносили в стойла воду и корм. В конце концов зловредный дух стал изобретать для каждого свою пакость. Бэби Сагз устала, легла в постель и больше не вставала, пока ее большое старое сердце не перестало биться. Если не считать редких просьб принести ей что-нибудь яркое, она почти ничего не говорила — до того полуденного часа в последний день ее жизни, когда она самостоятельно выбралась из постели,

медленно подошла к двери в гостиную и провозгласила — для Сэти и Денвер — тот вывод, который извлекла из шестидесяти лет жизни в рабстве и десяти лет свободы.

— Нет большего несчастья в жизни, чем белые люди. Они просто не знают, когда нужно остановиться, — сказала она и снова легла в постель, укрылась с головой стеганым одеялом и предоставила им возможность сколько угодно обдумывать ее слова.

Вскоре после того, как Бэби Сагз умерла, Сэти и Денвер попытались призвать маленькое привидение и как-то с ним договориться, но ничего не добились. Понадобился мужчина, Поль Ди, который сумел не только выгнать привидение из дома, но и сам занял его место. И пусть они ходили на праздник, Денвер по-прежнему предпочитала Полю Ди зловредное привидение. В первые дни, когда Поль Ди еще только переехал к ним, Денвер целыми днями просиживала в своей изумрудной комнатке, чувствуя себя одинокой, как гора, и почти такой же большой, и думала, что у всех, кроме нее, кто-то есть, а теперь вот даже привидение от нее отказалось. Так что, увидев черное платье и под ним два незашнурованных башмака, она вся затрепетала от тайной благодарности. Какова бы

ни была ее сила и как бы она этой силой ни пользовалась, Возлюбленная принадлежала только ей, ей одной. Денвер, конечно, встревожилась, когда, как она думала, Возлюбленная пыталась причинить зло Сэти, однако почувствовала, что не в силах помешать ей — столь неудержима была ее потребность любить. То, что произошло на Поляне, вызвало у нее в душе стыд, потому что выбор между Сэти и Возлюбленной был сделан без всякой внутренней борьбы.

Бредя к берегу ручья, протекавшего за стенами ее зеленого убежища, она думала: а что, если бы Возлюбленной действительно пришло в голову удушить Сэти? Неужели она, Денвер, позволила бы ей? Позволила — убить? Нельсон Лорд тогда сказал: «А разве твоя мать была арестована не за убийство? И разве ты не была в тюрьме с нею вместе?»

Из-за этого второго вопроса она так долго и не могла задать Сэти первый. Ведь именно это и дремало, свернувшись клубком у нее в душе: каменные стены, темнота и что-то еще неведомое, что двигалось само по себе. Да ей лучше было оглохнуть, чем услышать ответ, и с тех пор, подобно тем цветам, что жадно впитывают солнечный свет, но сразу же плотно смыкают

лепестки, стоит солнцу скрыться, Денвер следила за маленьким привидением и оставалась безучастной ко всему остальному. Пока не явился Поль Ди. Но урон, который он нанес, оказался не столь уж страшным благодаря чудесному воскрешению Возлюбленной.

Впереди, у берега ручья Денвер увидела ее; она стояла босиком в воде, подняв юбки выше колен, прекрасная голова опущена в сосредоточенном внимании.

Смаргивая слезы, Денвер подошла к ней поближе — мечтая услышать хоть слово, получить хоть какой-нибудь знак, означавший прощение.

Она тоже сняла башмаки и ступила в воду рядом с Возлюбленной. Она с трудом заставила себя отвести наконец взгляд от ее прекрасной головки, посмотреть на воду и понять, что это она там высматривает.

Вдоль берега пробиралась черепашка, потом повернула и стала взбираться на сушу. За ней следовала вторая черепашка, свернувшая туда же. Словно четыре тарелки, прикрытые неподвижным горшком. Оказавшись на траве, вторая черепашка поспешила к первой и взобралась на нее. Неодолимая сила самца, упершегося ногами в плечи самки. Обнимающие друг друга шеи

— она вытянула свою вперед и вверх, к нему, а он изо всех сил тянулся к ней сверху. Шлеп, шлеп, шлеп — их головы ласкали друг друга. Что могло быть трогательнее этой шеи, вытянутой как палец, с риском переломать себе все, что вне панциря, лишь бы коснуться его мордочки? Грубость их постукивающих лат, словно в насмешку не сочетающихся с плавно текущими друг другу навстречу шеями, с этой нежностью…

Возлюбленная отпустила юбку. Подол, оплетая ей ноги, намок от воды и потемнел.

* * *

Едва оказавшись вне пределов видимости Мистера, — подальше, подальше от него, о, благословенно имя Твое, Господи, подальше от этого улыбающегося царя всех петухов! — Поль Ди почувствовал дрожь. Необычную дрожь. Когда он обернулся, надеясь в последний раз увидеть Братца, вывернув шею настолько, насколько позволяла веревка, которой он был привязан к дышлу, дрожи еще заметно не было; и потом, когда они уже заковали в железо его лодыжки и запястья, он тоже держался хорошо, хотя внутри у него все тряслось. И так — целых восемнадцать суток, пока не увидел эти норы, площадку в ты-

сячу квадратных футов и ямы — пять футов в глубину, пять в ширину, со вкопанными в них деревянными коробками. Передняя стенка из стальных прутьев поднималась на петлях, как дверь клетки, а за ней — пространство между тремя стенами и кровлей из горбыля, обмазанного красной глиной. Высота — два фута; а перед входом — в три фута глубиной канава, в которой буквально кишели шустрые земляные и водяные твари, точно приглашая посетить эту могилу, называвшуюся жилищем. Кроме Поля Ди там было еще сорок пять таких же несчастных. Его сослали туда после попытки убить Брэндивайна, которому учитель продал его. Брэндивайн и вел его в связке с десятью остальными через Кентукки и Виргинию. Поль Ди даже не знал точно, что подвигнуло его на эту попытку — вымазанное маслом лицо Халле, последний смех Сиксо, исчезновение Поля Эй и Поля Эф или улыбка Мистера. Но дрожь, это он знал точно, началась тогда.

И тем не менее никто о ней не подозревал, потому что снаружи она была незаметна. Это было что-то вроде вибрации в груди, в лопатках. Точно шум реки — сперва еле слышный, а потом оглушительный. Словно чем дальше на юг его вели, тем быстрее таяла его кровь, застывшая целых

двадцать лет назад, как промерзший насквозь пруд, и этот лед вдруг начал таять, ломаться на куски, словно желал теперь кружиться в водовороте, испуская клубы пара. Иногда он чувствовал это таяние где-то в ноге. Потом — у основания позвоночника. Когда они наконец отвязали его, он не смог увидеть перед собой ничего, кроме собак и двух хижин да жгучей травы, но взбаламученная кровь уже сотрясала его с головы до ног. Однако по-прежнему никто ничего не замечал. Кисти его рук, когда ему застегивали наручники, не дрожали, как и ноги, когда ему к кандалам приковывали цепь. Но когда его загнали в эту нору и опустили дверь клетки из стальных прутьев, руки перестали слушаться его совершенно. Они вели себя так, как им заблагорассудится. Ничто не могло остановить их или отвлечь. Они не желали помочь ему оправиться и расстегнуть штаны и отказывались взять ложку, когда он пытался съесть немного вареных плоских бобов. Чудо их повиновения пришло вместе с кувалдой на рассвете.

Все сорок шесть человек просыпались, разбуженные выстрелом из винтовки. Все сорок шесть. Трое белых шли вдоль канавы, одну за другой отпирая двери. Внутрь ни один не заходил. Когда

последний замок был отперт, они шли в обратном направлении и поднимали решетки, одну за другой. И один за другим появлялись черные — мгновенно и без удара прикладом, если они уже пробыли здесь больше одного дня; мгновенно получавшие этот удар, если, подобно Полю Ди, были новичками. Когда все сорок шесть стояли в ряд на краю канавы, второй выстрел служил сигналом подниматься наверх, на земляную площадку, расположенную выше уровня их жилищ. Там на земле была разложена самая крепкая в Джорджии цепь, специально выкованная вручную. Каждый из сорока шести наклонялся и ждал своей очереди. Первый подбирал с земли конец цепи и продевал в дужку на своих ножных кандалах. Потом распрямлялся и, отступив в сторону, передавал конец цепи следующему узнику, который проделывал то же самое. По мере того как цепь продвигалась все дальше и дальше и каждый из чернокожих по очереди занимал место первого, цепочка людей постепенно разворачивалась лицом к тем норам, из которых они только что выползли. Никто друг с другом не разговаривал. По крайней мере с помощью слов. Все, что нужно, можно было прочесть по глазам: «Помоги мне сегодня с утра, нехорошо мне что-

то»; «Я справлюсь»; «Смотри, новенький»; «Тише, тише, не спеши!».

Когда последний узник оказывался прикованным к цепи, все они опускались на колени. Роса к этому времени чаще всего уже превращалась в густой туман. Иногда очень густой; и если собаки молчали и только сопели, то можно было услышать воркование горлинок. Стоя на коленях в тумане, они ждали, какая блажь теперь придет в голову охраннику, а может, двоим или даже троим. А может, всем сразу. Захотят, чтобы кто-то из узников исполнил какую-нибудь их прихоть, а может, вообще ничего не пожелают.

— Завтрак прикажете? Хочешь позавтракать, ниггер?

— Да, сэр.

— Ты голоден, ниггер?

— Да, сэр.

— Ну так получи.

Иногда стоящий на коленях человек выбирал выстрел в голову, предпочитая это удару в мошонку. Поль Ди все это видел впервые. Он смотрел на свои беспомощные руки, чуял запах охранника, слушал его тихое ворчание, так похожее на воркование голубей в тумане, и стоял на коленях рядом с тем, чуть правее, ткнувшимся

в грязь лицом. Он был уверен, что теперь его очередь. Рвотный позыв заставил его скорчиться, но вырвало его одной слюной. Охранник тут же огрел его по плечу прикладом, а другой поскорее отпрыгнул от новичка, чтобы не испачкать блевотиной штаны и башмаки.

— Хай-й-й-й!

Это было второе, после «Да, сэр», выражение, которое негру разрешалось произносить каждое утро, и свинцовая цепь придавала этим словам особый вес. Поль Ди так и не определил до конца, как тому негру удавалось подавать этот сигнал вовремя. Этого человека прозвали Сигнальщиком, и Поль Ди сперва считал, что охранники дают ему знать, когда нужно крикнуть, чтобы заключенные встали с колен и начали танцевать свой «тустеп» под перезвон тяжелых, ручной работы кандалов. Позже он догадался, что это не так. А в тот, самый первый, день он решил, что «Хай!» на заре и «Хо!» с наступлением вечера — это прямая обязанность Сигнальщика, потому что только он один знает, когда пора — когда работа вся выполнена, а сил уже не осталось.

Приплясывая в цепях, они длинной вереницей брели вокруг поля через лес до тропы, ведущей прямо к поразительной красоты горе из поле-

вого шпата. Когда Поль Ди впервые увидел эту гору, безумный поток, что кипел у него в крови, стал понемногу стихать, как стала стихать и внутренняя дрожь. Зажав в руках кувалду, под предводительством Сигнальщика, люди врубались в камень. Они выбивали его из скалы, выпевали песней, до неузнаваемости изменяя слова. Они так уродовали эти слова, что даже отдельные их слоги, казалось, получали особый смысл. Они пели о женщинах, которых когда-то знали; о детях, которыми сами были когда-то; о животных, которых когда-то приручили; о хозяевах, об их детях и женах; о мулах и собаках и о бесстыдстве жизни. С любовью пели они о кладбищах и могилах и о сестрах своих, давно уже ушедших в мир иной. И еще они пели о жаренной на лесной лужайке свинине; о домашней еде, подогретой на сковородке; о рыбе, бьющейся на леске; о соке сахарного тростника, о дождях и о качалках на верандах домов.

И они больно били словами своих песен. Тех женщин — за то, что знали их когда-то, но больше никогда их знать не будут; и детей, которыми были когда– то, но никогда уж не вернутся в свое детство. Они так часто и так жестоко убивали в своих песнях белого босса, что приходилось снова

возвращать его к жизни, чтобы потом еще разок поизмываться над ним всласть. Запомнив когда–то вкус горячего пирога, съеденного в сосновом лесу, они старались убить даже эту память о пироге. А уж когда пели любовные песни самому мистеру Смерти, то непременно разбивали ему голову. Но чаще других они убивали ту ненавистную кокетку, которая зовется Жизнью, за то, что обманывала их и влекла за собой; заставляла их думать, что каждый следующий восход солнца стоит того, чтобы на него посмотреть и когда-нибудь жизнь наконец станет жизнью. Лишь убив эту проклятую кокетку, они смогут почувствовать себя в безопасности. Наиболее удачливые — те, кто успел пробыть здесь достаточно много лет и за это время мысленно изуродовал, искалечил, а может, даже похоронил свою жизнь, — присматривали за остальными, которые все еще верили порой ее дразнящим задорным взглядам и объятиям, ее нежным призывам, заставляющим смотреть вперед, вспоминать и оглядываться назад. Это были те, чьи усталые глаза говорили: «Пособи, плохо мне что-то», — или: «Берегись!», и это значило, что, возможно, наступил тот самый день, когда человек загнан окончательно, когда он сломался настолько, что готов есть соб-

ственное дерьмо или убежать, а именно в такой момент и надо было быть начеку, потому что если бы один решился на побег — все остальные сорок шесть потянулись бы за ним, связанные цепью, и невозможно было бы сказать, кто сделал первый шаг и сколько человек будут теперь убиты.

Собственной жизнью еще можно рискнуть, но не жизнью брата. Так отвечали другие глаза. «Тише, тише, успокойся, — говорили они. — Держись за меня».

Восемьдесят шесть дней — и жизнь наконец умерла. Поль Ди бил ее головой о камни изо дня в день, так что она уже и пикнуть не смела. Восемьдесят шесть дней, и его руки были теперь спокойны, спокойно ждали всю ночь, заполненную вознею крыс, этого «Хай-й-й-й!» на рассвете и остервенело сжимали тяжелую кувалду. Жизнь катилась дальше — по мертвецам. Или ему так казалось.

Шли дожди.

Змеи спускались с ветвей короткохвойных сосен и болиголова.

Шли дожди.

Через пять дней кипарисы, тюльпанные деревья и карликовые пальмы поникли под тяжестью вод, лившихся с небес в полном безветрии. На

восьмой день исчезли голуби, на девятый ушли даже саламандры. Псы опустили уши и понурили головы. Люди не могли работать. Приковывание к общей цепи происходило ужасно медленно, даже завтрак оставался не съеден, танец тустеп превратился в тяжкое волочение ног по раскисшей траве и жидкой грязи.

Было решено запереть всех по отдельности до тех пор, пока не прекратится дождь и белые не смогут нормально ходить по земле, черт бы ее побрал, а ружья перестанет заливать и собаки поднимут наконец головы. Итак, общая цепь была теперь продета через сорок шесть дужек в наручниках, тоже сделанных вручную лучшими мастерами Джорджии.

Дождь все шел.

В своих норах люди слышали плеск поднимающейся воды и выгладывали наружу, опасаясь щитомордников. Земляной пол в их жилищах превратился в жидкую грязь; они сидели в этой грязи, спали в ней, мочились в нее. Полю Ди порой казалось, что рот у него постоянно открыт и оттуда доносится разрывающий горло крик — а может, кричал кто-то другой? Потом ему вдруг показалось, что он плачет. Какие-то струйки бежали у него по щекам. Он поднял руки, чтобы вытереть

слезы, и увидел на них темно-коричневую жижу: размокшая глина просачивалась сквозь дощатую крышу. Скоро доски не выдержат, подумал он, и меня раздавит здесь, как клеща. А потом все произошло так быстро, что он и задуматься не успел. Кто-то резко дернул цепь — один раз, но достаточно резко, чтобы Поль Ди споткнулся и шлепнулся прямо в грязь. Он так и не понял, как догадался — и как догадались все остальные, — что нужно схватить обеими руками цепь слева от себя и что было силы дернуть, чтобы и следующий тоже непременно узнал о поданном сигнале. Вода уже была по щиколотку, она сплошным потоком текла через дощатый настил, на котором он спал. А потом—уже не вода: канава переполнилась, и жидкая грязь просачивалась отовсюду.

Они ждали — все и каждый из сорока шести. Не кричали, хотя кое-кому, должно быть, стоило черт знает каких усилий не закричать. Жидкая грязь доходила Полю Ди уже до бедер, и он крепко держался за прутья решетки. Потом снова дернули за цепь — на этот раз слева и не так сильно, как в первый раз, потому что теперь цепь тонула в грязи.

Казалось, они вновь выстраиваются в ряд, приковывая себя к общей цепи. Один за дру-

гим, начиная с Сигнальщика, находившегося на самом конце цепи, они ныряли — туда, в жидкую грязь, под решетку, ослепшие, ощупью пробираясь вперед. Кому-то хватило сообразительности обмотать голову рубахой, прикрыть лицо; кто-то даже надел ботинки. Остальные просто погружались, проваливались в жижу и слепо проталкивались вперед, вверх, надеясь глотнуть воздуха. Некоторые потеряли направление, и соседи, чувствуя по беспорядочным рывкам цепи что-то неладное, пытались, дергая за цепь, вернуть их в прежнее положение. Потому что, если бы погиб один, погибли бы и все остальные. Та цепь, что связывала их, теперь должна была либо спасти их всех вместе, либо всех вместе утопить, и Сигнальщик был залогом их освобождения. Благодаря этой цепи они переговаривались, как Сэм Морзе, и, слава Тебе, Господи, все вышли на свет божий. Неприкаянные души, ожившие мертвецы с оковами на руках, они доверились дождю и темноте, да, но сильнее всего они доверяли сейчас Сигнальщику и друг другу.

Как призраки брели они мимо навесов, под которыми лежали совсем приунывшие сторожевые псы; мимо двух хижин, где прятались от дождя охранники, мимо конюшен со спящими лошадь-

ми, мимо клеток с курами, прятавшими голову под крыло… Луна помочь не могла — ее не было. Поле превратилось в болото, тропа — в заполненную грязью канаву. Вся Джорджия, казалось, расплывается, тает в воде. Мох падал с ветвей огромных старых дубов и облеплял им лица, мешая пройти. Штат Джорджия тогда включал и территорию всей Алабамы и Миссисипи, так что необходимости пересекать какую бы то ни было границу не было. Если бы они об этом знали, то непременно обошли бы стороной не только Альфред и дивной красоты скалы полевого шпата, но и Саванну и спустились бы прямо к Морским островам по реке, что текла с отрогов Голубого хребта. Но они этого не знали.

Рассвело, и они сгрудились в рощице из редких деревьев с красными цветами. С наступлением ночи они выползли на небольшой холм, моля, чтобы дождь не прекращался, щитом прикрывая их и заставляя людей сидеть по домам. Они мечтали о какой-нибудь уединенной хижине подальше от господских усадеб, где кто-нибудь из рабов, возможно, будет плести веревку или печь картошку на каминной решетке. Но нашли только лагерь с больными индейцами чероки, по названию племени которых и названа белая роза

с гладким стеблем, символ штата Джорджия.

Из индейцев чероки был уничтожен каждый десятый, но они были упорны и явно предпочитали неспокойную жизнь гонимых судьбе тех, кто оказался в Оклахоме. Болезнь, что косила их теперь, была похожа на ту, что погубила половину племени два столетия назад. Между этими двумя бедствиями они успели посетить Георга III в Лондоне, начали выпускать собственную газету, научились плести корзины на продажу, провели генерала Оглторпа[5] через леса по непроходимым тропам, помогали Эндрю Джексону[6] победить криков[7], выращивали маис, составили собственную конституцию, подали петицию королю Испании, пережили эксперимент Дартмута, открывали больницы и приюты, создали собственную письменность, успешно сопротивлялись поселенцам, охотились на медведей и переводили Библию. Все это принесло

---

[5] Примечания: 5

Оглторп Джеймс Эдвард (1б9б—1785) — британский военачальник, основатель колонии Джорджия.

[6] Примечания: 6

Эндрю Джексон (1767—1845) — генерал, седьмой президент США(1829-1837).

[7] Примечания: 7

Крики — члены могущественной конфедерации индейцев мускоги, занимавшей территорию теперешней Алабамы и Джорджии.

весьма мало пользы. Их вынудил переселиться к реке Арканзас тот самый президент, на стороне которого они сражались с криками, и это переселение уменьшило их численность еще на четверть.

В этом-то переселении все и дело, поняли они и, отделившись от тех чероки, которые подписали договор, ушли далеко в леса и стали ждать конца света. Напавшая на них болезнь была не таким уж несчастьем по сравнению с теми событиями, которые произошли на их памяти. И все же они старались по возможности оберегать друг друга от заражения. Здоровые переселились в другой лагерь, на расстоянии нескольких миль; больные же остались рядом с могилами умерших — либо выжить, либо присоединиться к мертвым.

Узники, бежавшие из Альфреда в штате Джорджия, сели полукругом поблизости от лагеря индейцев. Никто к ним не подошел, но они продолжали сидеть. Проходили часы, дождь начал стихать. Наконец какая-то женщина выглянула из своего дома и тут же скрылась. Наступила ночь; по-прежнему ничего не происходило. На рассвете двое индейцев, гладкая кожа которых была покрыта язвами, точно раковинами морской уточки, подошли к ним поближе. Никто

не сказал ни слова: Сигнальщик только поднял руку, закованную в кандалы. Чероки увидели цепи и ушли. Потом вернулись, неся небольшие топорики. За взрослыми следовали двое детей с большим горшком каши, слегка разбавленной дождем.

Называя их «бизонами» — из-за круглых курчавых голов, индейцы неторопливо переговаривались с беглецами, кормили их и сбивали с них кандалы. Никто из прежних узников Альфреда нисколько не испугался той болезни, о которой их заботливо предупредили чероки, так что остались все, не ушел никто; они отдыхали и строили планы. Поль Ди понятия не имел, что ему теперь делать, и, похоже, вообще знал куда меньше остальных. Он слушал, как бывшие узники со знанием дела говорили о каких-то реках и штатах, городах и странах. Слушал истории индейцев чероки о начале и конце мира. Слушал рассказы других «бизонов» — трое из них находились в лагере здоровых индейцев. Сигнальщик собирался присоединиться к ним, и еще некоторые — тоже. Одни хотели непременно уйти из этих мест; другие намеревались здесь остаться. Через несколько недель Поль Ди оказался единственным, кто совершенно не представлял

своего будущего. Он опасался только, что по их следу могли пустить собак, хотя Сигнальщик давно разъяснил, что при таком дожде собакам нипочем их не выследить. Наконец он остался один — курчавый «бизон» среди больных чероки; встряхнувшись и признав собственное невежество, он спросил индейцев, как ему попасть на Север. На свободный Север. На волшебный Север. На благодатный, счастливый Север. Чероки улыбались и переглядывались. Ливневые дожди за этот месяц все вокруг превратили в сплошные болота, над которыми висели испарения и ветви цветущих растений.

— Ступай вон туда, — показал рукой один из индейцев. — Вслед за цветущими деревьями. — И пояснил: — Следи за цветением деревьев и поспевай за ним. И придешь куда тебе надо, когда все деревья отцветут.

И Поль Ди пустился вслед за цветущим кизилом и персиками. Когда персиковые деревья отцвели, он устремился к цветущей вишне, потом — к магнолии, потом его поманили своим цветом айва, пекановые деревья, грецкие орехи и опунции. Наконец он попал в огромный яблоневый сад, где цветы только-только опали и на ветках виднелись крошечные зеленые завязи. Весна

лениво двигалась дальше на север, но ему-то приходилось спешить черт знает как, чтобы за нею успеть. С февраля по июль он только и делал, что выискивал вдали цветущие деревья. Когда они вдруг все пропали из виду и не осталось даже лепестка, чтобы указать ему дальнейший путь, Поль Ди остановился, взобрался на дерево, росшее на холме, и принялся внимательно изучать окрестности, надеясь хотя бы на горизонте заметить проблеск розового или белого среди густой зеленой листвы, стеной окружавшей его. Он не касался цветов и даже не останавливался, чтобы вдохнуть их аромат. Он просто следовал за ними по мере их пробуждения — чернокожий человек в лохмотьях, устремившийся теперь вослед зацветшим сливам.

Яблоневый сад, как оказалось, находился в штате Делавэр, где жила та ткачиха. Она поймала его как раз вовремя — он только успел покончить с колбасой, которой она накормила его, — и он, плача, забрался к ней в постель. Она выдала его за своего племянника из Сиракьюс: для этого потребовалось всего лишь называть его именем этого племянника. Но через восемнадцать месяцев он уже снова вглядывался в даль — искал цветущие деревья, только на этот раз он ехал в повозке.

А через некоторое время ему удалось наконец запихнуть все: Альфред в штате Джорджия, смеющегося Сиксо, школьного учителя, Халле, всех своих братьев, Сэти, петуха Мистера, вкус железного мундштука, размазанное масло, запах горящего орешника, листки из учительской записной книжки — в жестянку из-под табака и спрятать ее в своей груди. И когда он добрался до дома номер 124, ничто на свете не могло бы заставить его открыть эту жестянку.

* * *

Она выгоняла его.

Совсем не так, как он выгонял тогда маленькое привидение — с шумом и грохотом, с разбитыми окнами и перевернутыми банками с вареньем. Но тем не менее она его выгоняла, и Поль Ди не знал, как это остановить: со стороны казалось, что он уходит сам. Незаметно, постепенно уходит все дальше от дома номер 124.

А началось все очень просто. Однажды после ужина он сидел в кресле– качалке у плиты: от усталости ломило все кости, он был исхлестан рекой — и задремал. А проснулся от шагов Сэти, спускавшейся по белой лестнице, чтобы приготовить завтрак.

— Я думала, ты ушел вчера куда-нибудь, — сказала она.

Поль Ди застонал и с изумлением обнаружил себя в том же кресле, где задремал вчера вечером.

— Господи, неужели я всю ночь проспал в этом кресле?

Сэти рассмеялась:

— Да уж врать не буду: проспал.

— Почему же ты меня не разбудила?

— Я будила. Раза два или три. А после полуночи сдалась; мне показалось, что ты куда-то ушел.

Он встал: вопреки всем ожиданиям спина ничуть не болела. Даже нигде не хрустнула. Ноги и руки тоже были в полном порядке. И он чувствовал себя выспавшимся и прекрасно отдохнувшим. Бывает, решил он, попадаются же такие благословенные места, где всегда отлично спится. Иногда у корней какого– нибудь дерева; иногда прямо на пристани; иногда на голой скамье, а один раз он отлично выспался, скорчившись на дне лодки. Чаще всего такое бывает в стоге сена — так что не всегда лучше всего спится на кровати. А вот здесь таким местом оказалось кресло-качалка. Странно: он по опыту знал, что мебель-то как раз самое плохое место для сна.

На следующий вечер он снова заснул в кресле; потом снова. Он привык заниматься с Сэти любовью почти каждый день и, чтобы не смущаться под взглядом сияющей Бел, по-прежнему поднимался в спальню по утрам или сразу после ужина. Но отчего-то спалось ему лучше и удобнее всего в кресле– качалке. Он решил, что это, должно быть, его спина виновата — опора ей нужна после тех ночей в сырой норе в Джорджии.

Так оно и продолжалось, и, возможно, он бы даже привык, но однажды — после ужина, после посещения Сэти — он спустился вниз, сел в кресло-качалку и понял, что ему тут не сидится. Наверх ему тоже подниматься не хотелось. Раздраженный, мечтая об отдыхе, он открыл дверь в комнату Бэби Сагз и рухнул на постель, где умерла старая негритянка. Там он и уснул. Пока что вопрос был решен — по крайней мере так ему казалось. Он перебрался туда, и Сэти не возражала: за восемнадцать лет она уже привыкла спать одна на двуспальной кровати, пока не заявился Поль Ди. Неплохо и с той точки зрения, что в доме были молодые девушки, а Поль Ди настоящим мужем Сэти все-таки не был, А поскольку он с прежней охотой поднимался к ней до завтрака или после ужина, жалоб от Сэти не поступало.

Так оно и продолжалось, и, возможно, он бы привык и к этому, да только однажды вечером — после ужина, после посещения Сэти — он спустился вниз, лег на кровать Бэби Сагз и почувствовал, что ему на ней не лежится.

Он решил, что дом гнетет его, вызывая приступы глухого протеста. Такое бывает у мужчин, когда женщина и ее дом начинают привязывать мужчину к себе; тогда мужчине хочется заорать во весь голос, или что-нибудь сломать, или сбежать оттуда подальше. Ему такое состояние было хорошо знакомо — он много раз испытывал его, в доме той ткачихи в Делавэре, например. Но он всегда связывал это раздражение с женщиной, которая жила в надоевшем доме. Теперешнее же свое состояние он никак не мог связать с Сэти, женщиной, которую он с каждым днем все больше и больше любил: любил ее руки, когда она мыла или перебирала овощи; любил ее губы, когда она облизывала кончик нитки, вдевая ее в иглу, или перекусывала ее, окончив шов; любил бешенство в ее глазах, когда она защищала своих девочек (Возлюбленная тоже теперь была ее девочкой) или любую чернокожую женщину от несправедливой хулы. Кроме того, в приступах тревоги не было глухого протеста, здесь он не за-

дыхался, и ему вовсе не хотелось отсюда сбежать. Просто он не мог, не в состоянии был спать ни в спальне наверху, ни в кресле-качалке, ни теперь вот еще — в кровати Бэби Сагз. Он перебрался в кладовую.

Так оно и продолжалось, и, возможно, он бы привык и к этому, да только однажды вечером — после ужина, после посещения Сэти — он лег на свой тюфячок в кладовке и понял, что ему и тут не место. Все повторилось снова, и теперь он переместился в холодную кладовую, вернее, сарай, стоявший в отдалении от дома номер 124; там он улегся, свернувшись, на двух мешках со сладким картофелем и стал смотреть на большую жестянку с жиром, вдруг догадавшись, что все эти переселения происходят не просто так И нервы здесь ни при чем: его предупреждают.

Он ждал продолжения. Поднимался к Сэти по утрам; а ночью спал в холодной кладовой и ждал.

Когда пришла Возлюбленная, ему захотелось так ударить ее, чтобы сбить с ног.

В Огайо каждое время года начинается как спектакль. Каждая пора появляется на сцене, точно примадонна, убежденная в том, что ради нее только и стоит жить на свете. Когда Поль Ди

был вынужден перебраться из дома номер 124 в сарай на задворках, лето уже сгоняли со сцены яростным улюлюканьем, и всеобщее внимание было приковано к осени, принесшей большие запасы кроваво-красных и золотистых красок Даже по ночам, когда, казалось, должен был наступить перерыв для всеобщего отдыха, перерыва не получалось, потому что голос поздней осени был по-прежнему настойчив и громок Поль Ди подкладывал под себя старые газеты и наваливал их сверху, чтобы не было так холодно под тонким одеялом. Но досаждал ему не только ночной холод Когда он впервые услыхал, как у него за спиной отворилась дверь, ему даже не хотелось поворачиваться и смотреть, кто это.

— Что тебе здесь нужно? А? — Он прекрасно слышал, как она дышит в тишине.

— Я хочу, чтобы ты потрогал меня там, внутри, и погладил, и назвал меня по имени.

Поль Ди давно не испытывал волнения по поводу той маленькой жестянки из– под табака. Она оставалась закрытой, даже заржавела. Так что, когда Бел задрала свои юбки и повернулась к нему, вытянув шею, как черепаха, он просто отвернулся и стал смотреть на банку с топленым жиром, казавшуюся в лунном свете серебряной.

Потом тихо проговорил:

— Когда добрые люди берут тебя в дом и обращаются с тобой хорошо, по– доброму, следует отвечать им тем же. Ты не должна… Сэти ведь любит тебя! Как родную дочь. И ты это прекрасно знаешь.

Бел уронила юбки, слушая его, но глаза ее оставались пустыми. Потом неслышно сделала еще шаг и оказалась совсем близко.

— Она любит меня не так, как ее люблю я! Я никого не люблю, кроме нее.

— Тогда зачем же ты сюда явилась?

— Я хочу, чтобы ты потрогал меня там, внутри.

— Иди-ка ты обратно в дом и ложись спать.

— Ты должен меня потрогать. Погладить — там, внутри. И ты должен назвать меня по имени.

Пока ему удавалось не сводить глаз с серебристой банки с жиром, он чувствовал себя в относительной безопасности. Если бы он дрогнул, как жена Лота, и, поддавшись некоей женской слабости, решил посмотреть, что за грех творится позади — пожалел бы эту проклятую девицу или заключил бы ее в объятия просто из уважения к той, что связывала их обоих, — то непременно пропал бы.

— Назови меня по имени.

— Нет.

— Пожалуйста, назови! Я уйду, если ты назовешь меня по имени.

— Возлюбленная.

Он сказал это слово, но она не ушла. Она незаметно придвинулась ближе, и он не услышал, как шелестели хлопья ржавчины, отлетавшие от жестянки из-под табака. И не почувствовал, что крышка открылась. Когда он коснулся того, что было внутри, в ушах у него отдавался собственный голос: «Красное сердце, ах, красное сердце!» Он говорил это вслух снова и снова. Тихо, а потом так громко, что разбудил Денвер. И даже самого себя Поль Ди разбудил окончательно. «Красное сердце! Красное сердце! Красное сердце!»

* * *

Вернуться к исходной жажде общения было невозможно. К счастью для Денвер, ей было достаточно смотреть, впитывая в себя животворную влагу, Другое дело — ответный взгляд: он проникал куда-то внутрь, под кожу, туда, где не было жажды. Ей не часто приходилось ловить на себе такой взгляд; Возлюбленная редко на нее смотрела; когда же все-таки смотрела, то Денвер казалось, что глаза Возлюбленной только сколь-

зят по ее лицу, а думает она совсем о другом. Но иногда — когда Денвер меньше всего этого ждала — Возлюбленная подпирала кулаком щеку и внимательно глядела на Денвер.

И это было чудесно. Отрадно чувствовать, что на тебя не пялятся, не изучают, но притягивают и вбирают взглядом, смотрят на тебя с интересом, не пытаясь оценить. Она рассматривала волосы Денвер как часть ее существа, не обращая внимания на их состояние или прическу. Она ласкала взглядом ее губы, нос, подбородок, как восхищенный садовник любуется мускусной розой, возле которой случайно остановился. Кожа Денвер разглаживалась под этим взглядом, становилась нежной и прозрачной, точно батистовое платье, обнимавшее своим рукавом талию ее матери. Она плыла где-то вне собственного тела, чувствуя одновременно свободу и притяжение. Ничего не желая. Становясь тем, что она есть.

В такие мгновения ей чудилось, что Возлюбленная о чем-то ее просит. В самой глубине этих огромных черных глаз, там, где, казалось, не отражается ничего, виделась протянутая в мольбе о грошике детская ладошка, и Денвер с радостью дала бы ей тот грошик, если б знала, как это сделать, если б знала ее лучше, чем позволяли

узнать ее ответы на вопросы Сэти:

— Ты так ничего и не вспомнила? Я, правда, тоже свою мать толком не знала, но пару раз я ее все-таки видела. А ты, значит, свою — никогда? Ну а какие там были белые? Неужели ты ни одного не помнишь?

Возлюбленная, нервно потирая ладони, отвечала, что помнит какую-то женщину, которая была ее матерью, и помнит, как ее у этой женщины отняли, вырвали из рук Затем — это она помнила лучше всего и часто говорила об этом — она помнила мост: как она стояла на мосту и смотрела вниз. И еще она знала одного белого мужчину.

Сэти находила все это удивительным, однако подтверждавшим ее собственные выводы, которые она излагала потом Денвер.

— А где ж ты раздобыла такое платье и башмачки? Возлюбленная говорила, что просто взяла их.

— У кого же?

Возлюбленная умолкала и еще яростнее начинала скрести руку. Она не знала где; просто увидела и взяла.

— Ладно, — вздыхала Сэти, а потом говорила Денвер, что Бел, наверное, держал для своих забав какой-нибудь белый мужчина, никогда не позволяя ей выходить из дому. А потом она, должно

быть, убежала и добралась до какого– то моста или чего-то в этом роде, а все остальное болезнь из ее памяти вымыла. Нечто подобное случилось с Эллой, только ее взаперти держали двое мужчин — отец и сын, — и Элла помнила все. Больше года они забавлялись с ней в запертой комнате.

— Ты даже представить себе не можешь, — говорила Элла, — что эти двое со мной вытворяли.

Сэти считала, что это, возможно, объясняет неприязнь Бел к Полю Ди, которую она проявляла совершенно открыто.

Денвер не верила ее доводам, но никак их не опровергала. Она только опускала глаза, ни разу и словом не обмолвившись о холодной кладовой. Она не сомневалась, что Возлюбленная и была тем белым платьем, стоявшим на коленях в гостиной рядом с ее матерью, — душа того ребенка, что не разлучался с ней большую часть ее жизни. И когда Возлюбленная смотрела на нее, какими бы краткими ни были эти мгновения, Денвер все же была благодарна судьбе за то, что все остальное время могла смотреть на Возлюбленную сама. Кроме того, у нее накопились свои вопросы, которые, впрочем, никак не касались прошлого. Денвер интересовало исключительно настоящее, однако она была очень осторожна и прикидыва-

лась нелюбопытной, хотя о некоторых вещах ей до смерти хотелось спросить, но если бы она стала допытываться слишком настойчиво, то потеряла бы «грошик», который могла положить в протянутую руку Возлюбленной, а значит, стала бы ей совершенно ненужной. Известно, что от добра добра не ищут, так что лучше было оставаться хотя бы наблюдателем, смотреть на Возлюбленную самой, потому что та старая жажда — что мучила ее еще до появления Возлюбленной, что привела ее в зеленую комнатку в зарослях букса и заставила нюхать одеколон, чтобы почувствовать аромат настоящей жизни, догадываться, что жизненная дорога вся в рытвинах и ухабах, а не гладкая как стол — никуда не исчезла. Просто когда Денвер смотрела на Возлюбленную, жажда эта немного утихала.

Так что Денвер не спрашивала Бел, откуда она узнала о серьгах Сэти, ни о ее ночных визитах в холодную кладовую, ни о той страшной штуке, краешек которой она видела, когда Бел ложилась на подушку или раскрывалась во сне. Взгляд ее Денвер чувствовала на себе только тогда, когда бывала осторожна, объясняла ей что-нибудь или развлекала, или рассказывала ей всякие истории, пока Сэти не возвращалась из ресторана.

Никакой домашней работой было не погасить тот огонь, что, казалось, пожирал ее изнутри. Ни когда они с Бел так крепко выкручивали простыни, что руки у них до локтей были мокрыми. Ни когда расчищали засыпанную снегом дорожку к крыльцу. Ни когда разбивали трехдюймовый лед в бочке для дождевой воды; ни когда отчищали и кипятили стеклянные банки из-под прошлогоднего варенья или замазывали глиной трещины в курятнике, отогревая цыплят у себя под юбками. Все это время Денвер была вынуждена говорить только о том, что они в данный момент делают — что, как и зачем. Или о тех людях, которых Денвер когда-то знала или видела; при этом она старалась изображать их куда более интересными, чем на самом деле. Она рассказывала Бел о замечательно пахнувшей белой женщине, которая дарила ей апельсины, одеколон и хорошие шерстяные юбки; о Леди Джонс, которая с помощью песенок учила детей читать, писать и считать; об одном красивом мальчике с большим родимым пятном на щеке, который был таким же быстрым и сообразительным, как и она сама. О белом священнике, который молился за спасение их душ, пока Сэти чистила у плиты картошку, а бабушка Бэби в гостиной, задыхаясь, хватала

ртом воздух. И она рассказала ей о Ховарде и Баглере, об их общей большой кровати, где каждому принадлежало свое место (но изголовье всегда было ее), и, пока она не перебралась в комнату Бэби Сагз, она ни разу не видела, чтобы ее братья уснули, не держась за руки. Она описывала их неторопливо, подробно, рассказывая об их привычках, об играх, в которые они научили ее играть, — но не о том страхе, что гнал их из дому и наконец изгнал насовсем.

Сегодня они на улице. Холодно, и снег плотный, как земляной пол в хижине. Денвер только что допела песенку-считалочку, которой научила ее Леди Джонс. Бел подставила руки, а Денвер снимает с веревки замерзшее белье и складывает его на руки Бел, пока стопка чистого белья не достигает ее подбородка. Оставшиеся мелочи — всякие там фартуки и чулки — Денвер собирает и несет сама. Головы у девушек кружатся от мороза, когда они возвращаются в тепло дома. Когда белье немного оттает, его так хорошо гладить — в доме тогда пахнет теплым летним дождем. Танцуя по комнате с фартуком Сэти, Возлюбленная спрашивает, растут ли ночью цветы. Денвер подбрасывает в плиту дров и уверяет, что растут. Бел кружится, выглядывая из верхней прорези на

фартуке, вся завернувшись в него; потом говорит, что страшно хочет пить.

Денвер предлагает подогреть немного сидра, а сама думает, чем ей дальше развлекать Возлюбленную. Теперь Денвер стала настоящим стратегом по этой части — ведь она вынуждена удерживать Бел при себе с той минуты, как Сэти уходит на работу, и пока она не вернется; а Бел сперва начинает все более беспокойно вертеться у окна, потом постепенно подбирается к двери, спускается с крыльца и все ближе подходит к дороге. Бесконечное обдумывание, как бы ей развлечь Возлюбленную, удивительным образом изменило Денвер. Если прежде она была ленивой и непокорной, то теперь на удивление сметлива, исполнительна и делает даже больше того, что им велит перед уходом Сэти. Хотя бы ради того, чтобы иметь возможность твердо сказать: «Мы должны…» — или: «Мама сказала, чтобы мы…» Иначе Возлюбленная становится замкнутой и сонной или же тихой и мрачной, и тогда вряд ли можно дождаться, чтобы она посмотрела на Денвер. По вечерам Денвер над ней не властна совершенно. Если Сэти где-нибудь поблизости, Возлюбленная смотрит только на нее. А ночью, когда все ложатся спать, может случиться все

что угодно. То Возлюбленной вдруг захочется послушать очередную историю — но в темноте, когда Денвер не может ее видеть. То она возьмет да и отправится в холодную кладовую, где спит Поль Ди. То вдруг расплачется потихоньку. Но может и спать крепким сном, и тогда дыхание ее становится сладким и пахнет старой патокой или печеньем. Денвер поворачивается к ней и, если Возлюбленная лежит к ней лицом, глубоко вдыхает этот сладкий дух. Иначе же приходится приподниматься и наклоняться над ней, чтобы хоть немножко его почувствовать. Потому что Денвер готова терпеть все что угодно, только не жажду, так мучившую ее, когда после замечательной маленькой буквы «и» и разных предложений, выраставших из слов и поднимавшихся подобно опаре для пирога, после шумного общества других детей наступила тишина, сквозь которую не могло пробиться ни звука. Лучше все что угодно, чем та тишина, когда она реагировала только на жесты и была совершенно равнодушна к движению губ. Когда краски и цвета вспыхивали у нее перед глазами пожаром. Но она готова отказаться от самых ярких и прекрасных закатов, от сияющих звезд величиной с обеденную тарелку, от пиршества осенних, кроваво-красных

и бледно-желтых красок, если так захочет ее Возлюбленная.

Кувшин с сидром довольно тяжелый, но он всегда тяжелый, даже когда пуст. Денвер может донести его и сама, но все-таки просит Бел помочь ей. Кувшин стоит в холодной кладовой возле банки с патокой и шестифунтовым круглым сыром, твердым как камень. Тюфяк Поля Ди лежит посреди сарая, прикрытый газетами; в ногах — сложенное одеяло. Здесь Поль Ди спит уже по крайней мере месяц, хотя кругом лежит снег и пришла настоящая зима.

Сейчас полдень; на улице вполне светло, а в доме темновато. Лучи солнца пробиваются сквозь щели в крыше и стенах старой кладовки, но они кажутся чересчур слабыми, чтобы убежать от тьмы. Тьма гораздо быстрее и сильнее их; она заглатывает солнечные лучи, точно рыбью мелочь.

Дверь вдруг с грохотом захлопывается. Денвер не может даже понять, где сейчас Возлюбленная.

— Эй, ты где? — шепчет она как бы со смехом.

— Здесь, — отвечает та. — Где?

— А ты найди меня, — говорит Возлюбленная.

Денвер, вытянув перед собой правую руку, осторожно делает шаг или два, спотыкается и

падает на тюфяк Под ней шуршат газеты. Она снова смеется.

— Ох, прекрати это, Бел! Бел, ты где?

Никто ей не отвечает. Денвер протирает глаза и щурится, пытаясь во тьме различить очертания мешков с картошкой, жестянку с жиром и бок копченой свиной ноги, среди которых могла спрятаться Возлюбленная.

— Ну хватит дурачиться! — говорит она и смотрит вверх, на тонкие лучики света, чтобы лишний раз убедиться, что находится именно в холодной кладовой, что все это ей не снится. Крошечные солнечные рыбки все еще плавают там, над темной глубиной, но не могут спуститься вниз, к ней. — Кажется, ты хотела пить? Ты хотела сидра или нет?

В голосе Денвер звучит слабый упрек. Еле заметный. Она не хочет обидеть Возлюбленную и не хочет, чтобы та заметила, как ужас опутывает ее всю, точно густая паутина. Возлюбленной не слышно и не видно нигде. Денвер с трудом встает на ноги среди шуршащих газет. Вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, она медленно продвигается к двери. Там нет ни щеколды, ни замка — только проволока, которую накидывают на гвоздь. Денвер рывком отворяет

дверь. Холодный солнечный свет мгновенно прогоняет тьму. Все на месте, только Возлюбленной больше нет. Не имеет смысла искать ее — здесь все видно с первого взгляда, — но Денвер все-таки ищет. Утрата поистине оглушительная. Она снова заходит в кладовую, позволяя двери быстро захлопнуться у нее за спиной, и в темноте быстро обходит помещение, касаясь каждого предмета, путаясь в паутине, нащупывая окаменевший сыр, скользкие полки, спотыкаясь о тюфяк, все время попадающийся под ноги. Но ничего этого она не замечает, потому что не чувствует собственного тела. Словно кусок льда, отколовшийся от толстого ледяного пласта на ручье, она плывет в темноте, ударяясь об острые края невидимых предметов. Хрупкий, тающий, ледяной осколок Трудно дышать, и даже, если бы было светло, Денвер все равно ничего не увидела бы, потому что она плачет. Все случилось в точности так, как она и представляла себе. Просто — вошла и вышла. Чудесное появление на пне; лицо, сливающееся с солнечным светом, и потом — чудесное исчезновение в темном сарае, словно ее заживо поглотила тьма.

— Не надо, — говорит она сдавленным от рыданий голосом, — не надо! Не уходи!

Это оказалось гораздо хуже, чем появление в доме Поля Ди, когда она беспомощно роняла слезы на кухонную плиту. Это гораздо хуже. Тогда она плакала из-за себя. А теперь — потому что утратила собственное «я». Лучше уж умереть. Денвер чувствует, как тает ее плоть, растворяется во тьме, превращается в ничто. Она хватает себя за волосы на висках, стараясь захватить побольше и выдрать с корнем, побольнее, чтобы хоть немного приостановить таяние своей плоти. Стиснув зубы, она сдерживает рыдания и застывает. Она даже не пытается открыть дверь — ведь там, за дверью, больше ничего нет. Она решает остаться в холодной кладовой, и пусть тьма поглотит ее, как поглощает солнечных рыбок под крышей. Ей не перенести еще одного расставания; подобные шутки ей больше не под силу. Вот так проснешься утром и не найдешь сперва одного брата, а потом и другого на привычном месте в кровати, где его нога упиралась тебе в спину Или сидишь себе за столом, ешь тушеную репу, приберегая подливку для бабушки, и вдруг в дверях гостиной появляется мать, опирается о косяк и говорит: «Бэби Сагз умерла, Денвер». И только добравшись до тревожной мысли о том, каково ей будет, если Сэти умрет или уедет куда-нибудь с Полем Ди,

мечты ее прерываются, и она снова оказывается в темноте на куче старых газет.

Шагов Возлюбленной она не слышит, тем не менее та здесь; стоит там, где только что не было никого. И улыбается.

Денвер хватает ее за подол.

— Я думала, ты меня бросила! Я думала, ты вернулась назад!

Возлюбленная улыбается:

— Мне там не нравится. А здесь — я есть. — Она садится на тюфяк, потом со смехом опрокидывается на спину, глядя на лучики света под крышей.

Денвер тайком сжимает краешек ее юбки — старается удержать. И правильно делает, потому что Бел вдруг резко садится.

— В чем дело? — спрашивает Денвер.

— Посмотри, — Возлюбленная показывает на солнечные лучи наверху.

— Ну и что? — Денвер следит за ее указующим пальцем.

Возлюбленная бессильно роняет руку.

— Я тоже такая.

Денвер с ужасом видит, что она вдруг как-то уменьшается, сворачивается клубком и начинает качаться из стороны в сторону. Глаза ее

совершенно пусты, а стоны так тихи и слабы, что Денвер с трудом их слышит.

— Что с тобой, Бел?

Бессмысленный взгляд постепенно сосредоточивается.

— Вон там: ее лицо.

Денвер смотрит туда, но там ничего — только тьма.

— Чье лицо? Кто это? — Я. Это я — там.

Она уже снова улыбается.

* * *

Тот, кто несомненно знал в этом толк, называл их мужчинами, и последний из мужчин Милого Дома сам когда-то верил в это. Остальные четверо тоже верили, но их уже давно нет на свете. Тот, кого продали, так никогда и не объявился больше; убежавшего так и не нашли. Один, это он знал точно, умер; и еще один тоже — во всяком случае, Поль Ди надеялся, что это так, потому что жить с вымазанным маслом лицом невозможно. Становясь взрослым, он считал, что из всех чернокожих в Кентукки только они пятеро — настоящие мужчины. Им было позволено — это даже поощрялось — поправлять Гарнера, возражать ему, проявлять в работе всяческую выдумку; самостоятельно

следить за хозяйством и исправлять неполадки, не испрашивая разрешения хозяев. Можно было также выкупить мать, выбрать себе лошадь или жену; разрешалось пользоваться ружьями; можно было даже научиться читать, было б желание, но такого желания у них не возникало, поскольку они не верили тому, что написано на бумаге.

Неужели в этом-то и было все дело? Неужели в этом проявлялись настоящие мужские качества? В том, что их назвал мужчинами белый, который, как считалось, знал в этом толк? Вряд ли. В их отношениях с Гарнером действительно была прочная основа: им верили, им доверяли, но самое главное — к ним прислушивались.

Гарнер считал, что их мнение заслуживает внимания, а чувства вполне серьезны. И то, что он, белый, прислушивался к мнению своих рабов, нисколько не умаляло ни его авторитета, ни его власти. А вот учитель учил их как раз обратному. И его истина высилась над ними и махала уродливыми руками, точно пугало во ржи: они считались мужчинами только на территории Милого Дома. Один шаг в сторону, и они тут же превращались в преступников, нарушивших законы рода человеческого. В сторожевых псов с вырванными клыками; в кастрированных быч-

ков, да еще и безрогих; в жалких рабочих коняг, чье радостное или сердитое ржание нельзя было перевести на язык нормальных людей. Сила Поля Ди тогда покоилась на понимании того, что учитель не прав. Теперь же он стал в этом сомневаться: ведь был Альфред в штате Джорджия, был Делавэр, и Сиксо тоже был в его жизни, но он все еще сомневался. Если учитель прав, тогда понятно, почему он, Поль Ди, превратился в жалкую тряпичную куклу, которую то подбирала, то снова бросала где угодно и когда угодно девушка, которая по возрасту годилась ему в дочери. И он совокуплялся с ней, хотя твердо знал, что этого не хочет. Стоило ей повернуться к нему спиной и задрать свои юбки, как воспоминания о телках, забавах его юности (неужели в этом все дело?), повергали его решимость в прах. Но не только любовные утехи с ней унижали его и заставляли думать, что тот учитель, возможно, был прав. Больше всего его унижало то, что она швыряет его, как куклу, вертит им как хочет, и он ничего не может с этим поделать. Не может — и все. Не может вечерами подняться по светящимся ступеням; не может ночевать на кухне, или в гостиной, или хотя бы в теплой кладовой. Он, конечно, пробовал. Задерживал дыхание, как

тогда, когда тонул в жидкой грязи. Усмирял свое сердце, как тогда, когда его била немыслимая дрожь. Но сейчас было куда хуже, чем тогда. Это определенно было хуже биения крови, бурлящих водоворотов, которые он успокаивал с помощью тяжелой кувалды. Здесь, в доме номер 124, когда после ужина он вставал из-за стола и поворачивался к лестнице, сперва возникала тошнота, потом непереносимое отвращение. Это у него-то! У него, кто спокойно ел еще теплое сырое мясо; кто под сливовым деревом в цвету вгрызался в грудь голубя, хотя сердце птички еще билось! Потому что он был мужчиной, а мужчина может все, если захочет: может затаиться на шесть часов в сухом колодце до наступления темноты; может драться голыми руками с енотом и победить; может смотреть, как другого мужчину, которого он любил больше собственных братьев, поджаривают на медленном огне, и при этом не проронить ни единой слезинки, чтобы мучители поняли наконец, что такое мужчина. И он, тот мужчина, пешком преодолевший расстояние из Альфреда в штате Джорджия до Делавэра, не способен теперь ни уйти, ни остаться там, где ему хочется, — в доме номер 124. Срам!

Итак, Поль Ди оказался не властен над соб-

ственным передвижением в пространстве, но надеялся, что говорить еще может, и решил попробовать прорываться этим путем. Он непременно должен был рассказать Сэти о событиях трех последних недель — подкараулить ее, когда она будет возвращаться с работы из той пивной, которую гордо величает рестораном, и все ей рассказать.

Зимний день больше походил на вечерние сумерки, когда Поль Ди ждал Сэти на аллейке за рестораном Сойера. Готовясь к рассказу и представляя себе ее лицо, он позволял словам пока собираться в голове произвольными группками, и они резвились там, точно дети, прежде чем им велят построиться и поведут дальше.

— Ну, понимаешь ли, это невозможно… человек не может… Дело в том… нет, ты послушай, дело в том, что старый Гарнер действительно… я ведь что хочу сказать… это не какая-то там слабость, с которой мне не справиться… нет, что-то со мной происходит… эта девчонка такое со мной делает… я понимаю: ты считаешь, что я всегда ее ненавидел… но ведь она такое со мной делает… Она мной управляет, Сэти! Она меня по рукам и ногам связала, и я не могу вырваться…

Как это взрослого мужчину девчонка связала

по рукам и ногам? А что, если это вовсе и не девчонка, а кто-то неведомый в ее обличье? Кто-то низкий, бесчестный, а выглядит как милая молодая девушка, и не в том дело, что он с нею спит; дело в том, что в доме номер 124 он не властен находиться там, где хочет, а самое главное — он теряет Сэти. Видимо, он недостаточно сильный мужчина, чтобы вырваться, и ему необходима ее, Сэти, помощь; она должна помочь ему, должна узнать обо всем. Ему было бесконечно стыдно просить о помощи женщину, которую он хотел уберечь от горя, защитить. Господи! Черт бы все это побрал совсем!

Поль Ди подышал в замерзшие ладони. Ветер дул вдоль аллейки с такой силой, что шерсть на четырех дворовых собаках, ожидавших объедков у дверей кухни, встала дыбом. Поль Ди посмотрел на собак. Собаки посмотрели на него. Наконец дверь кухни открылась, и оттуда вышла Сэти, обхватив рукой огромную сковороду с объедками. Увидев Поля Ди, она удивленно и радостно воскликнула и улыбнулась.

Он улыбнулся ей в ответ, но не был уверен, что улыбка получилась, — лицо так замерзло, что он его совершенно не чувствовал.

— Ну, парень, ты даешь! Да я себя просто ба-

рышней чувствую, которую ты после работы проводить пришел. Так за мной еще никто не ухаживал. Ты смотри, осторожней, не то я еще привыкну да избалуюсь. — Сэти быстро бросила самые большие кости, чтобы собаки поняли, что еды достаточно на всех, и не дрались. Потом вывалила дымящуюся требуху, головы и прочие отходы — то, что не могли использовать в ресторане, а сама она не хотела брать с собой.

— Сейчас, только сковороду сполосну, — сказала Сэти, — и все, сразу приду.

Он кивнул, и она вернулась на кухню.

Собаки молча ели, и Поль Ди подумал, что они-то по крайней мере получили то, за чем пришли, и если уж для собак у нее доброты хватает…

Сэти повязала голову коричневым шерстяным платком и низко надвинула его на лоб из-за пронзительного холодного ветра.

— Ты что, работу так рано кончил или случилось что?

— Ушел пораньше. Обдумать кое-что надо.

— Что-нибудь важное?

— Да вроде бы, — сказал он и облизнул губы.

— Надеюсь, увольнений у вас не будет?

— Нет, что ты. Работы у них полно. Я просто…

— Да?

— Сэти, тебе, наверно, не понравится то, что я сейчас скажу.

Она остановилась и повернулась к нему — и к этому проклятому ветру — лицом. Другая женщина по крайней мере прищурилась бы, зажмурилась, стала вытирать слезы, выступившие на глазах, стоя лицом к такому ветру. Но не Сэти. Другая женщина, возможно, посмотрела бы на него с сочувствием, с мольбой, с гневом наконец, потому что его слова прозвучали как «Прощай, я ухожу».

Но Сэти смотрела на него совершенно спокойно и молчала, уже готовая понять и простить — простить любого человека, раз он попал в беду или нуждается в чем-то. Уже соглашаясь и словно говоря: да ладно, все в порядке — заранее, потому что она никому из них не верила. Рано или поздно это должно было случиться. Они не виноваты. Никто ни в чем не виноват.

Он догадывался, о чем она думает, и, хотя она явно была не права, — он вовсе не собирался оставлять ее, ни за что на свете! — все равно то, что он собирался сказать ей, могло для нее стать куда хуже любых прощальных слов. И, увидев, как гаснет ожидание в ее глазах, увидев это печальное, но не обвиняющее лицо, он не

смог выговорить то, что собирался. Не смог прямо заявить женщине, которая не щурится на ветру: «Я не мужчина».

— Что ж ты молчишь, Поль Ди? Говори, понравится мне это или нет.

Поскольку он не мог сказать то, что хотел, он вдруг выпалил неожиданно для самого себя:

— Я хочу, чтоб у нас с тобой был ребенок, Сэти. Пошла бы ты на такое ради меня?

Она рассмеялась, и он — вслед за нею.

— И ты специально пришел сюда, чтобы попросить меня об этом? Ну и псих же ты, Поль Ди! Ты прав; мне это совсем не нравится. Ты вообще-то понимаешь, что я уже не так молода, чтобы все начинать сначала? — Она сунула свои пальцы ему в ладонь — в точности как те тени, что держались за руки на обочине дороги в день карнавала.

— Ты все-таки подумай, — сказал он. И вдруг понял, что это и есть решение, что так он сможет остаться с ней, доказать, что он настоящий мужчина и способен сам разрушить чары этой девчонки — добиться всего сразу. Он нежно прижал ее пальцы к своей щеке. Она, смеясь, отдернула руку, чтобы кто– нибудь из прохожих не обратил внимания, как неприлично они ведут

себя — на людях, среди бела дня да еще на таком ветру.

И все-таки ему удалось отсрочить последний шаг, купить себе еще немного времени, и он надеялся, что цена не окажется для него непосильной. Как если заплатить за наступление еще одного дня монетой стоимостью в жизнь.

Они пошли домой, смеясь, размахивая руками, сгибаясь под порывами ветра. На большой улице было чуть потише, однако ветер успел принести с собой мороз, жгучий холод, и прохожие спешили мимо, сунув нос в воротник пальто. Никто не стоял без дела у дверей магазинов или витрин. Колеса повозок, Груженных продуктами или топливом, скрипели и стонали, как от боли. Лошади, привязанные у входов в пивные, дрожали и жмурились от холода. Две пары белых женщин, громко стучавших башмаками по деревянному тротуару, попались им навстречу, и Поль Ди поддержал Сэти под локоть, помогая ей сойти с тротуара в грязь и пропустить этих женщин.

Через полчаса, оказавшись совсем на окраине, Сэти и Поль Ди снова принялись хватать друг друга за руки и шалить, украдкой шлепая один другого по заду и радостно удивляясь и смущаясь от того, что они, оказывается, еще вовсе не такие

старые.

Решено, подумал он. Это как раз то, что нужно, и никакая приблудная девица тут ничего не сможет поделать. И больше эта ленивая сучка не заставит его плясать под свою дудку, не заставит терзаться сомнениями, жаловаться на жизнь или признаваться в грехах. Убежденный в том, что сможет все изменить, он обнял Сэти за плечи и крепко прижал к себе. Она положила голову ему на грудь, и, поскольку этот миг показался им обоим очень важным, они замерли, стараясь продлить его, не дыша и даже не думая, что их может увидеть какой-нибудь прохожий. Зимний гаснущий день был неярок Сэти закрыла глаза, а Поль Ди смотрел на черные деревья вдоль дороги, поднявшие руки в попытке защититься. Неожиданно, тихонько подкравшись, пошел снег — подарок, явившийся с небес. Сэти открыла глаза навстречу снегу и сказала:

— О, господи, вот счастье-то!

И Полю Ди показалось, что это действительно счастье, подарок, посланный им, чтобы потом они могли вспомнить, что чувствовали в эту минуту.

Большие тяжелые хлопья монетами распластывались на мостовой. Поля Ди всегда удивляло,

как тихо они падают. Не как дождь, а так, будто совершается таинство.

— Бежим! — предложил он.

— Сам беги, — заявила Сэти. — Я целый день на ногах.

— А я-то? Посиживал да полеживал, что ли? — И он решительно потащил ее за собой.

— Стой! Погоди! — кричала она. — У меня ноги совсем не идут.

— Тогда давай их сюда, — сказал он и, прежде чем она успела что-то возразить, уже посадил ее к себе на закорки и побежал по дороге мимо пустых бурых полей, быстро становившихся белыми.

Наконец он задохнулся, остановился, и она соскользнула с его спины, еле держась на ногах от смеха.

— Тебе и впрямь детишки нужны — ты с ними в снежки играть будешь, возиться. — Сэти поправила свой платок Поль Ди улыбнулся и подышал на руки, чтобы согреть их.

— Да, хотелось бы. Правда, тут нам без взаимного желания никак не обойтись.

— Еще бы! — откликнулась она. — И еще какого взаимного.

Было около четырех часов дня, они находились в полумиле от дома номер 124. И тут из этой

белой пелены выплыла едва различимая, вся занесенная снегом фигура. И хотя Бел все эти четыре месяца выходила навстречу Сэти, оба они вздрогнули — настолько были поглощены друг другом и не ожидали увидеть ее так близко.

На Поля Ди она и не взглянула; она смотрела на Сэти. Без пальто, простоволосая, зато в руках несла большую шаль, в которую и попыталась закутать Сэти.

— Сумасшедшая девочка! — мягко побранила ее Сэти. — Разве можно — раздетая, в такой снег! — И она шагнула в сторону от Поля Ди, взяла у Бел шаль и постаралась как можно лучше укутать ей голову и плечи, приговаривая:

— Нужно же все-таки соображать! Холодно ведь, — и чуточку приобняла девушку левой рукой. Снег стал мокрым. Поль Ди ощущал леденящий холод там, где к нему только что прижималась Сэти. Он тащился за ними в двух шагах и тщетно старался подавить закипавший гнев. Увидев в освещенном окне силуэт Денвер, он не мог удержаться и спросил себя: «Ну а ты-то на чьей стороне?»

Сэти все решила сама. Ни о чем не подозревая, она разрубила этот узел одним ударом.

— Ну, теперь-то уж ты перестанешь спать в

сарае, верно, Поль Ди? — Сэти улыбнулась ему, и, словно поперхнувшись холодным ветром, попавшим в трубу, печь дружески кашлянула в ответ на ее слова. Оконные рамы содрогнулись под порывом зимнего ветра.

Поль Ди поднял глаза над тарелкой с мясным рагу.

— Будешь спать наверху. Где полагается, — продолжала Сэти. — И никуда больше не уходи, слышишь?

Злоба, потянувшаяся было к нему с той стороны стола, где сидела Бел, развеялась, побежденная теплой улыбкой Сэти.

Лишь однажды прежде Поль Ди был так благодарен женщине. Когда выполз из лесу с мутными от голода и одиночества глазами и постучался в первый же дом в цветном квартале Уилмингтона. Той женщине, что ему открыла, он сказал, что будет очень ей благодарен и может, например, нарубить сколько угодно дров, если она даст ему поесть. Она неторопливо оглядела его с головы до ног.

— Нарубишь чуть позже, — сказала она и распахнула дверь. Она накормила его свиной колбасой — хуже для изголодавшегося человека и придумать нельзя,

— но ни он, ни его брюхо нисколько не возражали. А потом он увидел в спальне светлые ситцевые простыни и две подушки, и ему пришлось торопливо вытереть набежавшие слезы, чтобы она не заметила, как мужчина впервые в своей жизни плачет благодарными слезами. На чем только он не спал — на земле, на траве, в жидкой глине, в мусорной куче, на листьях, на сене, на усыпанном пустыми ракушками морском берегу… Но светлые ситцевые простыни — такое ему даже в голову не приходило. Он упал на них со стоном, и та женщина помогала ему притворяться, что он занимается любовью с ней, а вовсе не с ее постельным бельем. Он поклялся в ту ночь, набив брюхо свининой и утонув в роскошной постели, что никогда ее не оставит, что ей придется сперва убить его, если она вдруг захочет выгнать его из своей постели. И через восемнадцать месяцев, когда его купили банк Норт-Пойнта и Железнодорожная компания, он все-таки по-прежнему был благодарен ей за знакомство с настоящими простынями.

Сейчас он во второй раз испытал подобную благодарность. Он чувствовал себя так, словно его за руку увели от самого края пропасти на твердую землю. В постели Сэти — он это знал твердо — он

способен был смириться с двумя сумасшедшими девицами, раз этого хочется самой Сэти. С наслаждением вытянувшись во весь рост, он смотрел на падающие за окном снежные хлопья, и ему было легко прогнать те сомнения, что охватили его в аллее за рестораном: да, он слишком многого от себя хотел. То, что он считал трусостью, другие, возможно, назвали бы здравым смыслом.

Прижавшись к нему всем телом и лежа у него на плече, Сэти вспоминала его лицо — там, на улице, когда он попросил ее родить ему ребенка. И хотя она тогда засмеялась и взяла его за руку, эта просьба ее испугала. Она быстро переключилась на мысль о том, как славно было бы заниматься с ним только любовью, если бы он хотел именно этого; однако ей страшно было даже подумать о том, чтобы снова родить. Нужно снова заставлять себя быть доброй, ласковой и проворной; нужны немалые силы, чтобы еще раз все это перенести. И непременно нужно было оставаться живой. Господи, думала она, избави меня от этого. Если ты не ослепнешь и не оглохнешь, материнская любовь убийственна. Для чего ему ребенок от нее? Чтобы прочнее привязать ее к себе? Чтобы оставить мету: когда-то он побывал и в этих местах? У него, верно, по всему свету дети рас-

киданы. Восемнадцать лет бродяжничал — уж нескольких-то точно после себя оставил. Нет. Дело не в этом. Просто ее собственные дети ему чужие. Ее ребенок, поправила она себя. Ее дочь Денвер. И еще Бел, которую она тоже считает родной дочерью. Ему неприятно делить ее с девочками. Слушать их веселый смех — над чем-то, ему недоступным. И их женского языка он тоже понять не мог. Может быть, его обижает даже то, что они не все свое время тратят на него? И вообще — они какая-никакая, а семья, но глава этой семьи не он.

Можешь зашить мне рубашку, детка?

Угу. Вот только блузку доделаю. У Бел только и есть что платье, в котором она пришла сюда, а ведь нужно что-то на смену.

Там пирожка случайно не осталось?

По-моему, Денвер уже утащила последний кусок.

И ведь не жаловался, даже не сказал ни разу, что спит где придется, даже и не дома, в сарае, почти на улице, с чем она, заботясь о нем, сегодня наконец покончила…

Сэти вздохнула и положила руку Полю Ди на грудь. Она понимала, что пытается лишь защититься от него, точнее, от нежелательной

беременности, и ей даже стало немножко стыдно. Но ведь она и так родила четверых. Если ее мальчики когда-нибудь вернутся, а Денвер и Бел останутся с ней — что ж, тогда почти вся ее семья будет в сборе, верно? И она сразу же вспомнила тени, что держались за руки на обочине дороги. Неужели картина эта совсем не изменилась? А когда она увидела платье и башмаки — во дворе перед домом, из нее хлынули воды… Ей даже не нужно было видеть лицо Возлюбленной, горевшее от солнца. Она столько лет представляла его себе, мечтала о нем.

Грудь Поля Ди мерно поднималась и опускалась, поднималась и опускалась под ее ладонью.

* * *

Денвер закончила мыть тарелки и присела за стол. Бел, с тех пор как Сэти и Поль Ди вышли из комнаты, сидела неподвижно и сосала указательный палец. Денвер некоторое время смотрела на нее, потом сказала:

— Она хочет, чтобы он оставался в доме. Бел сунула палец еще глубже в рот.

— Пусть он уходит! — сказала она.

— Но Сэти ведь возненавидит тебя, если он уйдет.

Бел сунула в рот второй палец и вытащила коренной зуб. Крови видно не было, но Денвер сказала испуганно:

— Ой, ну неужели тебе не больно?

Возлюбленная смотрела на зуб и думала: ну вот, начинается. Еще рука отвалится или пальцы на руках и на ногах… Так она и будет разваливаться по частям, а может, и сразу вся развалится. Или как-нибудь утром, до того как Денвер проснется, а Сэти уже уйдет на работу, возьмет и взорвется, разлетится на куски. Как же трудно удерживать голову на шее, а ноги в бедренных суставах. Одной ей с этим не справиться. Многое она не помнила, и в том числе — когда же она впервые поняла, что в любое утро может рассыпаться на куски. Ей снились два сна: в одном она взрывалась, а в другом ее кто-то заглатывал. Когда у нее выпал зуб — странный такой кусочек кости, последний в ряду, — она подумала: уже начинается.

— Похоже, это зуб мудрости, — сказала Денвер. — Тебе не больно?

— Больно.

— Так чего ж ты не плачешь?

— Что?

— Если тебе больно, почему ты не плачешь?

И Бел заплакала. Сидела за столом, держала ма-

ленький белый зуб на своей гладкой-прегладкой ладони и плакала так горько, как ей хотелось заплакать, когда черепашки одна за другой вылезли из воды; когда ярко-красная птичка исчезла среди густой листвы; когда Сэти пошла к нему, а он стоял голый в лохани под лестницей. Кончиком языка она слизнула соленую влагу, стекавшую по щекам и подбородку, надеясь только, что рука Денвер, обнимавшая ее за плечи, не даст ей рассыпаться.

А та пара наверху, наконец слившись воедино, не слышала ничего, а вокруг, снаружи, за стенами дома номер 124 шел и шел снег. Ложился слой за слоем, хоронясь, засыпая себя. Выше. Глубже.

* * *

Возможно, где-то в глубине души Бэби Сагз считала, что, если Халле побег удастся — все ведь во власти Господней, — тогда непременно нужно будет устроить праздник Если только ее младшему сыну удастся сделать и для себя то, что он сделал для нее и для своих детей, которых Джон и Элла принесли к дверям ее дома летней ночью. Дети прибыли одни, Сэти с ними не оказалось, и Бэби встревожилась, но все-таки была благодарна, что хоть кто-то из ее семьи, ее родные внуки остались

в живых. Это были первые и единственные внуки, которых ей довелось узнать: двое мальчиков и маленькая девочка — малышка уже ползала. Но Бэби постаралась унять свое беспокойное сердце и остереглась спрашивать, есть ли вести о Сэти и Халле, почему они задерживаются и почему Сэти не приехала вместе с детьми. Такой побег в одиночку совершить невозможно. Не только потому, что охотники на рабов высматривают их, как хищные канюки, и ставят на беглецов ловушки, словно на кроликов; но еще и потому, что если не знаешь пути и некому показать тебе дорогу, то заблудиться и пропасть ничего не стоит.

Поэтому, когда появилась Сэти — вся истерзанная, израненная, да еще и с новорожденной внучкой на руках, — Бэби снова подумала о праздничном пире. Но поскольку от Халле по-прежнему вестей не было, да и сама Сэти о нем ничего не знала, она снова заставила свое сердце молчать, чтобы не сглазить, чтобы не начать благодарить Господа слишком рано.

А начал все старый Штамп. Недели через три после того, как Сэти прибыла в дом номер 124, он заглянул к ним, проходя мимо, посмотрел на малышку, которую заворачивал в куртку своего племянника, посмотрел на Сэти, которую пы-

тался накормить жареным угрем, и вдруг, бог его знает почему, взял два ведра и отправился в дальний лес у реки; это место знал он один; там росла ежевика, такая замечательно душистая и крупная, что съешь одну ягодку — и будто в церкви причастишься. Он шесть миль прошагал по берегу реки, потом сквозь непролазную чащу спустился в лощину, где росли ягоды. Сплошная стена кустарника, сквозь которую он пробивался, встретила его острыми шипами, толстыми и длинными, как ножи; шипы насквозь пропарывали его одежду и впивались в тело. К тому же он ужасно страдал от укусов москитов, пчел, шершней, ос и самых ядовитых во всем штате паучих. Весь изодранный и искусанный, он все-таки достиг своей цели и каждую-то ягодку брал очень осторожно, кончиками пальцев, ни одной не раздавил. Уже вечерело, когда он вернулся и поставил на крыльцо дома номер 124 два полных ведра. Бэби Сагз, увидав его изорванные в клочья рубашку и штаны, окровавленные руки, распухшее лицо и шею, так и села. И громко рассмеялась.

Баглер, Ховард, женщина в чепце, приятельница Бэби, и Сэти подошли поближе — посмотреть, что случилось, и тоже принялись смеяться: этот

добрый и суровый старый негр, тайный агент, рыбак, проводник и перевозчик беглых, спаситель и шпион, был наконец средь бела дня нещадно выдран, причем по собственному желанию — из-за двух ведер ежевики. Не обращая внимания на этот смех, Штамп взял одну ягодку и положил ее в рот трехнедельной Денвер. Женщины всполошились.

— Да ты что, она слишком мала для этого!

— У нее понос будет!

— Животик заболит!

Но у девочки только глазки загорелись, и она так зачмокала губами, что и все тут же невольно зачмокали за нею следом, по очереди пробуя церковные ягоды. В конце концов Бэби Сагз отшлепала мальчишек по рукам, чтобы отогнать их от ведра, а Штампа отправила к колодцу, чтобы обмылся как следует. И в тот вечер она решила сделать из этих ягод что-нибудь достойное великого труда и любви старого негра. Вот с этого все и началось.

Она поставила опару для теста и подумала, что хорошо бы пригласить еще Джона и Эллу, потому что трех, а может, и четырех пирогов для одной семьи многовато. Сэти решила, что неплохо добавить еще и парочку цыплят. А Штамп заявил, что

окуней и зубаток в реке столько, что сами в лодку запрыгивают — не надо и леску забрасывать.

И вот, началось с того, что у маленькой Денвер загорелись глазки, а кончилось настоящим пиром для девяноста человек Их громкие голоса в доме номер 124 не стихали до поздней ночи. Гости ели с таким отменным аппетитом и так много смеялись, что под конец рассердились. На следующее утро, проснувшись, они припомнили вкус копченых окуней, которых Штамп приготовил на можжевеловых палочках, причем каждую рыбину коптил над костром отдельно, прикрывая левой рукой, чтобы не плевалась во все стороны жиром; припомнили замечательный кукурузный пудинг со сливками; припомнили своих усталых объевшихся детей, что уснули прямо на траве, зажав в руках обглоданные косточки жареного кролика, — припомнили они это, и обуял их гнев.

Три или четыре пирога, испеченные Бэби Сагз, превратились в десять, а то и двенадцать. Две курицы, зажаренные Сэти, стали пятью индюшками. Один– единственный куб льда, привезенный из Цинциннати — который вместе с арбузным соком, сахаром и мятой был использован для приготовления прохладительного

напитка, — превратился в целый вагон мороженого и корыто клубники. И то, что дом номер 124 всю ночь сотрясался от смеха и веселья угостившихся на славу девяноста человек, разозлило их еще больше. Слишком у них всего много, думали они. Где она все это берет, наша Бэби Сагз, святая? Да и кто она такая, в конце концов? И почему она сама и ее семейство вечно в центре внимания? Откуда она так хорошо знает, что, как и когда нужно делать? Зачем всем дает советы, передает послания, лечит больных, прячет беглых, зачем любит людей, готовит для них еду, молится за них да еще поет для них и танцует — словно это ее право и долг, словно любить людей дозволено только ей одной?

А тут — целых два ведра ежевики, из которых она напекла не то десять, не то двенадцать пирогов, да индюшатины чуть не на целый город нажарила, а к ней свежий зеленый горошек, — это в сентябре-то! — и сливки у нее свежайшие, хотя своей коровы нет и в помине, да еще лед и сахар, сливочное масло и хлебный пудинг, дрожжевой хлеб, лепешки — такое изобилие сводило их с ума. Если Он накормил великое множество людей хлебами и рыбами, так то Господь — не какая-то там бывшая рабыня, которой, может,

никогда и не приходилось тяжко трудиться и таскать стофунтовые мешки к весам или весь день собирать стручки окры с ребенком, привязанным за спиной. Ее небось никогда не бил кнутом десятилетний белый мальчишка! А им-то, господи, сколько досталось. И ведь ей даже бежать не пришлось — ее, видите ли, выкупил любящий сынок и довез до берега Огайо в повозке; и бумаги об освобождении лежали у нее между грудями, а привез ее сюда тот белый, что раньше был ее хозяином; он же и заплатил за нее налог — Гарнер была его фамилия. А потом она сняла дом в целых два этажа, да еще с колодцем, у Бодуинов — у этих белых брата и сестры, которые всегда давали Штампу, Элле и Джону одежду, продукты и деньги для беглых негров, потому что ненавидели рабство куда сильнее, чем чернокожих рабов.

Вспомнив все это, они прямо-таки взбесились. Глотали питьевую соду наутро после пира, чтобы успокоить бунтующие после щедрого угощения желудки, и злились на ту беспечную щедрость, что словно была выставлена напоказ в доме номер 124. И шептались друг с другом по дворам о жирных крысах-богатеях, о Страшном суде и неуемной гордыне.

Тяжелый запах людского неодобрения повис

в воздухе. Бэби Сагз проснулась от этого запаха и все думала, с чего бы это, пока варила мамалыгу для своих внучат. Позже, стоя в огороде и рыхля землю на грядке с перцем, она почуяла его снова, подняла голову и огляделась. У нее за спиной, чуть левее, сидела на корточках Сэти, трудившаяся над бобами. Плечи ее под платьем были прикрыты смазанной жиром фланелевой тряпкой, чтобы скорее подживала спина. Рядом с ней в большой корзине лежала трехнедельная малышка. Бэби Сагз, святая, посмотрела вверх. Небо было синим и ясным. Свежей зелени листвы не коснулось еще дыхание смерти. Она слышала щебет птиц и слабое журчание ручья на дальнем конце луга. Их щенок Мальчик закапывал последние косточки, которые не доел после вчерашней пирушки. Откуда-то из-за дома доносились голоса Баглера, Ховарда и ее старшей внучки, которая уже ползала. Все вроде бы на своих местах — и все-таки запах неодобрения бил в нос. Дальше, за огородными грядками, ближе к ручью, на самом солнцепеке, она посадила кукурузу. И хотя большую часть початков они уже обломали для вчерашней пирушки, кое-что там еще осталось; зреющие початки были видны ей даже с того места, где она стояла. Бэби Сагз снова согнулась

с мотыгой над грядками со сладким перцем и кабачками. Осторожно, неторопливо, держа лезвие точнехонько под нужным углом, она старалась извлечь с корнями цветущую упрямую руту. Цветы она втыкала в свою старую соломенную шляпу; стебли и корни отбрасывала прочь. Тихий стук по дереву донесся до нее и напомнил, что Штамп пришел наколоть дров, как обещал вчера. Она вздохнула, продолжая работу, но мгновение спустя снова выпрямилась, ощутив острый запах неодобрения. Опершись на ручку мотыги, Бэби Сагз сосредоточилась. Она уже привыкла к мысли о том, что молиться за нее никто не станет, однако разлившаяся вокруг ненависть — это было что-то новое. Причем ненависть, исходившая не от белых — это-то она определить могла, — а наверняка от черных! И тут она наконец поняла: ее друзья и соседи сердились на нее за то, что она преступила черту — дала слишком много, обидев их своей избыточной щедростью.

Бэби закрыла глаза. Возможно, они были правы. И вдруг откуда-то издалека, из-за этой волны неодобрения до нее долетел совсем другой запах. Запах темной, опасной, движущейся сюда силы. Но что это такое, она определить не могла: мешал запах соседской злобы.

Она изо всех сил зажмурилась, пытаясь понять, что же это такое, но единственное, что пришло ей в голову, — это высокие сапоги с ушками; она всегда избегала на них смотреть.

Встревоженная, она снова взялась за мотыгу. Что же это за темная сила движется сюда? Разве в мире осталось хоть что-то, способное причинить ей боль? Может быть, это весть о смерти Халле? Нет. К ней она была готова куда лучше, чем к известию о том, что он каким-то чудом остался жив. Ее последыш, на которого она едва взглянула, когда он родился: к чему пытаться запомнить младенческие черты, если все равно никогда не увидишь, как взрослеет твой сын? Семь раз она это пробовала: брала в руки крошечную ножку, рассматривала крошечные толстенькие пальчики на руках — и никогда не видела, как эти пальчики превращаются в пальцы взрослого мужчины или женщины, которые любая мать отличит всегда. Она до сих пор не знала, сменились ли у них зубы на постоянные; перестала ли Патти шепелявить; какого цвета в конце концов стала кожа у Феймаса; осталась ли у Джонни волчья пасть или то был просто небольшой изъян, который сам собой исчезает, когда у ребенка окрепнет челюсть. Четырех девочек родила она

и всех в последний раз видела тогда, когда ни у одной еще и волосики под мышками не начали пробиваться. Неужели Арделия до сих пор любит подгорелые хлебные корки? Все семеро ее детей просто исчезли из ее жизни. Может, умерли. Так имело ли смысл внимательно рассматривать этого последыша? Но его почему-то разрешили подержать на руках и оставили ей. И с тех пор он был с нею повсюду.

Когда в Каролине она повредила себе бедро, то стоила меньше Халле (ему тогда было десять) — выгодная покупка для мистера Гарнера, отвезшего их обоих в Кентукки к себе на ферму, которую называл Милый Дом. Из-за больного бедра она подпрыгивала при ходьбе, точно собака на трех лапах. Но в Милом Доме не было ни рисового поля, ни табачных плантаций. И никто, ни один человек ни разу не сбил ее с ног! Ни разу. Лилиан Гарнер почему-то называла ее Дженни, но никогда не толкала, не давала пинков и не обзывала грязными словами. Даже когда Бэби поскользнулась на коровьей лепешке и разбила все яйца, которые несла в фартуке, никто не рявкнул на нее: Ну-ты-черная-сука– что-с-тобой-такое-черт-тебя-побери! И никто не ударил ее, не сбил с ног.

Милый Дом был совсем крошечной фермой по

сравнению с теми усадьбами, где она работала прежде. Мистер Гарнер, миссис Гарнер, она сама, Халле и четверо парней, трое из которых носили имя Поль, — вот почти и все обитатели Милого Дома. Миссис Гарнер напевала за работой; мистер Гарнер вел себя так, словно весь мир был для него игрушкой, которой ему необходимо всласть наиграться. Никто не требовал, чтобы она работала в поле — у мистера Гарнера со всеми полевыми работами справлялись пятеро парней (и ее Халле в их числе), — что она воспринимала как милость Божью, потому что все равно не выдержала бы этого. Вместе с Лилиан Гарнер, которая что-то напевала себе под нос, она готовила еду, консервировала овощи, стирала, гладила, делала свечи, шила одежду, варила мыло и сидр, кормила цыплят, свиней, собак и гусей, доила коров, сбивала масло, топила сало, растапливала плиту… В общем, ничего особенного. И никто ни разу ее не ударил, не сбил с ног.

Бедро у нее болело постоянно — но она никогда никому не жаловалась. Только Халле, который всегда был рядом, знал, с каким трудом она ходит, знал, что в последние четыре года для того, чтобы лечь в постель или встать с нее, она поднимает больную ногу обеими руками. Именно поэтому он

и затеял разговор с мистером Гарнером, как ему выкупить ее, чтобы она для разнообразия смогла посидеть и немного отдохнуть. Милый мальчик Единственный человек на свете, который сделал для нее что-то действительно стоящее: заплатил за нее своей работой, своей жизнью, а теперь вот и детей своих ей отдал, чьи голоса доносились до нее, пока она стояла среди грядок и раздумывала, что же это за темная сила движется сюда, носится в воздухе, примешиваясь к запаху всеобщего неодобрения. Нет, Милый Дом был, конечно, значительно лучше всех прочих мест. Еще бы. Но это было не так уж важно, потому что тоска жила у нее в сердце, в ее опустошенном сердце. Мучилась она, не зная, где похоронены ее дети, если они умерли, и что сталось с ними, если они живы, но все же знала о них больше, чем о себе самой, ибо никогда не было у нее карты, по которой находят дорогу к своей душе.

Какая она? Приятный ли был у нее в юности голосок? Была ли она хорошенькой? Была ли кому-нибудь доброй подругой? Могла ли стать любящей матерью? Верной женой? Она часто думала: была ли у меня сестра, любила ли она меня? Интересно, если бы мать увидела меня взрослой, понравилась бы я ей?

В доме Лилиан Гарнер, избавленная от работы в поле, на которой она когда– то повредила себе бедро, от той бесконечной усталости, что выхолащивала мозги, от постоянной угрозы рукоприкладства, она прислушивалась к тихому пению белой женщины, работавшей с ней рядом, видела, как светлеет лицо ее хозяйки, когда входит мистер Гарнер; и думала: здесь, конечно, лучше, чем прежде, но это не для меня. У Гарнеров, похоже, была какая-то своя, особая система отношений с рабами, к которым здесь относились как к наемным работникам — внимательно выслушивали и сами обучали их тому, что те желали знать. И еще мистер Гарнер не заставлял своих парней спариваться с женщинами. Никогда никого не приводил к ее хижине и не приказывал: «А ну-ка ложись с ней!», как это сплошь и рядом делали в Каролине. И он никогда не одалживал своих негров для подобных целей на другие фермы. Это удивляло ее и радовало, но почему-то и беспокоило. Как будет дальше: выберет ли он для них подходящих женщин сам? Ведь бог знает что может произойти, когда парнишки войдут в возраст. Ох, опасное дело затеял мистер Гарнер! Неужто он не знал, как это опасно?

Конечно знал, и его приказ не покидать без

него пределы фермы был связан не столько с соблюдением закона, сколько с пониманием того, что могут натворить, вырвавшись на волю, рабы, выросшие в обществе одних только мужчин.

Бэби Сагз говорила лишь по необходимости — что она особенного могла сказать? — так что миссис Гарнер продолжала напевать себе под нос, находя новую рабыню отличной, хотя и чересчур молчаливой помощницей.

Когда мистер Гарнер и Халле обо всем договорились и Халле так сиял, словно для него не было ничего важнее на свете, чем ее свобода, она позволила перевезти себя на тот берег. Из двух равно тяжелых для нее вещей — стоять на ногах, пока не упадет, или оставить своего последнего и, возможно, единственного сына — она выбрала тяжесть, которая дарила счастье Халле, и никогда не задавала ему того вопроса, который часто задавала себе: зачем? Зачем ей, шестидесятилетней рабыне, которая едва ковыляет, точно собака с подбитой лапой, нужна свобода? Но когда она ступила на свободную землю, то все никак не могла поверить, что Халле знал то, чего не понимала она: Халле, ни разу в жизни не глотнувший свободы, знал, что лучше этого нет ничего в мире. Это даже испугало ее.

Что-то тут было такое… Но что? Что? — спрашивала она себя. Она никогда не знала, какова она собой, да это ее и не интересовало. Но тут вдруг она как бы впервые увидела собственные руки и подумала с ошеломляющей ясностью: «Эти руки принадлежат мне. Это мои руки». Потом почувствовала, что кто-то постучался у нее в груди, и открыла для себя еще одно: биение собственного сердца. Неужели все это время оно там билось? Гулко стучало у нее в груди? И тогда она, чувствуя себя полной дурой, громко рассмеялась. Мистер Гарнер обернулся, изумленно посмотрел на нее своими большими карими глазами и сам улыбнулся:

— Ты чего это смеешься, Дженни?

Она все смеялась и не могла остановиться.

— У меня сердце бьется, — сказала она. И это была сущая правда.

Мистер Гарнер тоже засмеялся:

— Это не страшно, Дженни. Ничего, привыкнешь, и все будет в порядке.

Она прикрыла рот рукой, чтоб не смеяться так громко.

— Те люди, к которым мы с тобой едем, во всем тебе помогут. Их фамилия Бодуин. Они брат и сестра. Шотландцы. Я их уже лет двадцать знаю,

а может, и больше.

И тут Бэби Сагз решила, что сейчас самое время спросить у него то, что ей давно хотелось узнать.

— Мистер Гарнер, — сказала она, — а почему все вы называете меня Дженни?

— Потому что так было написано в твоей купчей. А разве тебя зовут иначе? Ты-то сама как себя называешь?

— Никак, — ответила она. — Сама я себя никак не называю.

Мистер Гарнер побагровел от смеха.

— Когда я привез тебя из Каролины, Уитлоу назвали тебя Дженни, и в купчей тоже так было написано: Дженни Уитлоу. Разве твой хозяин не называл тебя Дженни?

— Нет, сэр. Если и называл, так я того не слышала.

— На какое же имя ты откликалась?

— На любое, но Сагз — это фамилия моего мужа.

— Так ты была замужем, Дженни? Я не знал.

— Вроде бы.

— А ты знаешь, где он, твой муж, сейчас?

— Нет, сэр.

— Это отец Халле?

— Нет, сэр.

— Тогда почему же ты Халле дала фамилию Сагз? В его купчей тоже написано: Уитлоу, как и в твоей.

— Сагз — это моя фамилия, сэр. От моего мужа мне досталась. И он меня Дженни не называл.

— Как же он называл тебя?

— Бэби.

— Ну что ж, — сказал мистер Гарнер, снова начиная багроветь. — Но знаешь, на твоем месте я бы предпочел Дженни Уитлоу. Миссис Бэби Сагз — какое-то неподходящее имя для свободной негритянки.

Может, оно и так, подумала она тогда, но Бэби Сагз — это все, что у нее осталось от того «мужа», о котором она только что говорила. Это был серьезный, печальный человек, который научил ее шить башмаки. Они условились друг с другом: если у одного из них появится возможность бежать, он этой возможностью воспользуется; смогут — убегут вместе, не смогут — кто– то один; и тот, кому убежать удастся, назад оглядываться не станет. Удача выпала ему, и с тех пор она о нем не слышала и считала, что побег ему удался. Так что если бы теперь он попробовал как-то ее отыскать, то ей ни в коем случае нельзя было называть себя другим именем, даже если оно

записано в ее купчей.

Город пугал ее. Здесь было слишком много людей, больше, чем во всей Каролине, и столько белых, что перехватывало дыхание. Повсюду двухэтажные дома и тротуары из отлично выструганных досок. И улицы шириной с весь дом Гарнеров.

— Это город на воде, — сказал мистер Гарнер. — Здесь и передвигаются, и все перевозят в основном по воде; если нельзя по реке, так используют каналы. Это прекрасный город, Дженни, король городов… Тут есть все, о чем только можно мечтать, и все это делается прямо здесь. Железные плиты для кухни, пуговицы, различные суда, рубашки, расчески, краски, паровые двигатели, книги… А канализационная система здесь такая, что тебе и не снилось. Вот это город так город! И если хочешь жить в городе — так только в таком!

Бодуины жили в центре, на тенистой улице, сплошь застроенной домами. Мистер Гарнер соскочил на землю и привязал лошадь к толстенному железному столбу.

— Ну вот и приехали.

Бэби взяла свой узелок и с огромным трудом выползла из повозки. Мистер Гарнер уже прошел

по дорожке к дому, когда она наконец очутилась на твердой земле и тут же успела заметить лицо молоденькой негритянки, открывшей мистеру Гарнеру дверь. Потом она двинулась вокруг дома к черному ходу и стала ждать. Ожидание показалось ей удивительно долгим, но потом та же девчушка распахнула перед ней дверь, провела на кухню и предложила присесть у окна.

— Может, хотите чего-нибудь покушать, мэм? — спросила девушка.

— Нет, милая. Хотя водицы испить я бы не отказалась.

Девушка открыла кран над раковиной и налила полную кружку воды, которую подала Бэби.

— Меня зовут Джани, мэм.

Бэби, восхищенно рассматривая кран, выпила все до последней капли, хотя вода пахла как лекарство.

— Сагз, — представилась она, вытирая губы тыльной стороной руки. — Бэби Сагз.

— Очень приятно познакомиться, миссис Сагз. Вы что же, тут останетесь?

— Не знаю еще. Мистер Гарнер — это он меня сюда привез — говорит, что непременно что-нибудь для меня устроит. — И прибавила: — Я ведь свободная, знаешь ли.

Джани улыбнулась:

— Да, мэм.

— А семья твоя тоже здесь проживает?

— Да, мэм. Мы все на Блустоун-роуд живем.

— А нас всех по белу свету раскидало, — сказала Бэби Сагз, — но может, еще и не навсегда, а?

Великий боже, подумала она, с чего мне начать? Надо сперва попросить кого– нибудь написать старому Уитлоу — может, ответит, кто купил Патти и Розу Ли. По слухам, Арделия досталась человеку по фамилии Данн, откуда-то с Запада. Тайри или Джона даже и пытаться искать не стоит. Этот ломоть отрезан тридцать лет назад, и если она будет искать слишком упорно, а они убежали и скрываются, то ее поиски могут принести им куда больше вреда, чем пользы. Нэнси и Феймас умерли на судне, отправлявшемся от берегов Виргинии в Саванну. Это-то уж она знала. Надсмотрщик в усадьбе Уитлоу принес ей эту весть — скорее из желания подобраться к ней, чем из добросердечия. Капитан того судна три недели простоял в порту, пока загружали трюмы. Мерли как мухи, сказал ей надсмотрщик, и среди прочих двое детей из усадьбы Уитлоу, их звали…

Но она и так знала их имена. Она знала и закрыла уши руками, чтобы не слышать, как этот

человек их произносит.

Джани согрела молока, налила его в чашку и поставила на стол, а рядом — тарелку с кукурузным хлебом. После некоторых уговоров Бэби Сагз подошла к столу, села и начала есть, макая хлеб в горячее молоко: оказалось, что она очень голодна, сильнее, чем когда-либо в жизни, а уж это что-нибудь да значило.

— А хозяева молока не хватятся?

— Нет, — успокоила ее Джани. — Ешьте на здоровье, это все наше.

— Здесь еще кто-нибудь из прислуги живет?

— Только я. Есть еще мистер Вудраф, он всю работу на дворе делает. Но он только раза два-три в неделю приходит.

— Значит, вас только двое?

— Да, мэм. Я и готовлю, и стираю.

— Может, кто из твоих знакомых знает, где по хозяйству помощь требуется?

— Я, конечно, спрошу, но я точно знаю, что на бойне женщины всегда нужны.

— А что там делать нужно?

— Не знаю.

— Да небось уж что-нибудь такое, что мужчинам не по вкусу.

— Моя двоюродная сестра говорит, что с собой

можно прихватить сколько угодно мяса, да еще платят двадцать пять центов в час. Она там копченую колбасу делает.

Бэби Сагз шлепнула себя по макушке. Деньги! Неужели деньги? Неужели ей каждый день будут платить деньги? Настоящие деньги?

— Где ж эта бойня находится? — спросила она. Но Джани ответить не успела: в кухню вошли Бодуины и за ними сияющий мистер Гарнер. Сразу было ясно, что это брат и сестра; оба в сером, у обоих молодые лица, хотя волосы совершенно седые.

— Ты покормила ее, Джани? — спросил мистер Бодуин.

— Да, сэр.

— Сиди, сиди, Дженни, — сказала его сестра, и Бэби сразу почувствовала облегчение.

Когда они спросили, что она умеет делать, то, вместо того чтобы перечислить добрую сотню разных своих умений, она задала вопрос о работе на бойне. Нет, для этого она слишком стара, сказали они.

— Да она отличный сапожник, лучше не сыскать! — сообщил мистер Гарнер.

— Сапожник? — Мисс Бодуин изумленно подняла густые темные брови. — Кто же тебя такому

ремеслу научил?

— Да так, один раб, — сказала Бэби Сагз.

— Ты и новые башмаки шьешь или только старые чинишь?

— Новые, старые — что угодно.

— Отлично, — сказал мистер Бодуин, — это уже неплохо. Но тебе, пожалуй, денег побольше понадобится.

— А в стирку ты брать не хочешь? — спросила мисс Бодуин.

— Хочу, мэм.

— Два цента за фунт.

— Хорошо, мэм. А где брать-то? -Что?

— Вы сказали «брать в стирку». Так где, где брать-то? И где стирать?

— О, господи, Дженни! Послушай-ка внимательно, — сказал мистер Гарнер. — Эти два ангела отдают тебе целый дом. Их собственный, недалеко отсюда.

Дом принадлежал еще их деду с бабкой, а потом все семейство переехало в город. Бодуины сдавали его в аренду целой ораве негров, которые сейчас из штата Огайо уехали. Для одной Дженни это, конечно, слишком большой дом, сказали брат и сестра (две комнаты наверху, две внизу), но это самое лучшее да, пожалуй, и

единственное, что они могут для нее сделать. За это она будет немного стирать для них и гладить, а также содержать дом в порядке и следить за ним — убирать и тому подобное (ах да, еще чинить обувь). Но, разумеется, она должна будет соблюдать чистоту. Та последняя семья негров, что жила там, чистоплотностью, прямо сказать, не отличалась. Бэби Сагз согласилась со всеми этими условиями, чуточку жалея лишь о том, что упускает денежки, которые могла бы заработать на бойне, но заранее радуясь дому с двумя этажами — пусть она и забраться-то по лестнице не сможет. Мистер Гарнер еще сообщил Бодуинам, что Бэби отлично готовит, не хуже, чем обувь шьет, и в доказательство продемонстрировал свой животик и башмаки. Все рассмеялись.

— Если тебе что-нибудь понадобится, дай нам знать, — сказала мисс Бодуин.

— Мы не сторонники рабства, даже такого, как у Гарнера.

— Нет, ты скажи им, Дженни! Ты где-нибудь жила лучше, чем у меня?

— Нет, сэр, — сказала она. — Лучше — нигде.

— И сколько ты прожила в Милом Доме?

— Лет десять, должно.

— Голодом я тебя морил?

— Нет, сэр.

— А холодом?

— Нет, сэр.

— Кто-нибудь хоть раз руку на тебя поднял?

— Нет, сэр.

— И ведь я позволил Халле выкупить тебя? Да или нет?

— Да, сэр, конечно, — сказала она и подумала: но ты получил взамен жизнь моего мальчика, а я всего лишь старая развалина. И ты будешь продолжать сдавать его внаем, чтобы он выплачивал тебе свой долг, даже когда я сама к праотцам отправлюсь.

Ну хорошо, сказали они, Вудраф непременно отвезет ее куда нужно, и все трое исчезли за кухонной дверью.

— Пора мне ужин готовить, — сказала Джани.

— Я помогу, — сказала Бэби Сагз. — Ты еще слишком мала, чтобы до плиты дотянуться.

Было уже темно, когда Вудраф щелкнул кнутом, трогая лошадь. Это был молодой еще человек с густой бородой и шрамом от ожога на подбородке, который не могла скрыть даже борода.

— Ты здесь родился? — спросила его Бэби Сагз.

— Нет, мэм. В Виргинии. Здесь я всего года два.

— Понятно.

— Ты в очень хорошем доме жить будешь. Большом. Там когда-то наш священник с семьей жил. Восемнадцать детей.

— Господи помилуй! И куда же они уехали?

— Переехали в Иллинойс. Епископ Аллен дал ему приход. Большой.

— А здесь какие церкви есть? Я за десять лет ни в одной не была.

— Это как же получилось?

— Да просто ни одной рядом не было. Там-то, где я жила до того, было хуже не придумаешь, зато я каждое воскресенье в церковь выбиралась. Господь, верно, уж и думать обо мне забыл.

— А вы сходите к преподобному отцу Пайку, мэм. Он вас и прихожанам представит.

— Ну, для такого дела он мне не нужен. Я с людьми и сама познакомиться могу. А вот детям моим представить меня как раз преподобный отец и должен. Он ведь небось читать да писать умеет?

— Конечно.

— Это хорошо. Строчить придется много, чтобы найти их следы.

Однако результаты их поисков были столь ничтожны, что Бэби сама отказалась от своей затеи. Целых два года священник слал написанные им письма по указанным ею адресам; целых

два года она стирала, шила, делала заготовки на зиму, сапожничала, возилась в огороде и сидела на службах в церкви, однако ей удалось узнать лишь, что усадьбу Уитлоу продал, а писать человеку по фамилии Данн не имеет смысла, если тебе известно только то, что он уехал «куда-то на Запад». Впрочем, были и хорошие новости: Халле женился и готовился стать отцом. Она сосредоточилась на этих вестях, на своих молитвах и проповедях на Поляне, решив раз и навсегда, куда ей направить свое сердце, биение которого она вдруг ощутила, оказавшись на другом берегу реки Огайо. И задуманное воплотилось на редкость удачно, и все шло хорошо, пока она не возгордилась и не позволила себе потерять рассудок при виде своей невестки и детишек Халле — один из которых родился в дороге — и не устроила это пиршество с ежевикой, перед которым поблекли даже рождественские праздники. И вот теперь она стояла в огороде над грядкой, ощущая запах соседского неодобрения и чувствуя, как издали наползает что-то темное и страшное, а перед глазами маячили те высокие сапоги с ушками, которые она терпеть не могла. Ненавидела!

* * *

Когда четверо всадников — учитель, один из его племянников, охотник за беглыми рабами и шериф — подъехали к дому на Блустоун-роуд, там было так тихо, что им показалось, они опоздали. Трое из них спешились, один остался в седле, держа ружье наготове и поглядывая по сторонам на случай, если беглянка решится вдруг перебежать двор. Впрочем, никогда нельзя было сказать заранее, как беглые себя поведут; иногда их находили где-нибудь в подполе или в курятнике, а один даже в камин забрался. Но все равно требовалась осторожность, потому что самые тихие, те, кого вытаскивали из пресса для яблок, из стога сена или, как в тот раз, из камина, вели себя смирно только в первые две-три секунды. Пойманные с поличным, они вроде бы осознавали тщетность попыток перехитрить белого человека и убежать от его пуль. Даже улыбались, как дети, которых застали с банкой варенья; но вот стоило потянуться за веревкой, чтобы связать их, тут-то и начиналась всякая ерунда. Тот же самый ниггер, который только что стоял повесив голову, с виноватой улыбкой любителя варенья, мог ни с того ни с сего взреветь как бык и учинить нечто

невероятное. Например, сунуть дуло винтовки себе в рот или попытаться отнять ружье, — да все что угодно. Так что если ты вооружен, то лучше держаться от них подальше. Иначе кончится тем, что нечаянно застрелишь добычу, за которую тебе заплатили, чтоб доставил ее живьем. Это ведь не змея и не медведь — с мертвого ниггера даже шкуру не сдерешь на продажу, мертвый он и гроша ломаного не стоит.

Шесть или семь негров подходили к дому: двоих мальчиков охотник заметил слева от себя и нескольких женщин справа. Он велел им остановиться, вскинув ружье, и они застыли на месте. Племянник учителя, осмотрев дом, вернулся, приложил палец к губам, призывая хранить молчание, и указал охотнику куда– то за дом; видно, дичь, которую они искали, находилась именно там. Охотник тоже спешился и пошел вместе с остальными. Учитель с племянником обогнули дом с левой стороны, охотник и шериф — с правой. У дровяного сарая с топором в руках стоял какой-то сумасшедший чернокожий старик Сразу видно, что спятил: все время урчал и подвывал, как кот. Шагах в пятнадцати от этого старика торчала старуха в соломенной шляпе, украшенной цветочками. Наверное, тоже сума-

сшедшая — стояла как вкопанная, но руками все по лицу шарила, точно паутину с него обирала. Оба ниггера, однако, смотрели в одном направлении — в сторону сарая. Племянник учителя подошел к старику и взял у него из рук топор. Все четверо тоже подошли поближе к дверям сарая и уставились внутрь.

Там, на грязных опилках, лежали два окровавленных мальчика, а черномазая женщина одной рукой прижимала к груди истекающего кровью ребенка, а другой держала за ноги грудного младенца. Она ни на кого не смотрела; просто раскачала младенца и попробовала ударить его головой о дощатую стену, но промахнулась. Когда она стала замахиваться во второй раз — в звенящей тишине мужчины застыли и смотрели, не отрывая глаз, — старый негр, по– прежнему мяуча и подвывая, прямо у них перед носом вбежал в сарай и перехватил младенца почти у самой стены.

Сразу стало ясно, и самому учителю прежде всего, что предъявлять права здесь не на что. Трое (теперь уже четверо — ибо их мать была на сносях, когда убежала) ребятишек, которых он надеялся найти живыми и здоровыми, отвезти назад в Кентукки, на ферму и воспитать

правильно, как достойных рабов Милого Дома, страдавшего от нехватки рабочих рук, были потеряны. Двое мальчиков лежали с открытыми глазами, навзничь, все в крови, на грязных опилках; а девочка пятнала кровью платье главной беглянки — той самой женщины, которой этот учитель так хвастался; которая, по его словам, умела отлично готовить чернила, варить замечательные супы и отглаживать воротнички на его сорочках именно так, как нравилось ему; а кроме всего прочего, она могла еще по крайней мере лет десять рожать и рожать. Но, видно, она совсем спятила из-за того, что этот олух чересчур сильно избил ее и заставил все бросить и убежать. Учитель тогда здорово отругал мальчишку; интересно, сказал он ему, а что сделала бы лошадь, если бы он сверх меры избил ее, желая всего лишь немного ее проучить? Или собаки — Чиппер и Самсон? Предположим, сказал он, изобьешь ты своих охотничьих собак до крови. Ну и все; больше никогда не сможешь доверять им ни в лесу, ни где бы то ни было. Сколько хочешь можешь к ним подлизываться и кормить их, протянешь, к примеру, такому псу кусок кролика, а он извернется да и отхватит тебе руку напрочь. В общем, учитель здорово наказал своего племянника, не

позволив ему участвовать в охоте на беглецов. Велел остаться дома, самому себе готовить, кормить скот, кормить Лилиан и присматривать за хозяйством. Посмотрим, как ему это понравится; пусть знает, что нельзя чересчур сильно избивать тварей, за которых отвечаешь перед Господом, даже если они провинились, — это оборачивается только неприятностями, а то и убытком. Теперь вот вся семейка рабов пропала. Целых пять штук Учитель мог, конечно, стребовать того младенца, что бился на руках у мяукающего старого негра, но кто станет возиться с грудным? А мамаша его явно спятила. Уставилась прямо на него, и, если бы тот его племянник мог видеть ее взгляд, такого урока ему бы никогда не забыть, это точно. Нет, все-таки нельзя так обращаться со вверенными тебе живыми тварями и надеяться, что подобное наказание даст благодатные плоды.

Тот племянник, что когда-то забавлялся с ней, пока его братец держал ее, не сразу понял, что его бьет дрожь. Дядя предупреждал его о возможных эксцессах, но ему как-то не верилось. И все-таки зачем ей было бежать и зачем она это сделала со своими детьми? Подумаешь, избили ее. Черт побери, да его мильон раз били, а ведь он белый! Один раз ему было так больно, что он прямо-та-

ки взбесился и расплющил колодезное ведро. В другой раз выместил зло на Самсоне — швырнул в него несколько раз камнем, вот и все. Но сколько бы его ни били… он никогда не мог бы… Нет, зачем же она сбежала и потом еще сделала это? Вот что он спросил у шерифа, который стоял рядом, потрясенный не меньше остальных, но не дрожал. Он только снова и снова пытался проглотить что-то застрявшее в горле.

— Для чего же она тогда убежала и зачем теперь сделала это?

И тут шериф обернулся и сказал им троим:

— Уезжайте-ка вы отсюда, а? Похоже, здесь вам больше делать нечего. Теперь моя очередь настала.

Учитель яростно хлестнул себя шляпой по ляжке, сплюнул и пошел прочь от дровяного сарая. Его племянник и охотник за рабами двинулись следом. Они не смотрели на старую женщину, стоявшую среди грядок с перцем в дурацкой шляпе с цветочками. И не смотрели на тех семерых или больше негров, которые все– таки подошли поближе, несмотря на угрозы охотника с ружьем. Довольно с них негритянских глаз. Остановившихся открытых глаз тех чернокожих мальчишек, что лежали на грязных опилках;

мертвых глаз той чернокожей девочки, что смотрели на них сквозь мокрые от крови пальцы ее матери, придерживавшей ей голову, чтобы не отвалилась; глаз того грудного негритенка, который, весь наморщившись, ревел на руках старого безумного негра; у старика глаза были похожи на деревянные пуговицы, и смотрел он только себе под ноги. Но хуже всего были глаза той молодой негритянки: у нее, казалось, вовсе не было глаз. Оттого что белки исчезли совсем — так расширились зрачки, а радужки были черными, как ее кожа, она выглядела безглазой. Они привязали к ограде взятого взаймы мула, который должен был отвезти беглянку назад, в Милый Дом. Солнце было точно в зените, когда они двинулись прочь, оставив шерифа разбираться с разворошенной норой этих отвратительных енотов. Что называется, глотнули свободы! Да этих дикарей нельзя оставлять без присмотра, иначе опять вернутся к привычному каннибальству.

Шерифу тоже хотелось поскорее уехать. Хотелось постоять на ярком солнце, а не в темном сарае, предназначенном для хранения дров, угля, керосина, — столь необходимых холодными зимами в Огайо, о которых он думал сейчас, — и он с трудом сопротивлялся желанию выбежать

отсюда на жаркое августовское солнце. Не потому, что ему было страшно. Вовсе нет. Просто холодно. И ни до чего здесь не хотелось дотрагиваться. Младенец на руках у старика все еще плакал, и глаза той женщины, лишенные белков, по-прежнему смотрели прямо перед собой. Все здесь, казалось, окаменели и останутся такими до конца света. И вдруг один из мальчиков на полу глубоко вздохнул. Вздохнул так, словно проснулся после глубокого сладкого сна. И шериф тоже очнулся и начал действовать.

— Я должен тебя арестовать. И давай без фокусов. Ты и так натворила предостаточно. А теперь пошли.

Она не пошевелилась.

— Пошли — и тихо мне, слышишь? Не то придется тебя связать.

Она продолжала стоять неподвижно, и шериф решил подойти к ней поближе и все-таки связать как-нибудь ее мокрые от крови руки, и тут чья-то тень на пороге заставила его обернуться. Это была та старая негритянка с цветочками на шляпе.

Бэби Сагз сразу поняла, кто еще жив, а кто нет, и направилась прямо к мальчикам, валявшимся на грязном полу. Старик придвинулся к неподвижно застывшей женщине с невидящими глазами и

сказал:

— Сэти, возьми мою ношу и дай мне твою.

Она медленно обернулась к нему и, глянув на младенца, которого он прижимал к груди, издала какой-то низкий горловой возглас; удивленный, словно она совершила небольшую оплошность — тесто забыла посолить или что– нибудь в этом роде.

— Я пойду за повозкой, — сказал шериф и наконец вышел из сарая на солнце.

Но ни Штамп, ни Бэби Сагз не могли заставить Сэти отдать малышку — господи, неужели она уже ползала? Сэти вышла из сарая и двинулась к дому, упорно прижимая девочку к себе. Бэби Сагз уже перенесла мальчиков в дом и обмывала им головы, оттирала кровь с ручонок, приподнимала им веки, все время нашептывая:

— Прости меня, Господи, прости меня!

Она перевязала им раны и заставила подышать камфарным маслом; только тогда она обратила наконец внимание на свою невестку. Взяла плачущую малышку у Штампа из рук, поносила ее на плече минутки две и остановилась перед Сэти.

— Пора кормить твою младшенькую, — сказала она как ни в чем не бывало.

Сэти потянулась к Денвер, так и не выпуская из

рук старшую.

Бэби Сагз покачала головой.

— Каждую по очереди, — сказала она и быстро подменила мертвую живой. Мертвую она вынесла в гостиную. Вернувшись, она увидела, что Сэти собирается сунуть окровавленный сосок в ротик младшенькой. Бэби Сагз стукнула кулаком по столу и заорала: — А ну вымойся! Вымойся сперва!

И тут они схватились не на шутку. Словно соперницы в борьбе за сердце возлюбленного, схватились они из-за грудного младенца. Бэби Сагз схватку проиграла. Она поскользнулась в луже крови и повалилась на пол. Так что Денвер пила материнское молоко, смешанное с кровью сестренки. Такую картину и застал вернувшийся с соседской повозкой шериф. Он велел Сэти сесть в повозку, а Штампа посадил на козлы.

За окнами толпилась уже целая толпа негров; люди встревоженно перешептывались. Неся на руках ребенка, Сэти молча прошла мимо них — и они тоже умолкли. Она забралась в повозку; профиль ее был чист и точно ножом вырезан на фоне ярко-голубого неба. Именно эта чистота ее профиля больше всего и поразила людей. Может быть, голова Сэти была вздернута слишком высоко и гордо? Может быть. Иначе это пение

без слов началось бы сразу, едва она появилась в дверном проеме. Монотонная мелодия, точно плащ, окутала бы ее и поддержала, словно руки друга перед долгой дорогой. Однако люди ждали, пока повозка не скрылась за поворотом, удаляясь на запад, в город. И потом не слышно было ни единого слова. Только это монотонное пение. Но ни одного, ни единого слова.

Бэби Сагз хотела бежать, готова была скатиться по ступенькам крыльца вслед за повозкой, кричать, плакать. Нет, нет! Не позволяйте ей забирать и эту последнюю тоже! Ведь Сэти хотела это сделать и с нею. Уже почти сделала. Однако когда Бэби поднялась с пола и выбралась на двор, повозка уже была далеко. Зато к дому подъехала другая повозка. Оттуда выпрыгнули рыжеволосый мальчик и девочка с соломенными волосами и бросились к Бэби Сагз, проталкиваясь сквозь толпу. У мальчика в одной руке был наполовину обкусанный стручок сладкого перца, а в другой — пара сапог.

— Мама сказала, чтоб к среде. — Он держал сапоги за ушки. — Слышишь? Мама велела, чтоб ты их к среде починила.

Бэби Сагз посмотрела на него, потом взглянула на женщину, что придерживала кусавшую удила

лошадь.

— К среде, слышишь? Эй, Бэби Сагз? Ты слышишь? Она взяла у мальчика сапоги — высокие, с ушками и отворотами, даже не очищенные от грязи — и сказала:

— Прости меня, Господи, прости меня! Да, конечно, я сделаю к среде.

Уже скрылась из виду скрипучая повозка, только что проехавшая по Блустоун– роуд. Никто в ней не сказал ни слова. Повозка покачивалась, и младенец уснул. На жарком солнце платье Сэти высохло и затвердело, покрывшись коркой, и сама она была — точно окоченелый труп.

Это же не ее рот.

Кто-нибудь, кто, может, не знал ее раньше или мельком видел в ресторане через приоткрытую дверь, мог бы еще подумать, что лица у этих женщин похожи, но только не Поль Ди. Он знал лучше. О, конечно, кое-что знакомое — высокий лоб, какое-то спокойствие в лице — у этой женщины на фотографии было. Но вот уж рот точно был не ее, так он и сказал Штампу, который пристально смотрел на него.

— Да нет, знаешь, старик, что-то уж больно непохоже. Я Сэти хорошо знаю, не ее это рот. — Он разгладил газетную вырезку и разглядывал

фотографию, ничуть не волнуясь. По тому, как торжественно Штамп разворачивал газету, по той нежности, что таилась в пальцах старика, когда он разглаживал листок на сгибах, распрямлял его — сперва на коленях, а потом на досках, сложенных штабелем, Поль Ди догадался, что его слова сбивают Штампа с толку и что написанное в газете должно потрясать до глубины души.

Свиньи визжали за оградой. Весь день Поль Ди, Штамп и еще человек двадцать загоняли их наверх, на бойню. Несмотря на то, что фермеры– хлебопашцы теперь двинулись дальше на Запад, а Сент-Луис и Чикаго поглощали невероятное количество рабочей силы, Цинциннати по-прежнему считался среди жителей Огайо самым крупным портом для выгрузки и забоя свиней. Главной заботой здесь было получить живой груз, забить свиней и отправить туши вверх по реке, потому что северяне свинину обожают, просто жить без нее не могут. Зимой в течение месяца или около того любой бродяга мог получить на бойне работу, если способен был дышать невыносимой вонью и держаться на ногах по двенадцать часов подряд — то, чему Поль Ди был отлично обучен. Ну а сил ему пока было не занимать.

Жидкий свиной навоз стекал отовсюду, все, чего бы Поль Ди ни коснулся, было перемазано, особенно обувь, и Поль Ди, прекрасно зная это, работал с презрительной усмешкой на губах. Обычно, прежде чем идти домой, он оставлял свои башмаки и рабочую одежду в уголке, в сарае, а сам переобувался и переодевался в чистое. А потом шлепал по дороге, идущей посреди старого, как небеса, кладбища, где терзались тревогой мертвые индейцы майами, не знавшие покоя под землей, которой их укрыли. Над их головами бродили странные люди; прямо по их земляным одеялам прокладывались дороги, строились колодцы и дома, мешавшие им спать вечным сном. Разгневанные, ибо нарушили их покой, и — что гораздо хуже — осквернили святость земли, они роптали на берегах реки Ликинг, вздыхали в деревьях на Кэтрин-стрит и со стонами носились в воздухе над смердящими загонами для свиней. Поль Ди слышал их, но своей работы не бросал — что ни говори, а это была неплохая работа, особенно зимой, когда Цинциннати восстанавливал славу и статус столицы припортовых боен. Любовь к свинине превратилась в манию чуть ли не во всех крупных городах страны. Фермеры-свиноводы тратили немалые суммы, закупая лучший

корм, позволявший вырастить как можно больше хрюшек и продать их как можно дальше; и хрюшки уплывали все дальше и дальше от этих мест. Немцы, которых в южном Огайо было полно, привезли с собой и привили в этих местах отличнейшие способы обработки свинины. Груженные свиными тушами суда кишели в водах реки Огайо, а их капитаны отчаянно орали друг на друга, перекрывая визг множества живых свиней. То была самая обычная картина и самые обычные звуки на этой реке — такие же, как крики летящих над головами людей уток. Овец, коров и птицу тоже возили вверх и вниз по реке; негру стоило только показаться, как для него тут же находилось дело: резать, забивать, рубить на куски, обдирать шкуру, паковать ящики и прибегать для себя потроха.

В ста ярдах от вопящих свиней, перед загоном, расположенным в Западной Гавани, стояли двое мужчин. Полю Ди было теперь ясно, почему Штамп всю последнюю неделю не спускает с него глаз; почему медлит, когда наступает вечерняя разгрузка; почему поджидает его на каждом углу. Видимо, он давно уже решил показать ему этот клочок бумаги — газетную вырезку с фотографией женщины, действительно похожей на Сэти,

но с совершенно другим ртом. Нет, рот у этой женщины был совсем другой — ничего общего.

Поль Ди вытащил вырезку из-под ладони Штампа и поднес к глазам. Печатные буквы не говорили ему ровным счетом ничего, так что на текст он даже не смотрел. Он смотрел только на лицо, недоуменно качая головой. Нет. Все дело в этих губах. Нет — что бы там ни говорили эти черные черточки и точки; нет — что бы там ни хотел ему рассказать старый Штамп. Потому что с какой это стати, черт побери, помещать в газете физиономию какой-то негритянки, если сама история не связана со всем известной знаменитостью? Поль Ди всегда чувствовал в сердце страх, стоило ему увидеть в газете лицо негра, ведь фотографии негров печатали там не потому, что у кого-то из них, например, родился крупный и здоровый ребенок или человек выиграл состязания в беге. Фотография негра вряд ли появилась бы в газете, если бы этого человека убили, искалечили, сожгли, посадили в тюрьму, забили кнутом, засудили и сделали изгоем, изнасиловали или просто подвергли издевательствам, — такие газетные новости никому интересны не были. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее — что-нибудь такое, что привлечет внимание

белых, от чего они могут удивленно поцокать языком или даже вздохнуть. И уж конечно, трудно было бы отыскать о неграх такие новости, от которых у жителей Цинциннати перехватывало бы дыхание.

Так кто же была та женщина, чей рот явно не принадлежал Сэти, но глаза были почти такие же спокойные? И чья голова была так похоже повернута на горделивой шее — он безумно, до слез любил, когда она так поворачивала голову.

И он заявил Штампу:

— Это не ее рот. Я-то ее рот хорошо знаю, и этот вот — точно не ее.

Штамп и слова сказать не успел, а Поль Ди уже все отрицал, и даже когда Штампу удалось-таки вставить словечко, он только повторял это снова и снова. Нет, он прекрасно слышал старика, но чем больше тот рассказывал, тем более чужими казались ему губы на фотографии в газете.

Штамп начал свой рассказ с того праздника, который устроила Бэби Сагз, но потом прервал сам себя, вернувшись немного назад, чтобы поведать Полю Ди о ягодах — где они росли и что, черт побери, заставило их расти в таком ужасном месте.

— Они, видишь ли, желают, чтобы солнце их достать могло, а птицы — нет; там под кустами

змей полно, и птицы об этом знают; вот ягода и зреет себе спокойно — крупная и сладкая, и никто ее не тревожит, кроме меня, потому что в такие болота вряд ли кто еще сунется — кому охота в грязи барахтаться. Я, по правде сказать, тоже особого желания не испытывал. Да только на меня в тот день что-то нашло, и я решил непременно этой ягоды набрать. Ох и наказала же она меня, скажу я тебе! Пока я сквозь чащу продирался, на мне прямо-таки живого места не осталось. И все-таки два ведра я набрать умудрился. И принес их прямехонько Бэби Сагз, в дом номер сто двадцать четыре. Вот с этих ягод-то все и началось. Таких кушаний ты небось ни разу в жизни не пробовал! Мы напекли, нажарили и натушили всего, что только Богу было угодно послать на нашу землю. Все приглашенные пришли. Все наелись до отвала. Наготовили столько, что на следующий день даже щепки на растопку не нашлось. Ну я и вызвался дров наколоть. Так что утром зашел к ним, как и обещал.

— Но это же не ее рот, — сказал Поль Ди. — Это же совсем не ее губы!

Штамп внимательно посмотрел на него. Он уже собирался рассказать, какой беспокойной была Бэби Сагз в то утро, как ей все что-то чудилось,

как она все к чему-то прислушивалась, как все что-то высматривала за кукурузной делянкой у ручья, так что и сам он в конце концов тоже стал смотреть в ту сторону. И потом, рубя дрова, все время поглядывал туда, куда смотрела Бэби Сагз. Именно поэтому они оба и пропустили их: они-то смотрели в сторону ручья — а эти подъехали со стороны дороги. Четверо их было. Ехали рядышком, словно привязанные друг к другу, и прямо-таки горели праведным гневом. Штамп хотел непременно рассказать об этом: он считал особенно важным то, почему они с Бэби Сагз прозевали тех всадников. И о празднике он тоже рассказать хотел, потому что именно из-за него никто не прибежал сам и не послал своего быстроногого сынишку прямиком через поле, когда люди заметили четырех лошадей, пивших воду у колодца, и всадников, которые задавали разные вопросы. Ни Элла, ни Джон и никто другой не прибежали к соседям на Блустоун-роуд и не предупредили их, что какие-то белые явились в город и кого-то ищут. И что белые горят праведным гневом. Умение отличать этот взгляд белых людей каждый негр впитывал с молоком матери. Они все равно что свой флаг вывешивали, так что известия о праведном гневе разносились

мгновенно, ибо это грозило костром, кнутом, кулаками и заведомой ложью еще до того, как случившееся становилось достоянием общественности. Никто не предупредил их, и Штамп всегда считал, что это произошло не из-за того, что они все так обожрались накануне и отупели; нет, причина была совсем другая — низость, зависть, наверно; вот они и решили отступить в сторонку, как бы не обратить внимания, уверяя себя, что кто-то другой, наверно, уже сообщил обо всем обитателям дома на Блустоун-роуд, где вот уже почти целый месяц жила одна хорошенькая женщина. Молодая и ловкая, с четырьмя детьми, одного из которых родила в пути за день до того, как добралась сюда. И теперь эта женщина пользовалась любовью и щедростью Бэби Сагз, захватив ее большое старое сердце. А может, они просто хотели проверить, действительно ли Бэби Сагз такая особенная, святая, благословенная — в чем Господь им самим отказал. Штамп собирался сказать все это, но Поль Ди только смеялся и говорил:

— Нет уж! Не то. Может, тут, возле лба, и похоже на Сэти, да только рот– то совсем другой.

Так что Штампу не удалось рассказать ему, как Сэти налетела и схватила своих детишек,

точно ястреб на ветру; как лицо ее вдруг хищно заострилось, а руки стали похожи на когти; как она схватила детей в охапку и прижала к себе, а потом — одного на плечо, другого под мышку, третьего погоняя криками перед собой — бросилась в дровяной сарай; там было пусто, только солнечные лучи в воздухе играли да стружки валялись, а дров там не было. На тот пир весь запас дров израсходовали, потому он и пришел дрова рубить. Ничего там не было, в этом сарае, это он знал прекрасно — с утра пораньше сам туда заходил. Ничего — кроме солнечных лучей, стружек и лемеха. Да еще тот топор, который он взял, чтоб дрова рубить. И больше ничего. Нет, конечно, еще там ручная пила висела.

— Ты и забыл небось, что я-то ее давно знаю, — твердил между тем Поль Ди.

— Еще с Кентукки. Еще с тех пор, как она девушкой была. Я ведь с ней не два– три месяца знаком. Я ее давным-давно знаю. И точно могу тебе сказать: это не ее рот. Может, и похож, да только не ее.

Так что Штамп ничего ему не рассказал. А только вздохнул, склонился поближе к тому рту, что был не ее, и медленно прочитал вслух те слова, которые не мог прочесть сам Поль Ди. Но когда

он кончил читать, Поль Ди сказал еще горячее, чем прежде:

— Извини, Штамп, но это какая-то ошибка! Рот-то совсем не ее!

Штамп посмотрел Полю Ди прямо в глаза и увидел там такую убежденность и нежность, что и сам почти засомневался в том, что все это случилось в действительности восемнадцать лет назад, когда он и Бэби Сагз упорно смотрели не туда, куда нужно, а хорошенькая молодая рабыня завидела чью-то шляпу, бросилась в дровяной сарай и попыталась убить всех своих детей.

* * *

Она уже ползала, когда я добралась сюда. И недели не прошло, а ребенок, который только начал сам садиться и переворачиваться, уже вовсю ползал! Ужасно трудно было держать ее подальше от лестницы. Теперь-то малыши очень рано встают на ножки да ходить начинают, но двадцать лет назад, когда я сама молодой была, дети дольше оставались детьми. Ховард у меня до девяти месяцев головку не держал. Бэби Сагз говорила, что это из-за питания. Знаешь, когда нечего дать ребенку, кроме собственного молока, они не так быстро развиваются. А я только

молоком и кормила. Я считала, что зубки у них прорезываются потому, что им твердое жевать пора. И спросить-то не у кого. Миссис Гарнер бездетная, а других женщин на ферме не было.

Она все кружила и кружила по комнате. Мимо буфета, мимо окна, мимо входной двери, мимо второго окна, мимо обеденного стола, мимо двери в гостиную, мимо пустой раковины для мытья посуды, мимо плиты — и снова мимо буфета. Поль Ди сидел за столом и смотрел, как она то появляется в его поле зрения, то исчезает у него за спиной, совершая круги, как медленно вращающееся, но не останавливающееся ни на миг колесо. Порой она складывала руки за спиной, или зажимала ими уши, или прикрывала ладонью рот, или скрещивала руки на груди, или обнимала себя за плечи. Иногда, оборачиваясь к нему, она даже подбоченивалась, но движения по кругу не прекращала.

— Помнишь тетушку Филлис? Из Минноувилла? Мистер Гарнер кого-то из вас посылал за ней, чтоб приняла очередного моего ребенка. Я ее только в эти дни и видела. Много раз мне хотелось сходить к ней. Просто поговорить. Я все собиралась попросить миссис Гарнер отпустить меня в Минноувилл и, когда она сама поедет туда

на воскресную службу, захватить меня на обратном пути. Я думаю, она бы разрешила мне. Но я так никогда ее об этом и не попросила, потому что воскресенье было единственным днем, когда мы с Халле могли быть вместе и видеть друг друга при солнечном свете. Так что мне там не с кем было поговорить насчет детей — понимаешь, насчет того, когда ребенку пора давать что-нибудь погрызть.

Может, тогда и зубки начинают прорезываться? Или стоит подождать, пока они вылезут, а уж потом давать твердую пищу? Ну что ж, теперь я это знаю, потому что Бэби Сагз кормила девочку правильно, и меньше чем через неделю, когда я добралась туда, малышка уже ползала. И ничто не могло ее остановить. Она так любила эту лестницу, что мы ее покрасили белой краской, чтоб ей было видно, где самая верхняя ступенька.

И Сэти улыбнулась, вспомнив об этом. Улыбка сломалась пополам, лицо ее исказилось, словно ей не хватало воздуха, но она даже не вздрогнула и глаз не закрыла, а продолжала кружить по комнате.

— Жаль, что я тогда многого не знала, но я ведь уже сказала, мне просто не с кем было посоветоваться. Ни одной матери рядом не было.

Приходилось припоминать то, что я видела когда-то, до Милого Дома. Как те женщины своих детей нянчили. О, они-то об этом все на свете знали! Как, например, сделать ту корзинку, в которой можно подвесить ребенка под деревом — и видно хорошо, когда в поле работаешь, и безопасно. И еще — какие листья нужно давать жевать детям. Вроде бы мяту или лавровый лист? А может, окопник? Я так и не научилась у них плести эти корзинки, мне-то они все равно не нужны были, потому что работала я только в амбаре и в доме; но я забыла, из чего они их делали и какие листочки детям давали. Я бы все это тоже могла использовать. Баглера, например, я привязывала, когда мы забитых свиней коптили. Всюду огонь горел, а мальчонка был шустрый, столько раз чуть не погиб, ужас. Один раз взял да и взобрался прямо на край колодца. Я птицей полетела — подхватила его как раз вовремя. Так что когда мы собирались свинину коптить и я знала, что не смогу за ним присмотреть, мне приходилось привязывать его веревкой за щиколотку. Чтобы он мог играть поблизости, но не подобрался к колодцу или к огню. Конечно, смотреть на привязанного ребенка радости мало, но я просто не представляла, что еще можно сде-

лать. Трудно, понимаешь? Трудно все время быть одной, когда нет рядом женщины, не с кем посоветоваться. Халле хотел мне помочь, но он ведь где только мог свой долг отрабатывал. А когда ему удавалось лишнюю минутку поспать, мне не хотелось своими вопросами его беспокоить. Больше всех мне помогал Сиксо. Не думаю, что ты это помнишь. Ховард как-то раз забрался в хлев, и корова — по-моему, это была Рыжая Кора — зажевала ему руку. Большой палец у него совсем вывернут был. Когда я его оттуда вытащила, она ему уже чуть напрочь палец не откусила. И до сих пор понять не могу, как мне удалось его отнять. А Сиксо услышал, как мальчик кричит, и бегом примчался. Знаешь, что он сделал? Вправил ему палец и привязал его через ладошку к мизинцу. Мне бы самой это никогда в голову не пришло. Он меня многому научил, наш Сиксо.

От ее слов у него закружилась голова. Сперва он подумал, что это потому, что она все время ходит кругами. Ходит и ходит вокруг него кругами, словно вокруг того, о чем поговорить хочет. Кругами, кругами, все в одном и том же направлении; если б она хоть направление сменила, может, у него голова бы и не закружилась. Но потом он решил: нет, виноват ее голос — слишком близко от него

звучит. Она совершала круги ярдах в трех от того места, где он сидел, но ему казалось, что она, как ребенок, шепчет ему в самое ухо и сидит так близко, что почти чувствуешь, как шевелятся ее губы, выговаривая слова, но сами слова расслышать трудно, потому что губы слишком близко от уха. Он слышал и воспринимал только отдельные места, и это было даже хорошо, потому что она так и не добралась до главного: до ответа на вопрос, который он так прямо не задал, но который явствовал из той газетной вырезки, которую он ей показал. И еще — из его улыбки. Ведь он так улыбнулся, протягивая ей газетную вырезку: надо же, перепутали ее лицо с чьим-то другим, — что она и сама рассмеялась, словно шутке. Он уже приготовился посмеяться с нею вместе.

— Ты представляешь? — скажет он. — Нет, старый Штамп просто спятил! — И она прыснет в ответ. — Совсем спятил.

Но его улыбка так и застыла, будто повисла в воздухе, неуверенная и одинокая, пока Сэти изучала газетную вырезку, а потом отдала ее ему обратно.

Может, из-за его улыбки, а может, из-за той готовности любить, которую она видела в его глазах, — с такой доверчивой и открытой любо-

вью смотрят на тебя жеребята, странствующие проповедники и дети; такую любовь нет необходимости заслуживать — она дается даром, и вот из-за этой любви Сэти все-таки сделала первый шаг и рассказала ему то, о чем не говорила даже Бэби Сагз, единственному человеку, которому доверяла бесконечно. Иначе она просто повторила бы то, что написано в газете, и больше не прибавила бы ни слова. Сэти умела прочесть только семьдесят пять печатных слов (половину из тех, что были в той газетной вырезке), но знала, что те печатные слова, которые она не понимала, вряд ли имели такую же силу, как ее собственные. Дело было в его улыбке, в его любви; только это и заставило ее попытаться объяснить что-то.

— Мне не нужно рассказывать тебе о Милом Доме и о том, как там все было, но, может быть, ты не знаешь, что значило для меня убежать оттуда.

Прикрыв нижнюю половину лица ладонями, она помолчала, пытаясь снова ощутить чудо своего освобождения, его вкус.

— Я это сделала! Я всю семью свою вытащила оттуда. И даже без помощи Халле. Это было первое настоящее дело, которое я сделала сама. Я решилась. И все вышло точно так, как и было

задумано. Мы все оказались на другом берегу. Все мои дети и я. Я их родила, я их перетащила на другой берег. Я сама. Мне, конечно, помогали, многие помогали, но все-таки сделала это я; это я командовала себе: давай, пора. Я была осторожной и думала своей головой, что было очень приятно. Но еще приятнее оказалось то, что называют себялюбием, — я об этом раньше и не подозревала. Да, это оказалось приятно и правильно. Я была такой большой, Поль Ди, и глубокой, и широкой, и, когда я раскидывала руки, все мои дети могли там укрыться. Вот какой я была огромной. Похоже, я полюбила своих детей куда сильнее, когда добралась сюда. А может, там, в Кентукки, я просто не могла любить их так, как надо, потому что они были как бы не совсем мои. Но когда я добралась сюда, когда выпрыгнула на землю из повозки — не было в мире человека, которого я не смогла бы полюбить, если захочу. Понимаешь, о чем я?

Поль Ди не ответил, да она и не ожидала, даже не хотела, чтобы он ответил, но он прекрасно понимал ее. Когда он слушал голубей в Альфреде, штат Джорджия, и не имел ни права, ни дозволения радоваться их воркованию, потому что все — туман, голуби, солнечный свет, жидкая

красная глина, луна — принадлежало тем людям, у которых были ружья. Кое-кто из них был маленького роста, другие высокие, но любого он, Поль Ди, мог бы сломать, как хворостинку. Те мужчины, считавшие, что мужественность их заключается в оружии, отлично понимали, что без их ружей любая лиса в кустах только посмеется над ними. И эти, с позволения сказать «мужчины», над которыми даже лисы и беззубые старухи смеялись, могли при желании запретить тебе слушать голубей или наслаждаться лунным светом. Так что приходилось как-то защищаться, любить тайком и что-нибудь самое маленькое. Выбирать самые крошечные звезды на небе и считать, что они твои; лежать на боку, вытянув шею, чтобы перед сном за краем канавы увидеть ту звездочку, которую любишь. Украдкой поглядывать на нее, мерцающую между деревьями, когда тебя приковывают к общей цепи. Оставались еще стебли травы, саламандры, пауки, дятлы, жуки, муравьиное царство. Что-либо большее не годилось. Женщина, ребенок, брат — такая любовь вполне могла расколоть тебя надвое в Альфреде, штат Джорджия. Он прекрасно понимал, что Сэти имела в виду: попасть туда, где можно любить все, что пожелаешь, где не нужно

просить разрешения. Что ж, может быть, именно это и называется свободой?

Кругами, кругами, теперь она кругами ходила вокруг другой темы, отступаясь от той, самой главной.

— Был у меня кусок хорошей ткани, который мне миссис Гарнер дала. Ситец. Полосатый такой, а между полосками — маленькие цветочки. Небольшой, около ярда — разве что на головной платок хватило бы. Но я ужасно хотела сшить из него своей девочке нарядное платьице. Расцветка у него была уж больно веселая. Я даже не знаю, как этот цвет называется: такой розовый, но вроде в него еще и желтого чуточку добавлено. Я давно уже мечтала что-нибудь ей сшить из этого ситца и, представляешь, по глупости забыла его там! Господи, кусочек-то всего около ярда, а я все откладывала — то уставала очень, то у меня времени не было. Так что когда я добралась сюда, то первым делом, даже еще до того, как мне позволили с постели встать, я сшила малышке платьице из той материи, что у Бэби Сагз нашлась. Знаешь, все, что я сейчас говорю,

— это о том, какая я тогда была эгоистка и какая счастливая. Я такого счастья никогда прежде не испытывала. И я не могла допустить, чтобы все

это у меня отняли, чтобы моя малышка или кто-то из моих детей жил под властью того учителя. Нет, ни за что! Это было уже невозможно. Сэти понимала, что тот круг, по которому она все ходила — мимо Поля Ди, мимо самого главного его вопроса, — все равно останется кругом. Что она все равно придет в ту же точку. И если люди не смогли понять ее поступок сразу — то она никогда уже не сможет объяснить его как следует. Потому что правда была предельно проста; это вовсе не было цепью сложных уловок, ловушек, проявлений ее эгоизма и тому подобного. Нет, все было просто: она сидела на корточках среди грядок и, увидев, что они идут, узнав шляпу этого учителя, сразу услышала шум крыльев. Это маленькие колибри воткнули свои клювы-иголки ей в голову — сквозь платок, сквозь волосы — и разом захлопали крыльями. И если у нее в голове и возникла какая-то мысль, то это было: Нет! Нет. Нетнет. Нетнетнет. Да, все очень просто. Она побежала. Собрала все живое, что сама произвела на свет, самое драгоценное, что у нее было, самое чистое и прекрасное, подхватила все это и понесла, поволокла сквозь какую-то дымку прочь, подальше, туда, где никто не сможет причинить им вреда, сделать им больно. Далеко, туда, где они будут в

безопасности. А колибри все продолжали бить крыльями… Сэти на мгновение приостановила свое круговое движение и выглянула в окно. Она помнила те времена, когда этот двор был обнесен изгородью с калиткой, которую вечно кто-то запирал и отпирал, когда дом номер 124 был полон суеты, служа пересадочной станцией. Она не видела тех белых мальчишек, что повалили изгородь, поломали столбы и калитку, оставив дом номер 124 разоренным и открытым всем и каждому; именно тогда все перестали останавливаться возле него и заходить «на минутку». Огромные сорняки заполонили двор, наступая с обочин Блустоун-роуд, и окружали теперь их дом.

Когда она вернулась из тюрьмы, то была рада, что ограды больше нет. Нет столбов, к которым они привязали своих лошадей, когда она, сидя в огороде на корточках, увидела проплывшую над забором шляпу учителя. А потом, когда она наконец повернулась к нему лицом и посмотрела ему прямо в глаза, она уже что-то держала в руках, и это остановило его; он даже отшатнулся. И все отступал и отступал назад каждый раз, как вздрагивало сердце ее девочки, пока совсем не перестало биться.

— Я остановила его, — сказала она, глядя туда,

где раньше была изгородь.

— Я взяла своих детей и отправила их туда, где они будут в безопасности.

Рев, поднявшийся в голове у Поля Ди, не помешал ему расслышать, с какой гордостью прозвучали эти слова, и ему подумалось, что в доме номер 124 отсутствует как раз то, чего Сэти так хотела для своих детей: здесь ни секунды не чувствуешь себя в безопасности. Это было самое первое ощущение, когда он переступил порог ее дома. Он считал, что сделал его безопасным, избавил от грозившего ему злого духа, выгнал эту нечисть и доказал всем, кто здесь настоящий хозяин. И раз уж Сэти сама не сделала этого раньше, он постарался устроить так, чтобы в доме поселилась ее собственная душа; он считал, что сама она почему-то не может этого сделать. Что она всегда жила в этом доме с какой-то беспомощной, извиняющейся покорностью; ведь выбора у нее не было: без мужа, без сыновей, без свекрови, с одной лишь туповатой дочерью, она просто вынуждена была как-то приспособиться, чтобы выжить. Колючая, вредноглазая девчонка из Милого Дома, которую он знал как жену Халле, была такой же послушной, как Халле, такой же застенчивой и такой же самоотверженной в

работе. Он ошибался. Эта, теперешняя Сэти стала иной. И привидение в доме совсем ей не мешало; так некоторые люди приветствуют появление домовых, выставляя им новые башмаки. Эта, теперешняя Сэти говорила о любви как и любая другая женщина, говорила о детских одежках, как и любая другая женщина, но слова ее могли всю душу перекорежить. Эта, теперешняя Сэти говорила о спасении своих детей, держа в руках пилу. Эта, теперешняя Сэти распоряжалась собой и другими и не знала, где кончается ее власть. И он вдруг увидел то, что хотел показать ему Штамп: нечто более важное, чем сам поступок Сэти, — цель, которой она добивалась. И почувствовал страх.

— Любовь твоя слишком уж тяжела, — сказал он и подумал: а ведь эта ведьма сейчас смотрит на меня; сидит прямо надо мной на втором этаже и смотрит на меня сквозь пол.

— Слишком тяжела? — переспросила Сэти, думая о Поляне, где воззвания Бэби Сагз заставляли конские каштаны падать с деревьев. — Любовь или есть, или ее нет. Легкая любовь — это вообще не любовь.

— Да. Но ведь это тебе не помогло, верно? Разве я не прав? — спросил он.

— Помогло, — сказала она.

— Как? Твои сыновья ушли из дома, и ты не знаешь, где они. Одна твоя дочь мертва, другая со двора выйти боится. Как же тебе это помогло?

— Они не вернулись в Милый Дом. Этот учитель до них не добрался.

— Ну знаешь, бывает и похуже, чем в Милом Доме.

— Это не мое дело — знать, что хуже. Мое дело — знать, что плохо, и держать своих детей подальше от этого. Я спасла их от ужасной судьбы. Я поступила правильно.

— Нет, то, что ты сделала, было неправильно, Сэти.

— Значит, мне надо было снова вернуться туда? И снова отвезти туда своих детей?

— Был же, наверно, какой-нибудь другой выход. Не такой.

— А какой?

— У тебя же две ноги, Сэти, не четыре! — воскликнул Поль Ди, и в тот же миг между ними выросла темная лесная чаща — ни следов, ни единого звука.

Позже он удивлялся, как это он сказал такое. Может, из-за телок, с которыми он забавлялся в юности? Или из уверенности, что та ведьма смот-

рит на него сквозь пол? Как быстро он перестал стыдиться собственных поступков и начал испытывать стыд за нее, за Сэти. Как бы перепрыгнул через свою постыдную тайну, связанную с холодной кладовой, и возмутился ее слишком большой и тяжелой любовью.

А меж тем непроходимая чаща, разделявшая их, становилась все гуще.

Он не сразу надел свою шляпу. Сперва он покрутил ее в руках, решая, как бы получше это сделать, как просто уйти из этого дома, а не сбежать. И еще было очень важно уйти не оглядываясь. Он встал, повернулся и посмотрел на белые ступени. Она, конечно же, была там. Стояла, прямая как штырь, повернувшись к нему спиной. Он не бросился к двери. Он пошел медленно, отворил дверь и лишь потом попросил Сэти оставить ему что-нибудь на ужин: он, возможно, несколько припоздниться. И только тогда надел свою шляпу.

Очень мило, подумала она. Он, должно быть, решил, что мне не вынести, если он скажет правду вслух. Что после моего рассказа и после того, как он сосчитал, сколько у меня ног, слово «прощай» заставит меня сломаться. Ну разве это не мило с его стороны?

— Пока, — прошептала она ему с другого конца

выросшей между ними непроходимой лесной чащи.

ЧАСТЬ II

В 124-м было шумно. Штамп слышал это даже с дороги. Он шел к крыльцу, высоко подняв голову, чтобы никто, увидевший его, не мог сказать, что он ведет себя как трус или ябедник, хотя сам он в душе чувствовал себя именно трусом и ябедником. С тех пор как Штамп показал Полю Ди вырезку из газеты и узнал, что он в тот же день исчез из дома номер 124, ему было очень и очень не по себе. Выдержав долгий спор с самим собой, стоит ли говорить мужчине о том, что некогда натворила женщина, которую тот любит, и в конце концов убедив себя, что должен это сделать, Штамп начал тревожиться о Сэти. Неужели он помешал ей в кои-то веки испытать счастье с действительно хорошим человеком? А что, если эта потеря разбила ей жизнь? Что, если он, тот самый человек, который когда-то помог ей перебраться на другой берег Огайо и был ей таким же близким другом, как Бэби Сагз, влез куда не следует, оживив старые сплетни?

«Я слишком стар, — думал он, — и голова у меня варит уже плоховато. Я слишком стар и слиш-

ком много видел». На дворе бойни он улучил момент и поговорил с ним наедине; теперь он и сам не понимал, от кого хотел уберечься, ведь Поль Ди был единственным человеком в городе, который ничего не знал. Но почему то, что было написано в газете, стало такой тайной, что о ней можно было только шептаться с Полем Ди на дворе бойни? Тайной от кого? От Сэти, вот от кого! Он, Штамп, сделал это у нее за спиной, как трус, как доносчик Но ведь выяснять и выведывать было его, можно сказать, специальностью, его жизнью, да и занимался он этим ради ясной и святой цели. До Войны он только и делал, что выяснял и вынюхивал; прятал беглых негров в тайниках, поставлял всякие секретные сведения обществам по борьбе с рабством. Под его вполне законно выращенными овощами прятались в телеге чернокожие беглецы, которых он перевозил через реку. У него даже свиньи на бойне служили благородным целям. Целые семьи жили за счет тех костей и требухи, которыми он их снабжал. Он писал за беглых негров письма и читал им те послания, которые они получали. Он знал, у кого из них водянка и кому нужны дрова для печи; у кого дети умные и способные, а чьих детей надо бы малость подправить. Он знал все тайны реки

Огайо и ее берегов; знал, где стоят пустые дома и где дома переполнены; знал, кто лучше всех танцует и кто хуже всех говорит; знал тех, кто удивительно хорошо поет, и тех, кто не может ни одной ноты взять правильно. Успехами в любовных делах он уже похвалиться не мог, но помнил те времена, когда мужской силы ему вполне хватало, когда порой терял от любви рассудок, а потому он долго и мучительно думал, прежде чем открыть свою деревянную шкатулку и достать оттуда старую, восемнадцатилетней давности, газетную вырезку и показать ее Полю Ди.

И только потом задумался о чувствах Сэти. И то, что задумался он об этом слишком поздно, мучило его сейчас и заставляло ощущать себя трусом и предателем. Может, надо было ему оставить все как есть? Может, Сэти бы как– нибудь самой удалось все это рассказать Полю Ди? Может, и сам он, Штамп, вовсе не такой уж благородный? Тоже мне воин Христов нашелся! Так гордился собой, а оказалось, что он всего лишь обычный старый проныра, сующий нос в чужие дела. И вот пожалуйста: помешал складывавшимся отношениям двух людей, считая, что поступает правильно, желая предостеречь, да только лучше б он в это не совался. Теперь дом номер 124 снова стал таким,

каким был до того, как Поль Ди появился в городе: там жили вечно чем-то встревоженные Сэти и Денвер и кто-то еще, и все голоса обитателей этого дома можно было услышать еще с дороги. Даже если Сэти и способна была примириться с возвращением духа, то Штампу не верилось, что Денвер это по силам. Денвер необходим хоть один нормальный человек в доме. К счастью, Штамп был с нею рядом почти с самого ее рождения — еще до того, как она начала что-то понимать, — и никак не мог оставаться равнодушным к ее судьбе. Все помнили, как он — от радости, что видит ее такой хорошенькой и здоровой через четыре недели после прибытия в дом Бэби, — собрал в здешних местах чуть ли не всю ежевику и первым делом сунул ягоду прямо девочке в ротик, а потом уже передал плоды своих тяжких трудов ее бабке. До сегодняшнего дня он верил, что эти ягоды (из-за которых и решили тогда устроить пир, а потом ему пришлось колоть дрова в сарае Бэби Сагз) спасли Денвер от смерти. Ведь если бы он не колол у них во дворе дрова для плиты, Сэти непременно разбила бы девочке голову о стену сарая. Может, ему вообще стоило подумать прежде всего о Денвер, а не о Сэти, прежде чем показывать Полю Ди эту газетную вырезку, из-за

которой тот и сбежал потом из дома? Ведь Поль Ди был единственным нормальным человеком в жизни этой девочки с тех пор, как умерла Бэби Сагз. Вот что больше всего мучило Штампа в последние дни.

Но еще глубже и болезненней, чем запоздалое раскаяние и сочувствие, душу ему жгла, точно серебряный доллар в кармане дурака, память о Бэби Сагз — самой яркой звезде на его небосклоне. Именно память о ней и то справедливое и глубокое уважение, которое он к ней испытывал, заставляли его идти с высоко поднятой головой по двору дома номер 124, хотя он еще с дороги слышал доносившиеся оттуда голоса.

Он лишь раз заходил в тот дом после случившегося Несчастья (так он называл яростный ответ Сэти на применение закона о беглых неграх), для того только, чтобы вынести оттуда тело Бэби Сагз, святой. Когда он поднял ее на руки, она показалась ему похожей на молоденькую девушку, и он порадовался за нее — хорошо, что ей уже не нужно утруждать свою больную ногу, что наконец кто-то несет ее на руках. Если б она подождала еще немножко, то непременно и конец Войны увидела бы, ее краткие, вспышкой молнии сверкнувшие победы. Они могли бы отпраздновать

их вместе; могли бы пойти и послушать торжественные проповеди, что читались по этому поводу. А так Штамп ходил один из дома в дом, где праздновали окончание Войны, и пил то, что ему подносили. Но она так и не дождалась, и он отправился хоронить ее, чувствуя, что осиротел. Казалось, он понес большую утрату, чем ее родственники. Глаза Сэти и ее дочери в тот день были сухи. Сэти только попросила:

— Отнесите ее на Поляну, — и Штамп попытался это сделать, но ему не дали — из-за каких-то правил, изобретенных белыми насчет того, где должны покоиться мертвые.

И Бэби Сагз легла в землю рядом с малышкой, которой перерезали горло, — Штамп был не слишком уверен, что Бэби Сагз одобрила бы подобное соседство.

Поминки устроили во дворе — никто, кроме него, не пожелал даже войти в дом номер 124. Это было оскорбление, на которое Сэти тоже ответила оскорблением: отказалась присутствовать на службе, которую устроил преподобный отец Пайк, а сразу отправилась на кладбище, где тишина словно соперничала с ее собственной молчаливостью и замкнутостью, даже когда она потом стояла в стороне от других, истово певших

псалмы. Это оскорбительное поведение тоже имело свои последствия: оплакивавшие Бэби Сагз люди, вернувшись после похорон во двор дома номер 124, ели только то, что принесли сами, и не притронулись к угощению, приготовленному Сэти, а она, в свою очередь, не тронула их еду и запретила это Денвер. Так что Бэби Сагз, святая, объединявшая людей, посвятившая свою свободную жизнь восстановлению гармонии, ушла в мир иной под ужимки и кривлянье гордыни, страха, обид и злобы. Почти все соседи только и мечтали, чтобы «этой Сэти теперь хорошенько досталось». Ее возмутительное высокомерие, ее гордость и самоуверенность, ее независимость разжигали всеобщее негодование, и Штамп, который всегда отличался удивительной незлобивостью, подумывал даже, что, верно, и на него как-то подействовали злобные ожидания соседей, твердивших, что гордыня непременно ведет к падению. Скорее всего, поэтому он и не посчитался с чувствами Сэти или с нуждами Денвер, когда решил показать Полю Ди ту газетную вырезку.

Он не имел ни малейшего представления, что сделает или скажет, если Сэти сама откроет дверь и посмотрит ему в глаза. Ему очень хотелось предложить ей свою помощь — если ей нужна

хоть какая-нибудь помощь — или покорно принять ее гнев, если она гневается на него. Кроме того, он чувствовал, что виноват, и надеялся как-то исправить тот ущерб, который невольно нанес семье Бэби Сагз, например, изгнать духов, которые вновь поселились в доме номер 124, о чем свидетельствовали доносившиеся оттуда голоса. И конечно же, во всем он непременно будет полагаться на Иисуса Христа — особенно в борьбе с силами, которые хоть и древнее, но не сильнее Его.

Слов, доносившихся из дома номер 124, он разобрать не мог. Ему казалось, что какие-то люди говорили громко, настойчиво и все разом, так что понять, о чем они говорят, было совершенно невозможно. Нельзя сказать, чтобы речь их или интонации были совсем лишены смысла, но, видимо, они как-то не в том порядке произносили слова, и Штамп даже под страхом смертной казни не смог бы ни описать, ни уразуметь эти речи. Единственное, что он сумел разобрать, это слово «моя». Остальное по-прежнему было ему недоступно. И все-таки он пошел дальше. Когда он поднялся на крыльцо, голоса вдруг стихли, превратившись почти в шепот. Он даже помедлил у двери. Теперь он слышал негромкое прерывистое

бормотание — вроде тех невнятных возгласов, что свойственны женщинам, когда они уверены, что совершенно одни и никто не следит за их работой: недовольное цоканье языком, когда не удается вдеть нитку в иголку; тихий стон, когда на любимой разделочной доске появляется трещина; дружелюбная беседа с курами на дворе. Ничего ошеломляющего или злобного. Самая обычная беседа между женщинами и их повседневными заботами.

Штамп уже поднял было руку, чтобы постучать в дверь (в которую никогда прежде не стучал, она всегда была открыта — уж во всяком случае, для него), и не смог этого сделать. Право никогда не стучаться ни в одну дверь — только это он принимал в качестве платы за помощь от спасенных им беглых негров и на эту плату рассчитывал. Если Штамп принес тебе теплое пальто, долгожданное письмо, спас тебе жизнь или починил бочку для воды — то он мог беспрепятственно входить к тебе в дом, словно в свой собственный. Поскольку посещения Штампа всегда несли добро, его шаги или приветственный оклик за дверью всегда встречались радушно. И он предпочел не отказываться от этой единственной своей привилегии: опустил руку, сошел с крыльца и пошел прочь от

дома номер 124.

Он пробовал навестить Сэти и еще несколько раз; бродил по двору, где слышались громкие запальчивые голоса или невнятное бормотание, и останавливался у двери, пытаясь уяснить, как же ему все-таки вести себя. Шесть раз за шесть последующих дней он специально приходил сюда и пытался постучаться в дверь дома номер 124. Но холодность самого этого жеста, ощущение того, что у этих дверей он действительно чужой, подавляли его решительность. И он вновь и вновь возвращался назад по собственным следам, оставшимся в снегу, и вздыхал. Дух ревностен, но плоть слаба.

Пока Штамп решался зайти в дом номер 124 — исключительно в память о Бэби Сагз! — Сэти пыталась последовать совету своей свекрови: положить на землю и щит, и меч. Не просто принять ее совет к сведению, но действительно ему последовать.

Прошло четыре дня с тех пор, как Поль Ди сосчитал, сколько у нее ног. Сэти рылась в куче старых башмаков, разыскивая коньки, которые, как она была уверена, должны были там быть, и ругала себя за глупую доверчивость. Как легко она сдалась тогда там, у кухонной плиты, когда

Поль Ди поцеловал ее искалеченную спину! Неужели трудно было догадаться, что и он, конечно же, поведет себя в точности как и все остальные в городе, стоит ему узнать о ее поступке. Двадцать восемь дней у нее были настоящие подруги, у нее была настоящая свекровь, и все ее дети были при ней; двадцать восемь дней она занимала вполне достойное место среди соседей. Да, и настоящие соседи у нее тоже были! Но все это давно ушло и никогда не вернется. Никогда больше не будет танцев на Поляне и счастливых пирушек И горячих споров вокруг этого закона о поимке беглых рабов[8], о налоге на землю при поселении, о путях Господних, которые неисповедимы, и о скамьях для чернокожих в церкви; о борьбе с рабством и освобождении, о республиканцах, о Дреде Скотте[9], о праве на образование, о повозках с высокими колесами, где жили временные поселенцы, об организации

---

[8] Примечания: 8

В 1850 г. был принят закон, обязывающий власти северных штатов задерживать беглых рабов и возвращать их хозяевам.

[9] Примечания: 9

Имеется в виду судебный процесс по делу негра Дреда Скотта (1795—1858). Переселившись со своим хозяином на Север, то есть в пределы штатов, где рабство было запрещено, он на этом основании требовал своего освобождения. В 1857 г. после многолетнего процесса Верховный суд вынес решение, раб, взятый хозяином на свободные территории, остается рабом.

«Цветные женщины Делавэра» в штате Огайо и о других важных вещах, обсуждая которые, соседи часами просиживали у них в доме, топая ногами от возбуждения. И больше не будет радостного ожидания очередного номера «Норт стар» или новостей о поражении. Больше никто не вздохнет из-за очередного предательства и не станет бить в ладоши из-за маленькой победы.

Эти двадцать восемь счастливых дней сменились восемнадцатью годами всеобщего осуждения и одиночества. Потом несколько месяцев в ее дом вновь стало заглядывать солнышко, как то обещали взявшиеся за руки тени на дороге; порой слышались даже приветствия со стороны других цветных, особенно когда она была вместе с Полем Ди; было, наконец, с кем делить постель. И ничего этого больше нет. Осталась только подружка Денвер. Неужели мне так суждено, с горечью думала Сэти, неужели краткие счастливые передышки в ее нестерпимой жизни будут случаться лишь раз за восемнадцать — двадцать лет?

Что ж, раз суждено — значит, так тому и быть.

Она на коленях скребла пол щеткой, а Денвер ползла за ней следом, тряпкой убирая грязную воду, когда появилась Бел и спросила:

— А это зачем?

Сэти, по-прежнему стоя на коленях и не выпуская из рук щетки, подняла голову и увидела в руках у Бел коньки. Сама она кататься на коньках совсем не умела, но в эту минуту твердо решила последовать совету Бэби Сагз: сложить оружие. Она бросила щетку, оставила ведро с грязной водой посреди комнаты, велела Денвер притащить шали и принялась судорожно искать вторую пару коньков — она была уверена, что в куче обуви найдется и вторая пара. Если бы кто-нибудь, включая Поля Ди, из жалости или из любопытства заглянул в окно и увидел, что она делает, то непременно решил бы, что эта женщина в третий раз сошла с ума, потому что слишком любит своих детей: она явно была счастлива и собиралась кататься на коньках по льду замерзшего ручья. Поспешно, небрежно она расшвыривала башмаки. Наконец выудила из кучи один конек — мужской.

— Что ж, — сказала она. — Будем кататься по очереди. Одна на двух коньках; вторая — на одном; а третья — на собственных подошвах.

Никто не видел, как они падали.

Держась за руки, обнимая друг друга, они кружились по льду замерзшего ручья. На Бел были два одинаковых конька; на Денвер — один, муж-

ской, и она, отталкиваясь одной ногой, неуверенно скользила по неровному льду. Сэти решила, что башмаки надежнее; в крайнем случае, послужат чем-то вроде якоря, но здорово ошиблась. Только ступив на лед, она тут же потеряла равновесие и шлепнулась на задницу. Девушки, визжа от смеха, бросились к ней на помощь и тут же шлепнулись сами. Сэти с трудом встала, обнаружив, что на льду не только кости переломать можно, но и что падать вообще очень больно. А падала она в самых неожиданных местах, и так же неожиданно звучал ее смех. Цепляясь друг за друга, они и минуты не могли на ногах удержаться, но никто не видел, как они падали.

Казалось, каждая пытается помочь другой, и странно, что третья все-таки падала, когда две стояли более или менее устойчиво. Но каждое очередное падение только усиливало их восторг. Могучий дуб и шелестящая зелеными ветвями сосна на берегу скрывали их от посторонних глаз и заглушали их смех, когда они тщетно пытались преодолеть земное притяжение, помогая друг другу. Юбки их развевались, как крылья, руки и носы посинели от холода. Близился вечер.

Никто не видел, как они падали.

Вымотавшись вконец, они легли на спину, что-

бы отдышаться. Небо над ними было точно иная страна. Ранние зимние звезды, которые стали видны еще до захода солнца, висели так низко, что казалось, их можно было лизнуть языком. На какое-то мгновение Сэти почувствовала, глядя в небо, что душа ее открылась и в нее входят мир и покой. Первой встала Денвер. Она попыталась как следует разбежаться и прокатиться в одиночку. Однако ее единственный конек тут же налетел на ледяную колдобину, она свалилась, беспомощно и нелепо хлопая руками, и все трое — Сэти, Бел и сама Денвер — смеялись так, что даже закашлялись. Сэти встала на четвереньки, все еще содрогаясь от смеха; из глаз у нее текли слезы. Некоторое время она еще постояла так — на четырех ногах. Потом ее смех стих, однако слезы продолжали катиться по щекам. Бел и Денвер не сразу и догадались, что здесь что-то не то. А потом слегка погладили ее по плечу.

Возвращаясь назад через лес, Сэти обнимала обеих девушек за плечи. Они же обе обнимали ее за талию. Оскальзываясь, держась друг за друга, они брели по жесткому снегу, но никто не видел, как они падали.

Только придя домой, они поняли, как сильно замерзли. Они сняли башмаки и мокрые чулки;

натянули сухие, теплые, шерстяные. Денвер подбросила дров в печь. Сэти поставила на плиту кастрюльку молока и добавила в него сока сахарного тростника и ванили. Завернувшись в стеганые и шерстяные одеяла, усевшись прямо перед плитой на пол, они прихлебывали горячее молоко и вытирали оттаявшие носы.

— Можно было бы картошки поджарить… — мечтательно сказала Денвер.

— Завтра, — сказала Сэти. — А сейчас спать пора. Она налила девочкам еще горячего сладкого молока. Огонь в печи ревел.

— У тебя из глаз уже ничего не течет? — спросила Бел.

Сэти улыбнулась:

— Нет, уже ничего. Пей-ка да спать ложись.

Но никому не хотелось вылезать из-под теплых одеял, расставаться с натопленной печкой и горячим молоком и отправляться наверх, в ледяную непрогре-тую постель. И они продолжали сидеть на полу у печи, прихлебывая маленькими глотками молоко и глядя в огонь.

Когда что-то щелкнуло, Сэти не сразу поняла, в чем дело. Потом ей стало ясно: кто-то щелкал пальцами, отбивая такт; стало ясно еще до того, как она успела различить первые три ноты зна-

комой мелодии. Чуть наклонившись вперед, Бел тихонько напевала.

И только когда она умолкла, Сэти вспомнила, что этот щелчок пальцами был задуман ею самой — заполнять паузы в определенных местах песенки, которую она, Сэти, сочинила когда-то давно. Молоко она не разлила, рука ее не задрожала. Она просто повернула голову и внимательно посмотрела на профиль Возлюбленной, изучая ее подбородок, рот, нос, лоб, повторенные на стене в виде огромной тени, отбрасываемой пламенем очага. Волосы Бел, заплетенные Денвер то ли в двадцать, то ли в тридцать косичек, спускались ей на плечи, как пальцы. Со своего места Сэти, правда, не могла как следует рассмотреть ни ее бровей, ни губ, ни…

«Все, что я помню, — говорила когда-то Бэби Сагз о своей дочке, — это как она любила подгорелую хлебную корку. А ее маленьких ручек я уж не смогу узнать, даже если она даст мне пощечину».

…родинки на лице, ни какого цвета ее десны; под волосами не видно было формы ее ушей, ни…

«Вот. Смотри сюда. Это твоя мать. Если не сможешь когда-нибудь узнать меня в лицо, то

посмотри сюда».

…ни пальцев, ни ногтей на пальцах, ни даже…

Но миг, когда она сможет все это разглядеть, непременно наступит. Щелчок уже прозвучал; все встало на свои места, точнее — замерло в воздухе, готовое скользнуть в родное гнездо.

— Эту песню придумала я, — сказала Сэти. — Я сама. И пела ее моим детям. Никто больше этой песни не знает — кроме меня и моих детей.

Возлюбленная повернулась и посмотрела на Сэти.

— Я ее знаю, — сказала она.

Прочно заколоченный большими гвоздями бочонок, в котором покоится драгоценный клад, сперва следует хорошенько рассмотреть, когда обнаружишь его случайно в дупле старого дерева, налюбоваться им, а уж потом открывать. Может, у него и замок-то давно сгнил и отвалился, так что открыть ничего не стоит, и все-таки следует пощупать шляпки гвоздей, попытаться определить вес бочонка. И ни в коем случае не орудовать топором, когда аккуратно извлечешь его из того тайника, в который он был запрятан давным-давно. И не нужно восторженно вскрикивать, когда тебе откроется это чудо, потому что самое чудесное во всем этом — то, что ты знал:

все это время клад лежал там и ждал тебя.

Сэти протерла чистой тряпкой сковороду, поставила ее на место, принесла из гостиной подушки и дала их девушкам. Ровным голосом она сказала им, что ночью нужно постоянно подбрасывать в плиту дрова, а если этого делать не захочется, то лучше подняться и лечь в постель.

Потом накинула на плечи одеяло и поднялась по снежно-белым ступеням лестницы, как невеста в фате. Снег во дворе затянуло коркой льда, и высились причудливые сугробы. Покой зимних звезд казался вечным.

Нащупывая в кармане ленточку и чувствуя запах девичьей кожи, Штамп снова подходил к дому номер 124.

«Устал я до мозга костей. Говорят, продрог до мозга костей, а я вот — устал. Всю жизнь у меня от усталости кости ломило, а теперь она забралась внутрь. Вот я до мозга костей и устал. Должно быть, так чувствовала себя Бэби Сагз, — думал Штамп, — когда легла и до последнего дня думала только о ярких красках». Когда Бэби сказала ему, чего хочет больше всего, он решил: ей просто стыдно, но еще стыдней — признаться в том, что ей стыдно. Ее авторитет среди прихожан, ее пляски на Поляне, ее страстные призывы

(нет, это были не проповеди, как в настоящей церкви, — она всегда считала, что слишком невежественна для настоящих проповедей, она просто призывала людей к чему-то, и люди это слышали и слушались ее) — все это было осмеяно и отвергнуто из-за той крови, что пролилась у нее в доме. Господь задал ей неразрешимую задачу, и ей было слишком стыдно за Него. Потому-то она и сказала Штампу, что легла в постель, чтобы думать о цветах радуги. Он пытался отговорить ее. Сэти в это время находилась в тюрьме с грудным младенцем — тем, которого Штампу удалось тогда спасти. Сыновья Сэти крепко держались за руки во Дворе и ни за что не желали разлучаться. Знакомые и незнакомые люди заходили ненадолго, чтобы лишний разок послушать, как оно было, и вдруг Бэби объявила: хватит. Просто встала и ушла. К тому времени как Сэти освободили из тюрьмы, Бэби Сагз перебрала все оттенки голубого и подумывала о желтом.

Вначале Штамп от случая к случаю видел ее — то во дворе, то на дороге, когда она несла передачу в тюрьму или башмаки в город. Потом все реже и реже. Он считал, что в постель ее уложил стыд. Теперь же, через восемь лет после похорон Бэби, послуживших причиной ссоры, и через

восемнадцать лет после того Несчастья, он свое мнение переменил. Просто Бэби тоже устала до мозга костей, и спасибо еще ее сердцу, что она продержалась еще целых восемь лет, пока не встретилась наконец с тем цветом, который так страстно желала увидеть. Усталость атаковала Бэби Сагз так же бешено и внезапно, как и Штампа, однако у нее война с усталостью длилась долгие годы. Прожить шестьдесят лет, потерять всех своих детей, жизни которых, как и ее собственную жизнь, те люди сжевали и выплюнули, словно обглоданную рыбью кость; получить пять лет свободы — подарок ее последнего сына, выкупившего ее будущее за счет своего собственного, обменявшего ее годы жизни в рабстве на свои, чтобы хоть у нее-то будущее было, независимо от того, будет ли оно у него самого, — и потерять этого сына; обрести дочь и внучат — и увидеть, как дочь убивает своих детей (или пытается это сделать); быть принятой в общину свободных негров, любить их и быть ими любимой, давать и принимать советы, спорить и быть оспоренной, кормить и принимать угощение других — и потом стать отверженной в этой общине, стать изгоем — что ж, такое могло подкосить кого угодно, даже Бэби Сагз, святую.

— Слушай-ка, девушка, — говорил он ей, — как же ты могла забыть о Слове Божьем? Оно дано тебе, и ты должна нести его людям, что бы там с тобой ни случилось!

Они стояли на Ричмонд-стрит, по щиколотку утопая в опавших листьях. В нижних этажах просторных домов горели лампы, и из-за этого ранний вечер казался темнее, чем на самом деле. Пахло горящей листвой — всюду жгли костры. Совершенно случайно, точно так же, как только что заработал монетку на чай за передачу посылки, Штамп глянул через улицу и узнал в женщине с подпрыгивающей походкой своего дорогого старого друга. Он уже много недель не видел Бэби Сагз и бросился к ней, шаркая ногами по красным опавшим листьям. Услышав приветствие Штампа, она остановилась и ответила ему, однако лицо ее осталось равнодушным. Ничего оно не выражало — точно пустая тарелка. Держа в руке ковровый саквояж, полный обуви, она ждала, чтобы он начал беседу первым. Если бы в ее глазах таилась печаль, это ему, конечно же, было бы понятно; однако вместо печали там прочно поселилось равнодушие.

— Ты уже три субботы подряд на Поляну не приходишь, — сказал он.

Она молча отвернулась, с преувеличенным вниманием рассматривая дома на улице.

— Люди приходили! — сказал он.

— Что ж, люди приходят и уходят, — откликнулась она.

— Давай-ка я тебе сумку поднесу. — Он попытался взять у нее саквояж с обувью, но она не позволила.

— Мне на этой улице заказ отдать нужно. Давно пора было, — сказала она. — Фамилия их Такер.

— Это вон там, — сказал он. — Где каштаны-близнецы во дворе растут. Старые уже, с дуплами.

Они немного прошли рядом. Чтобы идти с ней в ногу, он нарочно замедлял шаг.

— Ну так что?

— Что — что?

— Суббота скоро. Ты народ созывать собираешься или нет?

— Ну, созову я их, придут они, и что же я им скажу, господи ты боже мой?

— Скажи им Слово Божье! — Он слишком поздно заметил, что уже кричит. Двое белых мужчин, сжигавших листья, разом повернули головы в их сторону. Наклонившись, он прошептал ей в самое ухо: — Слово Божье, Бэби. Скажи им Слово

Божье.

— И это тоже у меня отнято, — сказала она, и он тут же принялся ее убеждать, умолял не бросать людей, не прекращать своих проповедей — ну, не проповедей, так не важно чего, но нести людям Слово Божье, ибо Оно дано ей и служить людям она обязана. Обязана!

Они дошли до каштанов-двойняшек и того белого дома, что прятался за ними.

— Ты понимаешь, что я хочу сказать? — продолжал он. — Большим, старым деревьям вроде этих даже и вместе никогда не зазеленеть так, как молодая березка.

— Я отлично все понимаю, — сказала она и двинулась к белому дому.

— Ты должна это сделать, — сказал он, догоняя ее. — Должна! Никто, кроме тебя, не может созвать людей на молитву. Ты должна прийти на Поляну.

— Я должна сделать только одно: добраться до постели и лечь. А потом я хочу думать о чем-нибудь совершенно безвредном. Безобидном.

— О чем ты говоришь? В этом мире ничего безвредного и безобидного нет.

— Есть. Голубой цвет. Он совершенно безобиден и никому не причиняет вреда. Желтый тоже.

— И ты хочешь лечь и думать только о желтом цвете?

— Мне нравится желтый.

— А дальше-то что? Ну, надоест тебе думать о голубом и желтом, тогда что?

— Пока не знаю. Чего заранее гадать.

— Ты винишь Господа! — сказал он. — Вот что ты делаешь.

— Нет, Штамп, не виню.

— Так ты говоришь, белые победили? Значит, ты так считаешь?

— Я говорю, что они явились в мой дом.

— И ты считаешь, что теперь все не имеет смысла?

— Я говорю только, что они явились в мой дом.

— Это ведь Сэти сотворила такое.

— А если бы она ничего такого не сотворила?

— Ты считаешь, что Господь отвернулся от нас? И нам ничего не остается, кроме как зря проливать собственную кровь?

— Я говорю только, что они явились в мой дом.

— Ты готова наказать Его, верно?

— Не так, как Он наказывает меня.

— Ты не можешь так поступать, Бэби! Это неправильно.

— Было такое время, когда я понимала, что это

значит.

— Ты и сейчас понимаешь.

— Я понимаю только то, что вижу сама: старая негритянка разносит обувь белым заказчикам.

— Ох, Бэби! — Он облизнул губы в поисках слов, которые способны были бы заставить ее думать иначе, могли бы как-то облегчить ее бремя. — Надо выдержать, и надо терпеть. «Все проходит». Чего ты ждешь, чего ищешь? Чуда?

— Нет, — сказала она. — Я ищу то, за чем притащилась сюда: заработок, который мне выдадут с черного хода, — и она направилась к дому. В дом ее, естественно, не пустили. Взяли у нее обувь, а она стояла на крыльце, опершись больным бедром о перила и давая ему отдых, и ждала, когда белая женщина принесет ей полагающиеся десять центов.

Штамп решил идти домой другой дорогой. Он был слишком рассержен, чтобы возвращаться с ней вместе и слушать подобные ответы. Какое-то время он еще понаблюдал за Бэби, потом резко повернулся и ушел, пока встревоженный его присутствием во дворе белый сосед не сделал какого-нибудь неутешительного вывода на сей счет.

Теперь, уже в который раз пытаясь попасть в

дом номер 124, Штамп сожалел о том разговоре с Бэби: слишком он был резок; не замечал, не хотел замечать ту глубокую, до мозга костей пронизывающую усталость, которая сломала эту несгибаемую женщину. Сейчас — увы, слишком поздно! — он ее наконец понял. Ее великое сердце, источавшее любовь к людям, ее уста, несшие Слово Божье,

— все это значения не имело. Они все-таки явились к ней в дом, и теперь она не могла ни одобрить, ни осудить страшного выбора Сэти. Он или Сэти могли бы спасти ее, однако лишь мучили своими требованиями, и она просто легла в постель и отказалась жить дальше. Белые, явившись в ее дом, отняли у нее последние силы.

А он что может сказать? 1874 год на дворе, а белые по-прежнему не знают удержу. Есть города, где негров истребили подчистую; только в Кентукки за один год было восемьдесят семь случаев линчевания; четыре школы для цветных сожжены дотла; взрослых людей секут кнутом, точно малых детей, а малых детей — как взрослых; чернокожих женщин насилуют всей толпой; у негров отнимают нажитое; ломают шеи… Он чувствовал запах девичьей кожи, кожи и горячей крови. Еще страшнее — кровь, запекшаяся на

костре Линча. Жуткий запах. И вообще — кругом воняло чудовищно. Смердело. Вонь исходила от страниц газеты «Норт стар», из уст свидетелей, от писем доносчиков, от множества документов и петиций, с бесконечными «ввиду» и «принимая во внимание», посылаемых любому представителю законной власти, лишь бы тот согласился их прочесть. Но отнюдь не это изнурило его, вытянуло из него все соки. Нет. Та самая ленточка. Привязывая как-то свою плоскодонку на берегу реки Ликинг и стараясь получше спрятать ее в кустах, он вдруг заметил на дне лодки что-то красное и решил: должно быть, перышко птицы кардинала к доскам прилипло. Протянул руку, и в ней оказалась красная ленточка, которой была перевязана прядь мокрых вьющихся волос, выдранная прямо с кусочком скальпа. Он отвязал ленточку и сунул ее в карман, волосы упали в траву. По дороге домой он часто останавливался — нечем было дышать, голова кружилась. Он выжидал, чтобы немного рассеялся тот кошмар, и снова пускался в путь. Но уже через мгновение ему снова не хватало воздуха. Один раз он даже присел у чьей-то изгороди. Отдохнув, поднялся, но не успел сделать и шага, как обернулся назад и сказал мерзлым комкам глины на дороге и реке,

блестевшей вдали:

— Господи, что же это за люди такие? Скажи мне, Господи, кто они?

Когда он добрался до дому, то почувствовал такую усталость, что не мог даже съесть ужин, приготовленный сестрой и племянниками. Уселся на крыльце, просидел там до глубокой ночи и лег в постель только потому, что в голосе сестры, не раз окликавшей его, звучало беспокойство. Он хранил ту ленточку; запах девичьей кожи преследовал его; изнемогая от тяжких мыслей, он сосредоточился на словах Бэби Сагз, на ее желании отыскать в этом мире хоть что-нибудь безобидное и безвредное. Он надеялся, что она все-таки нашла успокоение — в голубом, в желтом, возможно, в зеленом цвете; только не в красном.

Тогда он не понимал ее, корил и уговаривал и теперь испытывал потребность как-нибудь дать ей знать, что и он тоже все понял, и как-то оправдаться перед нею и ее семейством. И он, невзирая на усталость до мозга костей и доносящиеся из дома номер 124 голоса, все-таки снова постучался в дверь. На сей раз, хотя он и разобрал-то не больше одного-единственного слова, ему показалось, он понял, кто это слово выкрикивает. Люди со

сломанными шеями, и те, чья кровь запеклась на кострах, и те чернокожие девушки, что теряли свои ленты вместе с выдранными прядями волос.

Господи, ну и рев!

Сэти пошла спать, улыбаясь и желая поскорее закрыть глаза, а потом мысленно распутать те доказательства, которые собирала уже давно, с нежностью вспоминая день и обстоятельства появления в их доме Возлюбленной и тот ее поцелуй на Поляне. Однако она сразу уснула и проснулась, по– прежнему улыбаясь, навстречу светлому снежному утру. В комнате было так холодно, что изо рта валил пар. Сэти минутку помедлила, набираясь мужества, потом отбросила одеяло и соскочила на ледяной пол. Впервые в жизни она опаздывала на работу.

Внизу девушки спали там же, где она оставила их вчера, только теперь они лежали спина к спине, плотно завернувшись в одеяла и уткнувшись носом в подушку. Полторы пары коньков валялись у порога, недосохшие чулки висели на гвозде за плитой.

Сэти заглянула Возлюбленной в лицо и улыбнулась. Тихо, осторожно она обошла своих девочек, чтобы разжечь огонь в плите. Сперва растопку

— бумагу, немного щепок, а уж когда разгорится, можно подбросить и дров. Она осторожно кормила огонь, пока он не набрался сил и не заплясал, точно дикий и могучий зверь. Когда она вышла на улицу, чтобы принести еще дров, то не заметила у крыльца уже полузанесенных снегом мужских следов. Поленницу за домом совсем замело. Сэти расчистила ее сверху и набрала полную охапку дров — столько, сколько могла унести. Она даже заглянула в пустой сарай и снова улыбнулась — тому, что больше ей не нужно будет помнить, — и подумала: «Она ведь даже не сердится на меня. Ничуточки не сердится».

Теперь ей стало ясно, что тени, державшиеся тогда за руки на дороге, были вовсе не Поль Ди, Денвер и она, Сэти. Это были они трое. Они трое, что вчера вечером держались друг за друга, катаясь на коньках; они трое, что потом прихлебывали из кружек горячее молоко с ванилью. И раз уж случилось так, что ее дочь смогла вернуться домой оттуда, где времени не существует, то, конечно же, и сыновья ее смогут к ней вернуться, и они непременно вернутся, куда бы ни ушли.

Было так холодно, что Сэти даже погрела языком передние зубы. Сгибаясь до земли под тяжестью дров, она снова обошла дом кругом и

поднялась на крыльцо — так и не заметив полузасыпанных снегом следов мужчины на той же тропинке, по которой шла сама.

Девушки все еще спали, хотя переменили позы: обе теперь придвинулись ближе к огню. Грохот ссыпавшихся в ящик дров не разбудил их; они лишь слегка пошевелились во сне. Сэти тихонько подбросила в плиту дров, не желая будить сестер, счастливая оттого, что они тут, при ней, спят у ее ног, пока она готовит им завтрак Очень плохо, конечно, что она опоздает на работу, очень, очень плохо! Но — впервые за шестнадцать лет? И все равно очень плохо.

Она разбила два яйца во вчерашнюю мамалыгу, сделала густое тесто и испекла лепешки, к которым поджарила остатки ветчины; все было готово еще до того, как Денвер, первой, окончательно проснулась и застонала.

— Что, спина болит?

— Еще как! Ох!

— Ничего, спать на полу, когда спина болит, очень полезно.

— Черт, как больно! — пробормотала Денвер.

— Может, ты вчера так сильно шлепнулась? Денвер улыбнулась.

— А здорово было! — Она повернулась к Бел,

слегка похрапывавшей во сне. — Может, мне ее разбудить?

— Нет, пусть отдыхает.

— Она любит провожать тебя по утрам.

— Я знаю, что любит, — откликнулась Сэти. — Ну и успеет еще, проводит. — И подумала: пожалуйста, сперва как следует подумай, прежде чем говорить с ней, прежде чем дать ей понять, что тебе все известно. Подумай о том, чего больше не нужно помнить. И сделай так, как советовала Бэби: сперва как следует подумай, а потом сложи свое оружие — навсегда. Поль Ди уверял меня, что мир широк и в нем найдется место, где и я смогу жить счастливо. Он плохо понимал меня. Зато сама я понимала все это хорошо. Все, что происходит за дверями моего дома, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Мир — здесь, в этой комнате. Здесь все так, как оно и должно быть.

Они ели как мужчины — жадно и сосредоточенно. Говорили мало; им вполне хватало того, что все они вместе, сидят рядом и можно посмотреть друг другу в глаза.

Когда Сэти повязала голову платком, взяла свой узелок и направилась наконец в город, уже близился полдень. Однако, выйдя из дому, она по– прежнему не только не заметила следов на

снегу, но и не услышала голосов, взявших в кольцо дом номер 124.

Тащась по колее, оставленной в снегу чьей-то повозкой, Сэти с волнением думала о том, что больше не должна вспоминать, и голова у нее кружилась от этого. Я больше ничего не должна помнить! Я даже ей ничего не должна объяснять. Она же все понимает. И теперь я могу забыть, как не выдержало горя и остановилось сердце Бэби Сагз; как мы все решили, что это чахотка, хотя никакой чахотки не было и в помине. И ее глаза — когда она приносила мне передачи в тюрьму — я тоже теперь могу забыть; и то, как она рассказывала мне, что Ховард и Баглер поправились, только друг друга ни на шаг не отпускают и все время держатся за руки, даже когда играют, но особенно — когда спят. Она приносила мне еду в корзине, сверточки были такие маленькие — чтобы можно было просунуть их сквозь прутья решетки; и потом шептала всякие новости: мистер Бодуин намерен посетить судью — пойти прямо в суд, она все время это повторяла: прямо в суд, словно она или я знали, как это делается. Что цветные женщины Делавэра подали петицию, требуя для меня помилования и отмены казни через повешение. Что двое белых

священников приходили к нам домой, хотели со мной поговорить и за меня помолиться. Что приходил еще какой-то газетчик.. Она пересказывала мне новости, а я все объясняла ей, как мне необходимо какое-нибудь средство от крыс. Она хотела, чтобы я отдала ей Денвер, и даже руками всплеснула, когда я наотрез отказалась сделать это. «А где ж твои сережки? — спросила она. — Я их для тебя сберегу». И я сказала, что их отобрал тюремщик, чтобы, как он говорил, защитить меня от меня самой. Он, видите ли, считал, что я что-нибудь могу над собой сделать с помощью крючков от сережек Бэби Сагз удивленно прикрыла рот рукой. «А тот учитель из города уехал, — сообщила она. — Заполнил требование вернуть ему беглых рабов и уехал. Тебя обещали отпустить — на похороны. На службу-то в церковь не разрешили, а на кладбище отпустят». И меня действительно отпустили. Шериф вез меня на кладбище и отворачивался, когда я кормила Денвер. Ни Ховард, ни Баглер меня к себе и близко не подпустили, не дали даже по голове их погладить. Кажется, на кладбище было полно людей, но я видела только сам гробик Преподобный отец Пайк говорил очень громко, но я не расслышала ни слова — лишь первые три; а через несколько

месяцев, когда Денвер уже можно было кормить не одним молоком, меня выпустили насовсем. Я сразу пошла и заказала для тебя надгробие, но у меня не хватило денег, чтобы сделать надпись, так что я совершила, можно сказать, обмен — расплатилась тем, чем смогла, и до сих пор жалею, что не попросила резчика написать на камне все три слова, которые тогда расслышала в речи преподобного отца Пайка: возлюбленной дочери моей, а ведь ты и есть возлюбленная дочь моя, и, наверно, не стоит так уж сожалеть, что удалось вырезать только одно слово, и не стоит все время думать о тех девушках, которые работают по субботам на бойне… Теперь я могу забыть, что мой поступок сломал жизнь Бэби Сагз. У нее больше не было ее Поляны и ее друзей. Лишь стирка чужого белья и починка чужой обуви. Теперь я могу все это забыть, ибо стоило мне возложить камень на твою могилку, как ты заявила о своем присутствии в нашем доме и уж старалась, чтобы никто об этом не забывал, всем покоя не давала. Я тогда, правда, этого не понимала. Думала, ты на меня злишься. А теперь знаю: если ты и сердилась тогда, то теперь уж точно не сердишься — ведь ты сама вернулась ко мне, в мой дом, значит, я все-таки оказалась права: нет для нас другого

мира вне стен нашего дома. Мне только вот что нужно знать: насколько страшен тот шрам?

Пока Сэти шла на работу, впервые за шестнадцать лет опаздывая, поглощенная настоящим мгновением, вобравшим в себя всю жизнь, Штамп боролся с усталостью и давней привычкой. Бэби Сагз отказывалась ходить на Поляну, потому что считала, что победили они; он же отказывался признавать их победу. В доме Бэби черного хода не было, так что он храбро преодолел холод на улице и ропот голосов во дворе и, поднявшись на крыльцо, постучался. Чтобы набраться мужества, он покрепче сжал в кармане красную ленточку. Сперва он стучал тихонько, потом сильнее. В конце концов он забарабанил в дверь как сумасшедший — не веря, как это может быть, как это дверь дома, где живут цветные, мгновенно не распахивается перед ним. Но дверь не открывалась. Штамп подошел к окну, ему хотелось плакать. Ну да, они были там, дома, но ни одна к двери не бросилась. Терзая в кармане красную ленточку и чуть не порвав ее, старик повернулся и стал спускаться с крыльца. Теперь к чувству стыда и долга примешивалось любопытство. Когда он заглянул в окошко, то увидел двух девушек, сидевших спиной к нему. Одна

была явно ему знакома, а вот другая… Другую он не узнавал и понятия не имел, кто бы это мог быть. Ведь ни одна душа никогда в тот дом не заходила.

После завтрака, не доставившего ему ни малейшего удовольствия, Штамп отправился навестить Эллу и Джона: вдруг они что-нибудь знают. А что, если выяснится, что когда-то давно, после стольких лет уверенности в себе, он все-таки неправильно назвал себя и штамп «Оплачено» ставить было рано, ибо за ним остался еще один должок? Получив при рождении имя Джошуа, он позже назвал себя иначе — после того как сам отдал жену хозяйскому сыну. Отдал по собственной воле — в том смысле, что никого не убил, даже самого себя, потому что жена его потребовала, чтобы он продолжал жить. А иначе, рассуждала она, куда и к кому сможет она вернуться, когда мальчишка наестся до отвала? Отдав жену, он решил, что больше никому ничего не должен. Каковы бы ни были его обязательства перед людьми, этим он расплатился со всеми разом. Он думал, что станет непокорным, злым, может, даже запьет именно из– за отсутствия долга перед кем бы то ни было, и отчасти так и случилось. Но не в связи с его поступком. Хочешь, работай хоро-

шо, а хочешь — плохо; или мало, или не работай совсем. Хочешь, веди себя разумно или, наоборот, глупо. Хочешь, спи, а хочешь, вставай. Можешь любить кого-то одного, но не любить других. Не очень-то интересная жизнь, и удовлетворения ему это приносило мало. Так что он распространил свою свободу от всяческих долгов на других, помогая им выплатить то, что они в своем горе и несчастье некогда задолжали. Он перевозил измученных беглецов на ту сторону и возвращал им плату; если можно так сказать, возвращал им их собственную купчую, как бы говоря: «Ты заплатил достаточно, теперь жизнь перед тобой в долгу». И наградой за это были радостные приветствия при встрече и отсутствие необходимости стучать в чью-либо дверь. Вот и сейчас он стоял перед дверью Джона и Эллы и спрашивал:

— Эй, есть кто-нибудь дома? — И Элла почти сразу откинула крюк на двери.

— Господи, где ж это ты прятался? А я-то Джону говорю: должно, слишком холодно, раз Штамп все дома сидит.

— Нет, я был не дома. — Он снял шапку и потер голову.

— Где же это? Уж точно не здесь. — Элла повесила две пары белья на веревку у плиты.

— Я утром к дому Бэби Сагз ходил.

— А что тебе там понадобилось? — спросила Элла. — Тебя что, приглашали?

— Это семья Бэби. И никаких приглашений мне не требуется, чтобы за ее семейством приглядеть.

Элла только языком поцокала. Этими доводами ее было не прошибить. Она сама была другом и Бэби Сагз, и Сэти, пока не случилось то Несчастье. С тех пор она один лишь раз поздоровалась с Сэти — кивнула ей тогда на карнавале, — обычно же и не смотрела в ее сторону.

— Там у них какая-то новая женщина живет. Я думал, может, ты знаешь, кто это?

— Да неужто б я не знала, если б в городе у нас кто-то новый объявился? — возмутилась Элла. — Какая она с виду-то, женщина эта? Ты уверен, что это не Денвер?

— Денвер я хорошо знаю. Эта похудее будет.

— Может, показалось?

— Я же своими глазами видел!

— Да в этом доме все что угодно увидеть можно.

— Оно так, конечно.

— Ты лучше Поля Ди спроси, — посоветовала Элла.

— Что-то я его никак найти не могу. — И это было действительно так, хотя нельзя сказать, чтобы он искал Поля Ди уж очень старательно. Не готов он был посмотреть в глаза человеку, чью жизнь сломал, когда притащился к нему с похоронными вестями.

— Он в церкви ночует, — сообщила Элла.

— В церкви? — Штамп был огорошен ее словами и страшно огорчен.

— Ну да. Попросил преподобного отца Пайка, и тот разрешил ему ночевать в подвале.

— Так там же холод собачий!

— Ну уж небось это он и сам знает.

— Зачем он это сделал?

— Похоже, чересчур гордый.

— Господи, зачем же в погребе-то! Любой из наших его бы к себе пустил.

Элла повернулась и посмотрела Штампу прямо в глаза:

— А что, у нас тут кто-нибудь мысли на расстоянии читать умеет? Ему всего и нужно-то было — попросить.

— С какой стати? Почему он должен кого-то просить? А самим предложить трудно было? Что же это делается, господи? С каких это пор чернокожий, приехав в наш город, спит в подвале,

как собака?

— Не горячись, Штамп.

— Ну уж нет! Не будет мне покоя, пока у кого-нибудь из вас совесть не проснется и вы не станете вести себя как христианам положено.

— Да он там всего-то несколько дней.

— Ни одного дня он там не должен был быть! Ты все прекрасно понимаешь, Элла, но даже и пальцем не пошевелила, чтобы ему помочь! Не похоже на тебя. Мы ведь с тобой больше двадцати лет цветных из воды вытаскивали. А теперь ты мне говоришь, тебе, дескать, трудно человеку переночевать предложить. Рабочему человеку! Который уж как-нибудь сумел бы заплатить за себя.

— Если б он попросил, я бы ему что угодно дала.

— С чего это вдруг стало так необходимо, чтобы тебя просили?

— Я его слишком мало знаю.

— Ты знаешь, что он цветной!

— Ох, Штамп, да не терзай ты меня с утра пораньше! У меня и так настроения нет.

— Это из-за нее, верно?

— Из-за кого?

— Из-за Сэти. Он с ней сошелся и жил там, а ты

не хотела, чтобы…

— Ну-ну, продолжай. Только лучше в воду не прыгать, коли глубины не знаешь.

— Ты это прекрати, девушка! Мы с тобой слишком давно дружим, чтоб ты передо мной прикидывалась.

— Ну послушай, кто знает, что там на самом деле происходило? Я и сама теперь не знаю, кто такая Сэти и откуда она родом.

— Что-что?

— Да, Штамп, я знаю только, что она вроде бы была невесткой Бэби Сагз, но теперь я и в этом не уверена. Где же он сам-то, а? И Бэби ни разу эту свою невестку в глаза не видела, пока Джон не притащил ее сюда да еще с новорожденной, которую я сама ей к груди привязала.

— Это я привязал девочку ей к груди! А к тому поезду с беглыми ты и вовсе отношения не имела! Что хочешь думай, дети-то небось ее сразу признали.

— Ну и что? Я ж не говорю, что она их матерью не была, но кто может подтвердить, что они действительно внуки Бэби Сагз? И вообще — как это ей бежать удалось, а ее мужу нет? И еще, скажи-ка мне, как это она умудрилась одна в лесу ребенка родить? Говорила, какая-то белая

женщина вышла из лесу и помогла ей. Чушь! Неужели ты этому веришь? Белая? Знаю я, что это была за белая[10].

— О, господи, Элла, что ты несешь!

— Ежели что-нибудь белое бродит по лесу без ружья, ты сам знаешь, что это, и я с ним дела иметь не желаю!

— Вы ведь подругами были.

— Да. Пока она свое нутро не показала.

— Элла!

— Не может у меня быть таких подруг, которые собственных детей пилой кромсают.

— Ох и на опасном ты пути, девушка!

— Нет, я-то на твердой земле стою, где и намерена оставаться. А вот ты уже по уши утоп и дна под собой не чуешь.

— Ну ладно, хватит. Все это к Полю Ди никакого отношения не имеет.

— А как ты думаешь, почему он из дома сбежал? Ну-ка скажи?

— Из-за меня.

— Из-за тебя?

— Я ему рассказал… показал ту газету… насчет того, что Сэти сделала. И прочитал ему. Он в тот

---

[10] Примечания: 10

Белый цвет у африканских и американских негров цвет смерти, цвет мертвых.

же день и ушел.

— Ты мне этого не говорил. Я думала, он знает.

— Ничего он не знал! Он и ее-то знал только по тем временам, когда они все вместе жили на ферме, откуда и сама Бэби Сагз сюда приехала.

— Он знал Бэби Сагз?

— Конечно, знал! И ее сына Халле тоже.

— Значит, он ушел, когда выяснил, что Сэти тогда натворила?

— Похоже, он мог бы наконец осесть, жить с нею одной семьей.

— Ты мне прямо глаза открыл. Я-то совсем по-другому думала…

Но Штамп и так прекрасно знал, что она думала.

— Да что ж, ты ведь сюда пришел не о Поле Ди говорить, — спохватилась вдруг Элла. — Ты о какой-то новой девушке спрашивал.

— Да, верно.

— Ну так вот: Поль Ди непременно должен знать, кто она такая. Или что оно такое.

— У тебя все духи да привидения на уме. Везде они тебе мерещатся.

— Господи, ты ведь не хуже меня знаешь: люди, что дурную смерть приняли, в земле остаться не могут.

Этого отрицать было нельзя. Даже Иисус Христос и то в земле не остался. Штамп съел кусок приготовленного Эллой домашнего сыра — исключительно из дружеских чувств — и отправился искать Поля Ди. Он нашел его сидящим на крыльце церкви; руки свешены между колен; глаза красные.

Сойер накричал на нее, когда она вошла на кухню, но она просто повернулась к нему спиной и потянулась за фартуком. Крики были ей нипочем: доступ в ее душу был закрыт — ни щели, ни трещинки. Хватит с нее. Уж она позаботится о том, чтобы держать их всех на расстоянии. Она прекрасно понимала, что в любой момент они могут снова раскачать ее, сорвать с якорей; могут снова наслать на нее птиц, хлопающих крыльями у нее в волосах. Могут высосать ее молоко, как это уже было однажды. Могут превратить ее спину в дерево — и это тоже было. Могут загнать в лес, когда она на сносях,

— и это было. Даже мысли о них пахли гнилью. Это они вымазали маслом лицо Халле и заставили Поля Ди грызть железо; это они живьем поджарили Сиксо и повесили ее родную мать. Она больше ничего не хотела слышать о белых людях; не хотела знать то, что знали Элла, Джон

и Штамп о мире, созданном белыми на их вкус и лад. Да и нечего ей знать об их жизни, все это кончилось, как только птицы захлопали крыльями у нее в волосах.

Когда-то, давным-давно, она была мягкой, доверчивой. Верила миссис Гарнер и ее мужу. Она ведь тогда завязала узелок на подоле нижней юбки, спрятав туда сережки, даже не для того, чтобы их потом носить, а просто на память. Эти сережки заставляли ее верить, что среди них не все плохие. Что на каждого такого учителя найдется по крайней мере одна Эми, а на каждого учительского племянника и ученика — Гарнер, или Бодуин, или даже шериф, который тогда поддержал ее под локоть и отвернулся, когда она кормила Денвер. Но в конце концов она поверила тем, последним словам Бэби Сагз и похоронила воспоминания о сережках и о грезившемся ей счастье. Поль Ди, правда, снова все это выкопал из глубин ее души, вернул ей ее тело, поцеловав изуродованную шрамами спину, пробудил воспоминания о былом и рассказал то, о чем она не знала: о маслобойке, о мундштуке, об улыбке петуха Мистера… но когда услыхал то, чего не знал о ней, сразу начал пересчитывать ее ноги и даже не попрощался, когда уходил навсегда.

— Не говорите со мной сегодня, мистер Сойер. Пожалуйста, не надо мне сегодня ничего говорить.

— Что? Как ты сказала? Да как ты смеешь мне возражать?

— Я прошу только, чтоб вы мне ничего не говорили.

— Знаешь что… давай-ка побыстрей пирожки делай! Сэти взглянула на гору фруктов и взяла в руки нож Когда сок из пирожков зашипел на дне духовки, а Сэти уже вовсю занималась картофельным салатом, явился Сойер и сказал:

— Смотри, чтоб пирожки не слишком сладкие были. Ты слишком сладкие делаешь, людям не нравится.

— Делаю, как всегда делала.

— Вот-вот. Слишком сладкие.

Ни одной порции колбасок обратно не принесли. Повар отлично их готовил, и к концу дня в ресторане Сойера никогда колбасок не оставалось. Так что если Сэти хотела взять немного себе, приходилось откладывать сразу, как только колбаски были готовы. Зато осталось вполне приличное рагу. Жаль, что все ее пирожки были проданы. Было, правда, немного рисового пудинга и половина круглого имбирного пря-

ника, который получился не ахти. Если бы она была повнимательнее и перестала предаваться мечтам, ей не пришлось бы теперь шарить по кухне и собирать себе на обед всякие остатки, словно крабу какому– то. Она не очень-то умела определять время по часам, но знала, что когда стрелки сходятся наверху, словно для молитвы, то с основной работой должно быть покончено. Она положила рагу в банку с жестяной крышкой и завернула остатки имбирного пряника в бумагу. Сунув все это в карманы юбки, она принялась за уборку. Она взяла такую малость — и сравнивать нечего с тем, что уносили домой повар и оба официанта. Мистер Сойер включал обед для своих работников в условия контракта — и платил ей еще три доллара сорок центов в неделю, — и Сэти с самого начала дала ему понять, что будет уносить свой обед домой. Но спички или немного керосину, соли, масла — все это она тоже брала и всегда при этом испытывала стыд, потому что спокойно могла себе позволить это купить; просто не желала стоять во дворе магазина Фелпса, где всех белых обслуживали вне очереди, а целая толпа чернокожих, заглядывавших в заднюю дверь, терпеливо ждала, когда хозяин соизволит обратить на них внимание. Стыдно Сэти было

еще и потому, что она считала это самым настоящим воровством, а забавные доводы Сиксо ее нисколько не убеждали, точно так же, как не смогли убедить учителя в Милом Доме.

— Это ты украл молочного поросенка? Ну да, так и есть, поросенка украл ты.

— Учитель говорил тихо, но твердо и как-то равнодушно — словно ответа ему не требовалось. Сиксо сидел, даже не пытаясь ни просить о снисхождении, ни отрицать своей вины. Просто сидел, держа в руке тонкую полоску постного мяса; нежные хрящики свернулись в оловянной плошке и просвечивали, как драгоценные камни — еще грубые, необработанные, но все-таки хорошая добыча.

— Значит, ты украл этого поросенка? Верно?

— Нет, — сказал Сиксо, но из вежливости, не сводя глаз с мяса, прибавил:

— Сэр.

— И ты говоришь, что не крал его, глядя мне прямо в глаза?

— Нет, сэр. Я его не крал. Учитель улыбнулся.

— Это ты его зарезал? —Да, сэр. Я.

— А разделал его кто?

— Я, сэр.

— Кто же его сварил?

— Я, сэр.

— Прекрасно. А кто его съел?

— Я, сэр. Конечно же я.

— И ты еще будешь говорить мне, что это не воровство?

— Нет, сэр. Не воровство.

— А что же?

— Забота о вашей собственности, сэр.

— Что?

— Сиксо сеет рожь, выбирая для нее лучший участок Сиксо возделывает и поит землю, чтобы у вас урожай был больше. Сиксо поит и кормит Сиксо, чтоб потом он мог принести вам как можно больше пользы.

Умно сказано, однако учитель все равно избил Сиксо, чтобы наглядно продемонстрировать, кому принадлежит право давать определения вещам и поступкам — уж во всяком случае, не тому, кто сам подлежит определению. После смерти мистера Гарнера от дырки в ухе — миссис Гарнер сказала, что у него лопнула барабанная перепонка из-за апоплексического удара, а Сиксо уверял, что тут скорее порохом пахнет, — все, чего бы они ни коснулись, могло быть рассмотрено как предмет воровства. Ни одного початка кукурузы, ни одного завалявшегося яйца, даже

если курица и думать о нем забыла, они взять не имели права: решительно все считалось кражей. Учитель отнял у мужчин Милого Дома ружья, и тогда, лишенные охоты как развлечения и возможности несколько улучшить свой рацион, состоявший из хлеба, бобов, мамалыги, овощей и кусочка мяса в дни забоя скота, они начали воровать по– настоящему и считали это не только своим правом, но и обязанностью.

Тогда Сэти их понимала, но теперь, когда у нее была оплачиваемая работа и хозяин, проявивший достаточную доброту и снисходительность, взяв к себе бывшую заключенную, она себя презирала за собственную гордость, из-за которой воровство было для нее лучше стояния в общей с другими неграми очереди. Она не желала толкаться среди них. Не желала чувствовать их осуждение или жалость. Особенно сейчас. Сэти тыльной стороной руки вытерла со лба пот. Рабочий день подходил к концу, и ее охватило радостное возбуждение. Никогда со времени своего бегства из Милого Дома не чувствовала она такого прилива сил. Подкармливая объедками уличных собак, глядя, как жадно они едят, Сэти сурово поджала губы. Сегодня она согласилась бы даже сесть к кому-то на телегу или в повозку, если

б ей предложили. Никто, конечно, не предложит; целых шестнадцать лет гордость не позволяла ей просить об этом. Но сегодня!.. Сейчас ей больше всего хотелось поскорее пролететь долгий путь до дома и уже оказаться там!

Когда Сойер сердито предупредил ее, чтоб больше не опаздывала, она почти не слушала. Обычно он был с нею очень мил. Он вообще был человеком терпеливым и мягким, но с каждым годом — особенно после гибели сына на той Войне — становился все более раздражительным. Словно виновата во всем была она, чернокожая Сэти.

— Ладно, — буркнула она, думая только о том, как бы поскорее пролетело время в пути.

Впрочем, можно было и не спешить. Когда, поплотнее закутавшись и клонясь под ветром, она двинулась наконец в обратный путь, мысленно она перебирала все то, что теперь имела полное право забыть.

Слава богу, мне ничего не нужно вспоминать вслух, ничего не нужно объяснять тебе, потому что ты знаешь все. Ты знаешь, что я никогда бы тебя не бросила. Никогда. Это единственное, о чем я тогда думала. Я должна была быть готова к приходу поезда. Тот учитель учил нас таким вещам, которым мы научиться не могли. Да мне

было наплевать, как и что измеряют мерной лентой. Все мы тогда смеялись над этим — все, кроме Сиксо. Он никогда ни над чем не смеялся. А мне было просто наплевать. Учитель измерял мою голову, вокруг и вдоль, через нос; оборачивал ленту вокруг моей задницы; пересчитывал у меня зубы. Мне казалось, он сумасшедший. Особенно если судить по тем вопросам, которые он задавал.

Как-то мы с твоими братьями шли по второй тропе. Первая тропа совсем близко от дома, там, где сажали ранние овощи: бобы, лук, зеленый горошек, а вторая — подальше, там, где картошка, тыква, окра; для всего этого было еще слишком рано. Ну, может, грядка салата где и была. Мы все пропололи, порыхлили землю, чтобы овощи зрели скорее, а потом пошли назад, к дому. Тропа шла в гору. Не то чтобы настоящая гора, но вроде холма. Вполне достаточно, чтобы Баглер и Ховард могли взбегать на него и кубарем скатываться вниз по траве и снова взбегать и скатываться. Такими я и вижу их в своих снах — смеются и бегут вверх по склону холма на своих коротеньких толстеньких ножках. Правда, теперь я все чаще вижу только их спины — когда они уходят от меня вдоль железной дороги. Теперь они всегда от меня уходят. Всегда. Но в тот день они были

очень счастливы, играя на холме. Было раннее лето — все уже начинало зреть, но до сбора урожая было еще далеко. Я помню, что горох еще кое-где цвел. А травы были уже высокими, и в них полно белых цветов и еще таких высоких, красных, да кое-где мелькали голубые цветочки — похожие на васильки, только намного бледнее. Почти белесые. Мне, наверно, надо было бы торопиться, потому что я оставила тебя за домом в корзине. Довольно далеко от того места, где обычно копошатся куры, но ведь всякое может случиться. А тут я почему-то не спешила; зато у твоих братишек терпения не хватало, и, когда я без конца останавливалась и любовалась цветами и облаками, они убегали вперед, и я на них за это не сердилась. Что-то чудесное веет в воздухе ранним летом, а если еще и ветерок налетит, то и вовсе в доме не усидишь. Когда я наконец дошла до дому, то сразу услышала, как Ховард и Баглер смеются возле наших хижин. Я поставила мотыгу под навес и прошла через двор прямо к тебе. Корзинка, которую я утром оставила в тени, теперь оказалась на самом солнце, и оно светило прямо тебе в лицо, но ты и не думала просыпаться. Мне очень хотелось взять тебя на руки, но я все продолжала любоваться тобой спящей.

У тебя было такое милое личико! Неподалеку от двора мистер Гарнер посадил виноград. Он вечно задумывал что-то особенное и решил, что неплохо было бы делать собственное вино. Ни разу больше одной корзинки ягод с этого виноградника так и не набрали. По-моему, земля там не годилась для виноградников. Хотя твой отец считал, что во всем виноваты частые дожди, а не земля. А Сиксо говорил, что это все жучки какие-то вредят. Виноградинки были такие маленькие, твердые и ужасно кислые, прямо как уксус. Зато среди виноградных лоз стоял маленький столик, и вот я взяла корзинку с тобой и перенесла ее в этот виноградник Там было прохладно и тень. Я поставила твою корзинку на столик и решила добыть кусок миткаля, чтобы жучки и прочие насекомые на тебя не падали. И если я не понадоблюсь миссис Гарнер на кухне, взять табуретку и посидеть с тобой в теньке, пока овощи чищу. Я быстро пошла на кухню за куском чистого миткаля, который мы хранили в яблочном прессе. Так приятно было ступать босиком по траве! И вдруг, подойдя к дверям, я услышала голоса. Этот учитель каждый день заставлял своих учеников учиться по книжкам. Если погода была хорошей, они устраивались втроем на боковой веранде. Он

говорил, а они писали. Или же он что-то читал им, а они записывали. Я никогда никому об этом не рассказывала. Ни твоему отцу, никому. Я чуть было не сказала миссис Гарнер, но она тогда уже была слишком слаба и становилась все слабее. Я впервые рассказываю об этом, и рассказываю тебе, потому что это может объяснить кое-что, хотя я знаю: тебе вовсе не нужно, чтобы я что-то объясняла. Чтобы я говорила вслух или просто думала об этом. Ты тоже, конечно, можешь не слушать, если не хочешь. Но я в тот день не слушать не могла. Учитель разговаривал со своими учениками, и я услышала, как он сказал: «Кого ты сейчас описываешь?» И один из ребят ответил: «Сэти». Услышав свое имя, я сперва замерла, а потом тихонько встала так, чтобы можно было их видеть. Учитель стоял над ним, заложив руку за спину. Он пару раз облизнул указательный палец и перевернул несколько страниц тетрадки. Медленно перевернул. Я уж собралась было идти дальше, за миткалем, как он говорит: «Нет, нет. Не так Я ведь велел тебе записывать ее человеческие характеристики слева, а животные — справа. И не забудь порядок». Тут я стала пятиться от них и даже не посмотрела, куда иду. Просто двигала ногами и пятилась. Конечно, налетела на дерево

— всю голову себе ободрала колючками. Какая-то собака на дворе вылизывала сковородку. Я быстро дошла до виноградника; про миткаль я так и забыла. Мухи за это время облепили тебе все лицо; сидели и потирали лапки. Голова у меня чертовски болела. Словно острые иголки в череп втыкали. Я никогда об этом не рассказывала. Ни Халле, ни кому-то другому. Но в тот день я все-таки кое– что спросила у миссис Гарнер. Она тогда уже была плоха. Не так плоха, конечно, как потом, но уже совсем не та, что прежде. У нее под челюстью, на горле какой-то мешок вырос. Вроде бы не больно, да только она совсем ослабла. Сперва она еще вставала и бодрой была, особенно по утрам, но уже ко второй дойке почти на ногах не держалась. Потом стала подолгу спать и просыпалась поздно. А в тот день, когда я у нее кое-что спросить хотела, она целый день провела в постели, и я решила, что сперва надо ей принести немножко фасолевого супу, а потом уж и спрашивать. Я поднялась наверх, и, когда открыла дверь ее спальни, она посмотрела на меня из-под своего ночного чепца. Глаза у нее тогда стали совсем безжизненными. Ее туфли и чулки валялись на полу у кровати, и я догадалась, что она пробовала встать и одеться.

— Я принесла вам фасолевого супу, — сказала я.

— Вряд ли я его проглотить смогу, — отвечала она.

— Попробуйте хоть немножко, — стала я уговаривать.

— Нет, он слишком густой. Не могу — слишком густой.

— Хотите, я его чуточку водой разбавлю?

— Нет. Унеси. Принеси лучше холодной воды, больше мне ничего не надо.

— Хорошо, мэм. Можно мне вас кое о чем спросить, мэм?

— О чем же, Сэти?

— Что значит «характеристики»?

— Что?

— Слово такое. Характеристики.

— О, господи! — Она помотала головой на подушке. — Характеристики — это свойства, черты. Кто тебя научил такому?

— Я слышала, как учитель это слово сказал.

— Принеси мне холодной воды, Сэти. Эта степли-лась.

— Да, мэм. Черты?

— Воды, Сэти. Холодной воды.

Я поставила кувшин на поднос рядом с тарел-

кой супа из белой фасоли и пошла вниз. Потом принесла свежей холодной воды и поддерживала миссис Гарнер голову, пока она пила. Пила она долго — опухоль ей мешала. Потом она снова легла на подушку и утерла рот. Похоже, она наконец напилась вволю. И вдруг она нахмурилась и говорит мне:

— Знаешь, я никак не могу проснуться. Единственное, чего я хочу все время,

— спать.

— Ну так спите, мэм, — сказала я ей. — Я обо всем сама позабочусь.

Но она не могла успокоиться: а как же это? а как же то? Сказала, что уверена, с Халле проблем не будет, но вот ей хочется знать, ладит ли учитель со всеми Полями и Сиксо.

— Да, мэм, — сказала я. — Вроде бы так.

— Они действительно делают то, что он велит?

— Им и велеть-то ничего не нужно, мэм.

— Хорошо. Это милость Божья. Я, конечно, спущусь вниз через денек-другой. Мне просто нужно немного отдохнуть. Вот и доктор еще должен прийти. Завтра ведь, так?

— Вы сказали «черты», мэм? -Что?

— Черты, свойства, мэм?

— Хм. Ну, например, лету свойственна жара.

Характеристика — это основная черта, свойство, признак вещи. Самое для нее естественное.

— А их может быть больше, чем одна?

— Конечно может, и даже довольно много. Вот тебе пожалуйста: этот ребенок всегда сосет палец. Это одна из его черт, но есть и другие. Смотри, держи Билли подальше от Рыжей Коры. Мистер Гарнер никогда не давал ей телиться каждый год. Сэти, ты меня слышишь? Отойди от окна и слушай.

— Да, мэм, я все слышу.

— Попроси моего деверя подняться после ужина наверх.

— Хорошо, мэм.

— Если станешь мыть голову как следует, то и вшей у тебя не будет.

— У меня и нет никаких вшей, мэм!

— Ну, не знаю, а хорошенько вымыть голову тебе не мешало бы! И перестань чесаться. И не говори, что у нас мыло кончилось.

— Нет, что вы, мэм.

— Ну вот и хорошо. Сил больше нет разговаривать. — Да, мэм. Я сейчас уйду.

— И спасибо тебе, Сэти.

— Да что вы, мэм.

Ты была слишком маленькой, чтобы помнить

нашу хижину. Твои братья спали под окном. А мы втроем — я, ты и твой папа — у стены. Ночью, после того как я услышала, зачем учитель взялся обмерять меня, я никак не могла уснуть. Когда вернулся Халле, я спросила, что он думает насчет этого учителя, и он сказал, что тут и думать-то нечего. Он ведь белый, разве не так? Но мне хотелось знать, похож он на мистера Гарнера или нет.

— Что ты хочешь этим сказать, Сэти?

— Он и она, — сказала я, — они оба не такие, как те белые, которых я видела раньше, в большой усадьбе, где жила до Милого Дома.

— Что значит «не такие»? — спросил он.

— Ну, — сказала я, — они, например, всегда говорят тихо.

— Это не так уж важно, Сэти. Все они говорят одно и то же. Громко или тихо.

— Но мистер Гарнер позволил тебе выкупить мать, — сказала я.

— Да. Позволил.

— Ну?

— Если б он не позволил, она бы просто упала на горячую плиту у него на кухне.

— И все-таки он позволил! Позволил тебе отработать за нее.

— Угу.

— Проснись, Халле!

— Я не сплю.

— Он ведь мог сказать «нет». А он тебе не отказал.

— Нет, он не отказал мне. Она здесь проработала десять лет. И ты думаешь, она способна была еще десять проработать? Я расплачиваюсь с ним за ее последние годы жизни, а взамен он получил тебя, меня и еще троих наших малышей. Мне осталось еще год свой долг отрабатывать, всего один год. Но этот учитель говорит, чтобы я эту затею бросил. Говорит, овчинка выделки не стоит. Говорит, лучше мне дополнительно работать прямо здесь, в Милом Доме.

— И он собирается тебе за эту дополнительную работу платить?

— Нет конечно.

— А как же быть? Сколько тебе еще нужно выплатить?

— Сто двадцать три доллара семьдесят центов.

— Он разве не хочет их получить?

— Ему кое-что другое нужно.

— Что?

— Не знаю. Но что-то нужно. Во всяком случае, он больше не разрешает мне куда-нибудь из Ми-

лого Дома уходить. Говорит, на стороне платят гроши, а мальчики у нас еще слишком малы.

— Но как же нам добыть денег, которые ты должен?

— У него, должно быть, есть другой способ получить их.

— Какой другой?

— Не знаю, Сэти.

— Но как? Как же он их получит?

— Это не самый главный вопрос. Есть и поважнее.

— Какой?

Он приподнялся, повернулся ко мне и нежно коснулся моей щеки костяшками пальцев.

— Главный вопрос в том, кто теперь выкупит тебя? Или меня? Или ее? — Он показал туда, где лежала ты.

— Что?

— Если я буду работать только в Милом Доме и здесь же долг отрабатывать, что останется у меня на продажу?

Он повернулся на бок и сразу заснул, а я, хоть и считала, что заснуть не смогу, тоже заснула, но ненадолго. Что-то из сказанного Халле, а может, из того, о чем он умолчал, разбудило меня. Я вдруг села, словно меня кто толкнул, и ты тоже

почему-то проснулась и начала плакать. Я взяла тебя на руки и стала укачивать, но места было маловато, и я вышла с тобой на улицу, на воздух. Ходила там взад-вперед, взад-вперед. Вокруг было совершенно темно, только в верхнем окне дома светилась лампа. Миссис Гарнер, должно быть, так и не встала с постели. Я никак не могла выбросить из головы те слова, что, видно, меня и разбудили: «А мальчики у нас еще слишком малы». Да, он именно так сказал, из-за этого я и не могла больше уснуть. Ведь мальчики ходили за мной по пятам целыми днями, со мной вместе пололи сорняки, доили коров, собирали хворост для растопки. Но все это — пока. Пока. До поры до времени.

Вот тогда-то мы и должны были бы начать строить планы. Но мы не начали. Не знаю, о чем мы думали, но вопрос о том, чтобы уехать из Милого Дома, для нас всегда был связан с деньгами. С выплатой долга. С собственным выкупом. О побеге мы даже не помышляли. Неужели никто из нас об этом не думал? Да и куда бежать? Как? Сиксо в конце концов первым заговорил об этом — после того как миссис Гарнер продала Поля Эф, надеясь поправить дела. Она целых два года прожила благодаря тем деньгам, которые выручила от его

продажи. Но вот деньги кончились, и она, верно, написала деверю, чтоб приехал и все взял в свои руки. В Милом Доме было четверо мужчин, но она все-таки считала, что этот учитель и двое его племянников нужны ей, потому что все кругом твердили, она не должна, мол, оставаться одна в окружении негров. Ну он и приехал — в большой шляпе, в очках, а ящик под козлами набит разными бумагами. Он говорил мягко, да смотрел жестко. Избил Поля Эй. Бил не очень сильно и не очень долго, но впервые в Милом Доме кого-то били, потому что мистер Гарнер этого не позволял. В другой раз я увидела его в рощице, где росли чудеснейшие деревья — ты и не знаешь, что такие бывают. Сиксо начал внимательно посматривать на небо. Он единственный выбирался из фермы по ночам; Халле говорил, что именно так он и узнал про поезд.

— Это где-то там. — И Халле показывал мне вдаль, за конюшни. — Туда мистер Гарнер увез мою мать. Сиксо говорит, свобода где-то там. И туда пойдет поезд, если мы сможем туда попасть, нам не придется платить никакого выкупа.

— Поезд? А что это такое? — спросила я его. Потом они перестали разговаривать при мне. Даже Халле отмалчивался. Но между собой перешепты-

вались, и Сиксо все наблюдал за небом — смотрел не вверх, а туда, где оно почти касалось деревьев. Сразу было ясно, что мыслями он давно уже не в Милом Доме.

План был хорош, но, когда подошло время, я была беременна Денвер. Так что план мы немножко изменили. Чуть-чуть. Как раз хватило, чтобы Халле оказался с вымазанным маслом лицом, а Сиксо наконец засмеялся. Так мне сказал Поль Ди.

Но тебя-то я оттуда вытащила, детка. И мальчиков тоже. Когда был получен сигнал о поезде, только вы и были готовы по-настоящему. Я не смогла отыскать ни Халле, ни остальных. Я еще не знала, что Сиксо сожгли живьем, а Полю Ди надели железный ошейник и, ты просто не поверишь, сунули железо в рот. Это я узнала много позже. А всех вас я тогда отослала к поезду с той женщиной, что ждала в кукурузе. Ха-ха. Ни в какую записную книжку мои дети не попадут, и обмерять их ничем не будут, решила я. То, что мне пришлось преодолевать потом, я сделала только благодаря тебе. Прошла мимо повешенных на дереве парней. На одном из них была рубашка Поля Эй, но ноги были почему-то не его и голова тоже. Но я прошла мимо, потому что только у меня было молоко для тебя и, что бы там ни за-

думал Господь, я должна была тебе его принести. Ты ведь помнишь это, правда? Помнишь, как я его тебе принесла? Помнишь — когда я пришла сюда, молока у меня хватило на всех?

Еще один поворот, и Сэти увидела наконец трубу у себя над крышей; труба уже не выглядела такой одинокой. Столбик дыма тянулся от того огня, что согрел возвращенную ей теперь дочь — словно ее никогда и не отнимали, словно ей никогда и не нужно было делать никакого надгробия, словно сердце, что билось сейчас в этом возвращенном теле, никогда не останавливалось у нее, Сэти, в руках.

Она открыла дверь, вошла и крепко заперла ее за собой.

В тот день, когда Штамп увидел в окно дома номер 124 две спины и поспешил спуститься с крыльца и уйти, он поверил, что непонятный говор, слышавшийся возле дома, был голосом ярости чернокожих мертвецов. Очень немногие из них умерли в постели, как Бэби Сагз; и никто — по крайней мере из тех, кого он знал, — не прожил сколько-нибудь сносно свою жизнь. Даже образованные, те, кто долго учился — чернокожие доктора, учителя, газетчики и бизнесмены, — оказывались перед слишком трудной задачей. Мало

того что им приходилось вовсю работать головой, чтобы как-то продвинуться, они были вынуждены нести бремя всей своей расы. И умная голова тут не помогала. Белые люди полагали, что при любом образовании внутри каждого чернокожего непроходимые джунгли. Бурлят не пригодные для навигации реки, раскачиваются на ветках и испускают дикие крики бабуины, спят ядовитые змеи. А красные десны чернокожих жаждут их сладкой белой крови. В какой-то степени, думал Штамп, они правы. Чем больше старались цветные убедить белых, что на самом деле негры — люди добрые, мягкие, умные, любящие, чем больше тратили сил, пытаясь объяснить, что некоторые из вещей, в которые верят негры, не подлежат сомнению, тем глубже и непроходимей становились джунгли. Но эти джунгли черные не привезли с собой со своей бывшей родины, из другого мира. Нет, эти джунгли насаждали в них белые. И они разрастались, прорастали вглубь, сквозь их жизни; и даже после их смерти джунгли продолжали расти, пока не захватили и самих белых, которые дали им жизнь. Каждого из них джунгли изменяли до неузнаваемости. Они сделались кровожадными, бессмысленно жестокими — какими даже сами они не хотели

быть, — ибо смертельно боялись тех джунглей, что насадили своей рукой. Тот вопящий на ветке бабуин жил, оказывается, в их собственной душе, под их белой кожей; и те страшные красные десны были их собственными деснами.

Между тем распространение этой новой разновидности джунглей, насажденных белыми, происходило тихо, незаметно, и только в отдельных случаях их голоса можно было расслышать в таких местах, как дом номер 124.

Штамп прекратил свои попытки поговорить с Сэти и с болью в сердце ушел от той двери, которую на его стук не открыли. Дом номер 124 был предоставлен самому себе. Когда Сэти крепко заперла за собой дверь, все три женщины внутри этого дома стали наконец вольны вести себя так, как им нравилось, видеть то, что им хотелось, говорить то, что было у них на уме.

Почти. Смешиваясь с теми голосами, что звучали вокруг дома номер 124, голосами, которые старый Штамп узнавал, не понимая слов, текли мысли этих женщин, не выговариваемые, невысказанные.

* * *

Возлюбленная — дочь моя. Она моя. Понимаете? Она вернулась ко мне по собственной доброй воле, и мне не нужно ровным счетом ничего ей объяснять. У меня и прежде не было времени объяснять, потому что нужно было все сделать очень быстро. Мгновенно. Она должна была оказаться в безопасном месте, и я туда ее отправила. Но я привязала ее к себе крепкой любовью своей, и вот она снова здесь. Я знала: она непременно вернется. Поль Ди тогда ее прогнал, и у нее просто не было иного выхода, как вернуться ко мне во плоти. Поспорить готова — ей там Бэби Сагз помогала. Но больше уж я ее не отпущу. Я ей все объясню, хоть и не нужно ничего объяснять. Расскажу, почему я так сделала. Ведь если б я ее не убила, она бы просто не выдержала, умерла, и я не могла этого допустить. Когда я ей это объясню, она поймет — она уже все понимает. Я буду заботиться о ней так, как ни одна мать о своем ребенке, о дочери, не заботилась. И больше никто не получит моего молока, кроме моих детей. Меня никогда не заставляли кормить грудью чужих детей; я кормила только своих; но однажды у меня отняли мое молоко силой. Прижали меня

к земле и отняли его. Молоко, принадлежавшее моему ребенку. Когда я была маленькой, Нан кормила грудью белых детей и меня заодно, потому что моя мать все время работала на рисовом поле. Сперва, конечно, кормили маленьких белых, а я получала то, что осталось. Или совсем ничего. У меня никогда не было в детстве своего собственного молока, которым меня кормила бы моя мать. Я знаю, каково это — остаться без своего законного молока, вечно быть вынужденной сражаться за него, орать от голода во все горло и получать только ту малость, которая осталась после других. Я расскажу об этом Возлюбленной; она поймет. Она моя дочь. Та самая, для кого мне удалось сохранить молоко даже после того, как у меня его отняли; после того, как они доили меня, как корову, нет, как вредную и упрямую козу, которую держат в самом дальнем углу хлева, чтоб не мешала остальным животным. А вот для того, чтобы готовить им еду или ухаживать за больной миссис Гарнер, я годилась. Я ухаживала за ней, как за родной матерью, если б с ней такое случилось и я была бы нужна ей. И если б они хоть когда-нибудь отпускали ее с того рисового поля. — ведь я была единственным ее ребенком, которого она не бросила. Я б, наверно, не могла

сделать большего для собственной матери, чем я сделала для миссис Гарнер, но с матерью я осталась бы до тех пор, пока она не поправилась бы или не умерла. Я и в тот раз тоже осталась бы с ней, если б Нан меня из толпы не вытащила, прежде чем я успела увидеть, есть ли у нее тот знак. Вроде бы это была она, но я все никак не могла этому поверить и повсюду искала ее шляпу. Начала даже заикаться. Так и говорила с запинкой, пока не повстречалась с Халле. Ах, теперь-то все это уже позади. Я здесь.

Я выжила. И моя девочка вернулась домой. Теперь я снова могу смотреть вокруг, потому что она тоже все это видит. После того, что случилось в дровяном сарае, я не могла. Теперь по утрам, разжигая огонь в плите, я непременно смотрю в окно, чтобы узнать, какой занимается день, высоко ли уже солнце. Касаются ли уже его лучи ручки насоса или крана на кухне? Смотрю, какого цвета трава — серо-зеленая от росы, или бурая, или еще какая. Теперь я понимаю, почему Бэби Сагз так много думала о цвете в последние годы. У нее раньше никогда не хватало времени посмотреть вокруг и уж тем более чем-то любоваться. И она любовалась долго — сперва голубым, потом желтым, потом зеленым. Очень полюбила розо-

вый, но это уже перед самой смертью. Я думаю, к красному ее не влекло, и это понятно: мы с Возлюбленной красного ей дали предостаточно. Между прочим, красный и светло-розовый, как тот камень на могиле, были последними цветами, которые я помню. Ну, теперь– то я буду насчет красок настороже, буду ждать. Подумать только, чем станет для нас весна! Я посею морковь, и репу, и редиску — просто чтобы она могла хоть полюбоваться ими. Ты хоть одну редиску когда-нибудь видела, детка? Господи, до чего ж они хорошенькие! Бело-розовые, яркие, с нежными хвостиками, твердые, хрустящие. Приятно даже просто в руках держать. И пахнут, словно бегущий ручей, — горьковато, но счастьем. Мы с тобой вместе станем выдергивать их из земли. Возлюбленная моя. Возлюбленная. Потому что ты — моя, и я должна показать тебе все и научить тебя всему, чему мать учит свое дитя. Смешно, почему иногда совершенно не помнишь одних вещей и очень хорошо помнишь другие? Я, например, никогда не забуду руки той белой девушки, Эми. Но я забыла, какого цвета была жуткая грива у нее на голове. Хотя глаза вроде бы серые. Да, кажется, серые. Вот у миссис Гарнер глаза были светло-карие, пока она была здорова. В болезни

они потемнели. Сильная была женщина. И когда заговариваться стала, все твердила: «Я всегда была сильной, как мул, Дженни». Называла меня «Дженни», ей-богу, особенно когда в бреду бормотала. Она была высокая и сильная. Когда мы с ней вдвоем за дровами ходили, так вязанка у нас была не меньше, чем у мужчин. Ужасно ее мучило, что она не в силах голову с подушки поднять. И вот чего я до сих пор понять не могу: зачем ей понадобился этот учитель? Интересно, жива ли она? Я-то ведь выжила. Когда я ее видела в последний раз, она могла только плакать, а я — утирать ей слезы: я ей тогда рассказала, что они со мной сделали. Кто-нибудь же должен был это узнать. Услышать об этом. Хоть кто– нибудь. Может, она еще и жива, ведь этот учитель вряд ли обращался с ней так, как со мной. Но тот первый раз, когда меня избили, стал и последним. Больше никто не разлучит меня с моими детьми. Если бы я не была так занята уходом за миссис Гарнер, может, и узнала бы, что там с ними со всеми произошло. Может, Халле пытался что-то передать мне, а я стояла у ее постели и ждала, пока она оправится в горшок. Потом снова уложила ее в постель, и она сказала, что ей холодно. А сама была горячей, как адский огонь. Потребовала еще одеяло и

велела мне закрыть окно. Я отказалась. Сказала, что укутаю ее потеплее, но окно не закрою — мне дышать нечем. Пока длинные желтые занавеси в ее спальне раздувались от ветерка, было еще ничего. Невозможно было ни на минуту ее оставить. Может, мне показалось, что я слышала выстрелы, а может, действительно кто-то стрелял? Если б только я кого-то из них могла увидеть! Если бы. А я отвела своих детей в кукурузу и не стала больше ждать Халле. О, господи, как услышала, что та женщина затрещала гремучей змеей, так и отвела. Она спросила, придет ли кто-нибудь еще. Я сказала, что не знаю. Она говорит: я тут из-за вас всю ночь проторчала, больше ждать не могу. Я пробовала ее уговорить, но она ни в какую. Говорит, пошли со мной. Ох! И как назло, ни одного мужчины! Мальчики мои очень испугались. Ты спала у меня за спиной. Денвер тоже спала — у меня в животе. Мне тогда казалось, что душа моя разрывается надвое. Но я сказала, чтобы она брала вас всех с собой, а я должна все-таки вернуться. На всякий случай. Она только искоса на меня глянула и сказала: ты что, женщина, спятила? Но у меня, видно, язык совсем не ворочался: от него кусок оторвался, когда они мне спину полосовали, на лоскуте кожи висел, так я его закусила. Я

тогда еще подумала: господи, вот уже начинаю сама себя есть. Они ведь что сделали: выкопали в земляном полуямку для моего живота, чтоб ребенку не повредить… Денвер не любит, когда я об этом рассказываю. Она разговоры о Милом Доме терпеть не может; любит только, когда я рассказываю, как она родилась. Но ты-то там жила, так что, хоть ты и была слишком мала, чтобы Милый Дом помнить, я могу рассказать тебе о нем. О том уголке в винограднике. Ты помнишь? Как я тогда бросилась туда, вспомнив про мух! Нет, я, конечно, должна была сразу догадаться, кто ты такая, когда солнце светило тебе прямо в лицо — в точности как в тот день в винограднике. Я должна была понять сразу, когда из меня хлынула вода, стоило мне увидеть тебя на пне. Да и когда мне удалось хорошенько рассмотреть твое лицо, то по нему вовсе не трудно было догадаться, как ты можешь выглядеть спустя все эти годы. И еще — когда ты пила воду чашку за чашкой, мне должно было быть ясно, отчего это: ведь в тот день, когда я добралась до дома номер 124, ты брызнула своей чистой слюнкой мне в лицо — дала мне напиться. Я должна была это понять сразу, но меня отвлек Поль Ди. Иначе я бы сразу разглядела следы собственных ногтей

у тебя на лбу — на самом видном месте, когда все поддерживала твою голову, там, в сарае. Ну а когда ты спросила меня о тех сережках, которые я часто покачивала перед тобой, чтобы тебя позабавить, я должна была сразу все вспомнить, да Поль Ди помешал. Мне кажется, он с самого начала хотел, чтобы ты ушла, только я не позволяла. Ты-то что на этот счет думаешь? Гляди, как он сразу сбежал, когда узнал о нас с тобой — о том, что было в сарае! Слишком он нежный, чтобы слушать такие страсти. Он так и сказал: слишком все это тяжело. Любовь твоя, Сэти, слишком тяжела, говорит. Да что он в этом понимает? Разве хотел бы он ради кого-нибудь умереть? Разве расплатился бы своим телом незнамо с кем за одно лишь слово на камне? Был же, наверно, какой-нибудь другой выход, сказал он мне. Не такой. А вот пусть бы этот учитель оттащил тебя в сторону да и обмерил твою задницу, Поль Ди, прежде чем ее пополам разорвать. Я-то на своей шкуре все это испытала, и никто, ни двуногие, ни тварь ползучая, не заставит моих детей хлебнуть такого. Никого из моих детей! И когда я говорю, что ты — моя, то это значит, что и я — твоя. Если б меня моих детей лишили, я бы в ту же секунду дышать перестала. Когда я сказала об этом

Бэби Сагз, она упала на колени и стала просить Господа простить меня. Но это действительно так. И тогда так было. Я считала, что всем нам нужно поскорее переправиться туда, где сейчас моя мать. Всех они не дали мне переправить, зато не смогли помешать тебе вернуться. Ха-ха. И ты вернулась назад, как и полагается хорошей дочери, какой я хотела стать и стала бы, если б моя мать успела выбраться с рисового поля до того, как ее повесили и оставили меня одну. А знаешь что? Моей матери так часто совали в рот железный мундштук, что она всегда улыбалась. Даже когда ей было грустно, губы у нее все равно улыбались, а вот настоящей ее улыбки я никогда не видела. Интересно, что они делали, когда их поймали? Пытались убежать, ты как думаешь? Нет, вряд ли. Она ведь была моей матерью, а разве мать может убежать и бросить свою родную дочку с однорукой женщиной? Даже если она сама и не могла кормить свою девочку больше одной-двух недель и была вынуждена отдать ее общей кормилице, все равно она бы ее не бросила. Говорили, это из-за железного мундштука она все время улыбалась, даже когда не хотела. Как те девушки на дворе бойни, что работали там по субботам. Выйдя из тюрьмы, я их хорошо

рассмотрела. Они приходили к концу смены по субботам, когда мужчины получали деньги, и работали — за оградой, за сараями. Некоторые работали стоя, прислонившись к дверям мастерской. Часть своих жалких монеток они отдавали перед уходом десятнику, но тогда улыбок на их лицах уже не было. Некоторые из них после этого напивались, чтобы забыть. Другие, наоборот, не пили ни капли — несли все заработанное к Фелпсу, выплачивая долги за самое необходимое для своих детей или матерей. Да, они работали на скотобойне. А что им оставалось делать, я и сама была близка к этому, когда вышла из тюрьмы и вот, купила твое имя на камне. Но тут Бодуины договорились насчет работы для меня в ресторане у Сойера, и я стала улыбаться своей собственной улыбкой — той самой, какой я улыбаюсь сейчас, когда думаю о тебе.

Но ведь ты все это уже знаешь, потому что ты умненькая, как все говорили. Когда я добралась сюда, ты уже ползала, пыталась вставать на ножки и взбираться по лестнице. Бэби Сагз покрасила ступеньки в белый цвет, чтобы ты могла видеть весь свой путь наверх, в потемки, куда не доставал свет лампы. Господи, как же ты любила эту лестницу!

Да, я была близка, очень близка к тому, чтобы стать такой же, как те девушки, что приходили на бойню по субботам. Опыт у меня уже был — в мастерской у резчика. Так что до бойни по субботам было рукой подать. Когда я приподняла тот розовый камень и положила туда, где ему и положено было лежать, мне и самой захотелось лечь в землю рядом с тобой, положить твою головку себе на плечо и попытаться тебя согреть. И я, наверно, сделала бы это, если б не была так нужна Баглеру, Ховарду и Денвер, ибо душа моя тогда была бесприютна и не знала покоя. Но я не могла лечь с тобой, как бы сильно я этого ни хотела. Тогда, в те времена, я нигде не могла бы лежать спокойно. Теперь могу. Теперь, слава богу, я могу спать как мертвая. Она ко мне вернулась, моя дочь! И она — моя.

* * *

Возлюбленная — моя сестра. Я глотала ее кровь вместе с материнским молоком. А первое, что я услышала после долгой глухоты, — как она карабкалась по лестнице и падала. Она была моей тайной подругой, пока не явился этот Поль Ди, который вышвырнул ее из нашего дома. Она была моей подругой, сколько я себя помню, и

помогала мне ждать папу. Мы с ней вместе ждали его. Я очень люблю мать, но знаю, что она убила одну из своих дочерей. И пусть ко мне она очень добра, я все-таки ее боюсь. Она чуть не убила моих братьев, и они это знали. Они рассказывали мне «ведьминские» истории, ужасно страшные, и показывали, как нужно убивать, если мне когда-нибудь это понадобится. Может быть, потому, что были на волосок от смерти, они и решили пойти на Войну. Во всяком случае, говорили мне, что туда собираются. Только, по-моему, они стали бы убивать мужчин, а не женщин. А в нашей матери и точно есть что-то такое — сразу ясно, что она способна своих детей убить. Вот я и боюсь, что раз моя мать смогла убить мою сестру, то это может повториться. Я не знаю, что ее заставило или кто, но, должно быть, что-то очень страшное, и оно еще существует и может заставить ее снова так поступить. Нужно узнать, что так подействовало на нее, но я не хочу. Что бы это ни было, оно приходит в наш дом и в наш двор снаружи, издалека, и может явиться когда захочет. Вот я и стараюсь не отлучаться и всегда внимательно слежу за двором, чтобы это не случилось снова и моей матери снова не пришлось бы убивать — теперь меня. С тех пор как я перестала учиться у Леди Джонс,

я больше из нашего дома одна не выходила. Никогда. В остальные разы — их всего было два — я была с мамой. Один раз мы ходили проведать бабушку Бэби, похороненную рядом с моей сестрой Возлюбленной. А во второй раз мы ходили вместе с Полем Ди на карнавал, и, когда возвращались, я еще подумала: теперь наш дом так и останется пустым, раз он прогнал оттуда привидение. Но нет. Когда я подошла к дому, Возлюбленная была уже там. Ждала меня. Усталая после долгого пути назад. Готовая принять чью-то заботу о себе, готовая к тому, чтобы я ее защищала. И теперь мне приходится держать мать подальше от нее. Это трудно, но я должна. Все заботы на мне. Я помню: я уже видела мать в каком-то темном месте, там все время что-то скреблось и царапалось. И платье ее так противно пахло. Я была там с матерью, и что-то маленькое все время следило за нами из углов. И порой касалось нас. Да, касалось. Я довольно долго не вспоминала об этом, пока меня не заставил вспомнить Нельсон Лорд. Я спросила мать, правда ли это, но услышать, что она ответила, уже не смогла; и стало невозможно ходить в школу к Леди Джонс, ведь я совсем ничего больше не слышала. Наступила полная тишина. И я научилась читать по губам и по выражению лиц

угадывать, о чем люди думают, так что мне даже и не нужно было слышать, что они говорят. Вот как получилось, что мы с Возлюбленной стали играть вместе. Мы не говорили. Играли. На крыльце. У ручья. В зеленой комнатке. Все заботы теперь на мне, но она может на меня положиться. Я тогда решила, что она хочет убить маму– на Поляне. В отместку. Но она только поцеловала маму в шею, и мне потом пришлось предупреждать ее: не люби нашу мать слишком сильно. Не люби! Может быть, то страшное еще сидит в ней — то, что позволяет поднять руку на собственных детей. Я должна была сказать ей об этом. Должна была защитить ее.

Каждую ночь мать отрезает мне голову. Баглер и Ховард говорили, что непременно отрежет, и она это делает. Ее красивые глаза смотрят на меня как на чужую. Глаза совсем не злые и не страшные, а такие, словно я младенец, которого она случайно нашла и пожалела. Словно она не хочет этого делать, но должна, и мне не будет больно. Словно это самая обычная вещь, вроде как занозу вытащить или порошинку из глаза — все взрослые детям это делают. Вот она оглядывается на Баглера и Ховарда — убедиться, что с ними все в порядке. Потом подходит ко мне. Я

знаю, она все сделает хорошо, осторожно, правильно. Что когда она отсечет мне голову, больно не будет. Она это делает, и я лежу спокойно еще минутку, и голова моя пока при мне. Но потом она уносит ее вниз, чтобы заплести мне косы. Я пытаюсь не плакать, но так ужасно больно, когда тебе расчесывают волосы! Когда она начинает заплетать косы, я становлюсь очень сонной. Мне хочется снова лечь и уснуть, но я знаю: если усну, то уже никогда не проснусь. Приходится бороться со сном, пока она меня не причешет, а уж потом можно и спать. Самое страшное — ждать, когда она войдет и сделает это. Не тот миг, когда она это делает, а когда ждешь. Единственное место, где она ночью до меня добраться не может, — это комната бабушки Бэби. А наша спальня наверху раньше принадлежала горничной, когда здесь еще белые жили. А кухня у них была снаружи. Но бабушка Бэби превратила ее в дровяной сарай и мастерскую, когда переехала в этот дом. И черный ход забила, сказав, что больше не желает совершать бесконечные путешествия из кухни в дом и обратно. А у черного хода она устроила теплую кладовую, так что если вы хотите попасть в наш дом, то придется обойти его кругом. Бабушка Бэби говорила, что ей наплевать на сплетни

насчет того, что она двухэтажный дом превращает в жалкую негритянскую хижину, где и готовят тоже внутри, и что посетители в хороших платьях не желают даже присесть рядом с кухонной плитой, и всякими очистками, и жиром, и копотью. Она на них ноль внимания, так она говорила. В ее комнате я чувствовала себя в полной безопасности. Обычно я могла слышать только свое собственное дыхание, но иногда, днем, мне казалось, что рядом со мной сопит кто-то еще. Я тогда стала следить за нашим псом Мальчиком — как у него живот ходит туда-сюда, чтобы понять, совпадают его вдохи и выдохи с моими или нет, то задерживала дыхание, когда он делал вдох, то выпускала воздух с ним одновременно. Просто хотелось узнать, откуда он — этот звук, странный такой, будто кто-то тихо и ритмично дует в горлышко бутылки. Неужели это я сама так дышу? Или Ховард? Кто же? Это случилось как раз тогда, когда для меня наступила полная тишина и когда я не могла разобрать, что говорят другие. Мне это, в общем-то, не мешало, даже наоборот, в тишине лучше было думать о папе. Я всегда знала, что он к нам едет. Просто его что-то задерживает. Что-нибудь случилось с лошадью. Река разлилась; лодка дала течь, и пришлось делать новую. Ино-

гда, правда, мне мерещилась толпа линчующих или смерч, который обрушивался внезапно. Я знала, что он приедет, но это было моей тайной. Всю остальную, нетайную часть души я отдавала матери, чтобы она не смогла убить меня; я любила ее даже во сне, когда она причесывала мою отрезанную голову. Я никогда не говорила ей, что папа скоро за мной приедет. Бабушка Бэби тоже сперва ждала, что он скоро приедет. Потом, правда, перестала. А я никогда не переставала. Даже когда сбежали Баглер и Ховард. А потом появился Поль Ди. Услышав внизу его голос и мамин смех, я подумала: это он, папа! Все равно больше никто в наш дом не приходил. Но когда я спустилась вниз, то увидела Поля Ди. И явился он вовсе не ко мне; ему нужна была только моя мать. Сперва. Потом ему понадобилась еще и моя сестра, но она-то его отсюда и выгнала, и я очень рада, что он ушел. Теперь здесь живем только мы, и я могу защищать Возлюбленную, пока наш отец не приедет и не поможет мне присматривать за мамой и следить, как бы то страшное снова не пробралось в наш дом.

Мой папа больше всего на свете любил недожаренную яичницу-болтунью. Он в нее хлеб макал. Бабушка Бэби часто мне об этом рассказывала.

Она говорила, что когда она могла ему зажарить большую яичницу-болтунью, так для него это было все равно что Рождество. Бабушка рассказывала, что всегда даже чуточку побаивалась моего отца, до того он был добрый и хороший. С самого детства — так она говорила — он был слишком хорош для этого мира. И ей от этого становилось страшно. Она думала: Господь ничего без умысла не делает. Белые, должно быть, тоже так думали, поэтому позволили им никогда не разлучаться. Так что у бабушки была возможность хорошо узнать своего сына, заботиться о нем, и он вечно пугал ее своими увлечениями: очень любил зверей, всякие инструменты, злаки и даже буквы. Он умел считать на бумаге. Его тот хозяин научил. Он и другим это предлагал, но учиться захотел только мой папа. По словам бабушки, остальные сразу отказались. Один из них, у которого вместо имени было число[11], сказал: от этого ученья у него душа переменится и он забудет то, о чем забывать не должен, а ему такая путаница ни к чему. А мой отец сказал: «Если ты считать не умеешь, так тебя всякий обманет. А если не умеешь читать, так тебя каждый проведет». Им это по-

[11] Примечания: 11
Сиксо (от англ. «six-о») — букв, «шесть-о.

казалось смешным. Бабушка Бэби говорила, что она-то не сразу об этом узнала, но только потому, что мой отец умел считать, читать и писать, он смог ее выкупить. А еще она говорила, что сама всегда мечтала научиться читать Библию, как настоящие священники. Вот и хорошо, что я научилась и тому, и другому, и я училась очень хорошо, пока не наступила эта тишина и я могла слышать только свое собственное дыхание и еще чье-то — того, кто перевернул кувшин с молоком, стоявший посреди стола. Никого там и близко не было. Мама все-таки выдрала Баглера, хотя он его вовсе не трогал. Потом оно разбросало и перемяло целую груду только что отглаженного белья и сунуло руки в тесто. Похоже, я одна уже тогда все понимала.

А когда она вернулась, я сразу поняла, кто она такая. Ну, не сразу, конечно, но очень скоро — когда она по буквам произносила свое имя, и это было не то имя, которым ее нарекли, а то, за которое мама заплатила резчику, чтоб вырезал на камне. А когда она спросила про мамины сережки — я-то о них и вовсе не знала, — что ж, тогда и удивляться нечему это моя сестра пришла и будет вместе со мной ждать нашего отца.

Отец мой был не человек, а чистый ангел. Вот

он посмотрит на тебя и сразу скажет, где у тебя болит, и тут же все вылечит. Он подвесил над кроватью бабушки Бэби такую петлю, чтоб ей легче было вставать с постели и ложиться, а еще он сделал такую ступенечку, чтобы когда она подолгу простаивала на кухне, то стояла бы ровно. Бабушка говорила, что она всегда боялась, что какой-нибудь белый собьет ее с ног на глазах у детей. Она всегда вела себя очень достойно и вообще все делала правильно, особенно перед детьми, потому что не хотела, чтобы они видели, как ее сбивают с ног. Она говорила, дети с ума сходят, когда видят такое. В Милом Доме никто вроде бы ничего подобного не делал и не собирался делать, так что папа никогда этого не видел и с ума не сходил, и даже сейчас я об заклад готова побиться, что он пытается добраться сюда. Если уж Поль Ди смог это сделать, так мой папа тоже сможет. Не человек, а чистый ангел. Нам всем нужно быть вместе — мне, ему и Возлюбленной. А мама как хочет: может оставаться с нами или уйти куда-то с этим Полем Ди. Если только папа сам не захочет, чтобы она была с ним, но я думаю, что теперь уже не захочет, потому что она пустила Поля Ди в свою постель. Бабушка Бэби рассказывала, что люди всегда смотрели на нее

свысока, потому что у нее было восемь детей от разных мужчин. И цветные, и белые — все смотрели на нее свысока. Считается, что рабы не должны получать удовольствия и испытывать какие-то чувства. Их тела вроде как для этого не приспособлены. Они должны рожать как можно больше детей, чтобы доставить удовольствие своему хозяину. Но при этом сами они никакого удовольствия испытывать не должны. Бабушка Бэби говорила, что все это ерунда и чтобы я всегда прислушивалась к своему телу и любила его.

Моя зеленая комнатка… Когда бабушка умерла, я пошла туда. Мама строго запретила мне выходить во двор и есть вместе с остальными. Мы с ней все это время оставались в доме. Это было ужасно обидно. Я знаю, бабушке Бэби непременно понравились бы и сами поминки, и те люди, что пришли к нам во двор, потому что она очень тосковала, никого не видя и никуда не выходя, и печалилась, размышляя о различных цветах радуги и о том, как она ошибалась, думая, что душа и сердце что-то могут и что-то значат. Все равно белые люди явились к ней в дом. Она все делала правильно, но они таки явились. И она не знала, как быть. Все, что у нее осталось, это ее сердце, но они и сердце ее разбили — даже Война

с ней такого сделать не сумела.

Она мне все про моего отца рассказала. Как тяжко ему приходилось работать, чтобы выкупить ее. А когда был испорчен пирог и переглаженное белье измято и разбросано, и когда я услышала, как моя маленькая сестра карабкается по лестнице, чтобы добраться до своей кроватки, бабушка Бэби и обо мне все рассказала. Что я заколдована. Что мое рождение было просто чудом и что меня всякий раз что-то спасало. И что мне не нужно бояться маленького привидения. Оно никогда не причинит мне вреда, потому что я попробовала его крови, крови своей сестры, когда мать кормила меня грудью. Она сказала, что этот дух преследует маму и ее тоже, потому что она ничего тогда не сделала, чтобы остановить зло. Но меня дух никогда не тронет. Мне просто нужно быть к нему внимательной, потому что это жадный дух и ему нужно очень много любви, что, если подумать, вполне понятно. Я так и делаю. Люблю ее. Очень люблю. Она играла со мной и всегда приходила, когда я в ней нуждалась. Она моя, Возлюбленная. Она моя.

* * *

Я — Возлюбленная, и она моя. Я вижу, как она собирает цветы обрывает листья на стеблях кладет их в круглую корзинку листья ей не нужны она заполняет корзинку доверху раздвигает траву я бы непременно помогла ей, но облака застилают путь как могу я рассказать о том, что не слова, а картины я неотделима от нее я нигде не могу остановиться ее лицо — это мое лицо, и я хочу быть там, где ее лицо, хочу смотреть на него горячо Все это — сейчас всегда — сейчас я всегда буду прижиматься к земле и смотреть, как прижимаются другие я на земле тот человек, что лежит на моем лице, мертв его лицо — это не мое лицо изо рта у него пахнет сладко, но глаза заперты некоторые поедают сами себя не я люди без кожи приносят нам утром свою мочу вместо питья у нас нет ничего ночью я не могу видеть того мертвого человека, что лежит у меня на лице дневной свет просачивается сквозь щели, и я снова вижу его запертые глаза я не очень большая маленькие крысы не дожидаются, пока мы уснем кто-то их гонит, только здесь слишком тесно если бы у нас было больше питья, мы могли бы плакать мы не можем даже потеть или выделять

мочу, так что люди без кожи приносят нам свою
однажды они принесли нам сладкие камешки,
чтобы мы их сосали все мы пытаемся покинуть
наши тела тот мертвый человек, что лежит на
моем лице, сделал это очень трудно заставить
себя умереть навсегда просто ненадолго засыпа-
ешь, потом возвращаешься в самом начале нас
еще могло стошнить теперь нет теперь мы не
можем у него красивые белые зубы кого-то бьет
дрожь я чувствую это он старается вырваться из
своего тела, трепещет как птичка здесь так тесно,
что даже трепетать негде, он не может умереть
того мертвого человека стащили с моего лица я
больше не вижу его красивые белые зубы. Сейчас
мы не прижаты к земле мы стоим, но ноги мои
заперты — как глаза моего мертвого человека я
не могу упасть, здесь слишком тесно люди без
кожи говорят очень громко я не умерла этот хлеб
цвета моря я слишком голодна, чтобы есть солнце
заставляет меня закрыть глаза те, кто способен
умереть, лежат друг на друге я не могу найти
того человека, чьи зубы мне нравились горячо
небольшой холм из мертвых тел горячо люди без
кожи тычут в него палками а вот и та женщина с
лицом, которое мне нужно это мое лицо они па-
дают в море цвета хлеба сережек у нее в ушах нет

будь у меня такие зубы, как у моего мертвого, я бы вцепилась в кружок у нее на шее разгрызла бы его я знаю, ей он не нравится теперь здесь хватает места, чтобы припасть к земле и смотреть, как припадают другие сейчас и всегда только жаться к земле внутри та женщина с моим лицом в море горячо Вначале я могла видеть ее я не могла ей помочь, потому что облака застилали мне путь вначале я могла видеть ее что-то сверкало у нее в ушах ей не нравится тот кружок вокруг шеи я это знаю я пристально смотрю на нее, чтобы она догадалась, что облака застилают мне путь я знаю, она меня видела я смотрю на нее и вижу, что она меня видит глаза ее пустеют и вот я здесь, в том месте, где у нее лицо, и рассказываю ей, что шумящие облака не пускали меня она хочет свои сережки она хочет свою круглую корзинку я хочу ее лицо горячо вначале женщины были отдельно от мужчин буря разбросала нас и смешала мужчин с женщинами и женщин с мужчинами тогда я и оказалась за спиной у того мужчины долгое время я видела над собой только его шею и широкие плечи я маленькая я люблю его, потому что у него есть песня когда он перевернулся на спину и умер, я увидела зубы, сквозь которые он пел тихо пел пел про то место, где женщины

собирают цветы и обрывают листья, а потом кладут в круглую корзинку пока не появились облака она приникла к земле рядом с нами но я не вижу ее, пока он не запирает свои глаза и не умирает прямо на моем лице мы так и остались лежать он больше не дышит, а его недышащий рот пахнет сладко другие не знают, что он умер я знаю он больше не поет свою песню теперь вместо той песни я люблю его красивые белые зубы Я не могу снова потерять ее мой мертвый человек мешал мне пройти, как и те шумные облака когда он умер у меня на лице, я смогла увидеть ее лицо она вот-вот улыбнется мне вот-вот ее сережки с остренькими концами исчезли люди без кожи громко кричат проталкивают вперед моего мертвого они не толкают женщину с моим лицом она уходит куда-то внутрь они не проталкивают ее вперед она уходит тот холмик исчез она собиралась вот-вот улыбнуться мне вот-вот горячо Теперь они не корчатся рядом с нами это мы прижались к земле они плывут в воде они взламывают тот холмик и проталкиваются сквозь него я не могу отыскать того, с хорошенькими белыми зубками я вижу темнокожее лицо, готовое вот-вот улыбнуться мне это мое собственное лицо готово вот-вот мне улыбнуться

у нас на шее железный кружок у нее в ушах нет сережек с остренькими концами и круглой корзинки у нее нет она уходит в воду с моим лицом Я стою под дождем остальных забрали меня не забрал никто я падаю, как струи дождя я смотрю, как он ест внутри я прижимаюсь к земле, чтобы удержаться и не падать вместе с дождем я вот-вот рассыплюсь на куски он делает больно там, где я сплю тычет туда свой пальцем я роняю еду и рассыпаюсь на куски она отнимает у меня мое лицо нет никого, кому я нужна кто назовет меня по имени я жду на мосту, потому что она — под ним ночь проходит, и день проходит снова снова ночь-день ночь– день я жду железного кружка на шее у меня больше нет лодки не плавают по этим водам здесь нет людей без кожи моего мертвого здесь нет его зубы там, внизу, где синева и травы и лицо, которое я ищу лицо, что вот-вот улыбнется мне вот-вот улыбнется днем бриллианты видны в воде, где и она сама, и те черепашки ночью я слышу, кто-то жует, и глотает, и смеется во мне смеется она — это смех смеется во мне я вижу ее лицо — мое лицо то лицо, что хотело улыбнуться мне там, где мы прижимались к земле теперь она улыбнется ее лицо всплывает из-под воды горячо ее лицо — это мое лицо она не улыбается

она жует и глотает мне нужно мое лицо я вхожу трава раздвигается она раздвигает ее я в воде, и она идет ко мне у нее нет круглой корзинки нет железного кружка на шее она поднимается туда, где бриллианты я иду за ней мы внутри бриллиантов, они превратились в сережки мое лицо приближается мне нужно мое лицо я хочу соединиться с ним я так люблю свое лицо мое темнокожее лицо совсем близко я хочу с ним соединиться она шепчет мне шепчет я тянусь к ней она жует, и глотает, и касается меня она знает, что я хочу соединиться она жует и глотает меня я исчезла теперь я — ее лицо у меня больше нет лица я вижу, что уплываю прочь горячо я вижу в воде свои пятки я одна я хочу быть нами обеими я хочу соединиться я выхожу из голубой воды когда мои пятки уплывают от меня, я выхожу из воды мне нужно найти место, где я останусь воздух тяжек я не умерла нет вот дом про него она что-то шептала мне я там, где она мне велела я не умерла я сажусь солнце бьет мне в глаза когда я их открываю, я вижу лицо, которое потеряла лицо Сэти, лицо, что пропало у меня Сэ-ти видит меня и понимает, что я вижу ее, и я вижу ее улыбку ее улыбающееся лицо — вот место для меня она — лицо, которое я потеряла она — мое

лицо, и она улыбается мне наконец-то улыбается горячо, теперь мы можем соединиться горячо.

* * *

Я Возлюбленная, и она моя. Сэти — та, что собирала цветы, желтые цветы, прежде чем скорчиться на земле. Уносила цветы прочь, обрывая их зеленые листья. Теперь эти цветы — на том стеганом одеяле, под которым мы спим. Она готова была вот-вот улыбнуться мне, когда явились те люди без кожи и вытащили нас наверх, на солнечный свет, вместе с мертвыми, а мертвых побросали в море. Сэти тоже упала в море. Она упала сама. Они ее не толкали. Она сама туда упала. Она готова была вот-вот улыбнуться мне, но когда увидела, как мертвых сталкивают в море, то прыгнула тоже и бросила меня одну и без лица и своего лица мне тоже не оставила. Сэти — то лицо, которое я нашла и потеряла в реке под мостом. Когда я погрузилась в воду, то увидела, как ее лицо приближается ко мне; это было и мое лицо тоже. Я хотела с ней соединиться. Я пыталась, но она всплыла наверх, к солнечным зайчикам. Я снова потеряла ее, но отыскала тот дом, о котором она мне шепнула, там она и была, и наконец улыбалась мне. Это хорошо, но я

не могу снова потерять ее. Единственное, что я хочу знать: почему она прыгнула в воду, там, где мы прижимались к земле? Зачем она это сделала, когда вот-вот собиралась улыбнуться мне? Я хотела прыгнуть к ней в море, но и шагу не могла сделать; я хотела помочь ей, когда она собирала цветы, но меня слепил дым от выстрелов, и я снова потеряла ее. Три раза я теряла ее: один раз, когда она собирала цветы, из-за тех шумных облаков; потом, когда она прыгнула в море, вместо того чтобы улыбнуться мне; и еще раз под мостом, когда я погрузилась в воду, чтобы соединиться с ней, и она подплыла ко мне, но так и не улыбнулась. Она шептала мне что-то, жевала меня, потом уплыла прочь. Теперь я нашла ее в этом доме. Она улыбается — мое лицо улыбается мне! Я ни за что не расстанусь с ней. Она моя.

Скажи мне правду. Ты ведь пришла оттуда?

Да. Я была там.

Ты вернулась из-за меня?

Да.

Ты помнишь меня?

Да. Я тебя помню.

Ты никогда меня не забывала?

У тебя мое лицо.

Ты действительно простила меня? Ты оста-

нешься? Здесь тебя никто не тронет.

А где те люди без кожи?

Там. Далеко отсюда.

Они не могут добраться сюда?

Нет. Один раз пытались, но я их не пустила. Они больше никогда не

вернутся.

Один из них был в том же доме, где и я. Он делал мне больно.

Они больше не смогут сделать нам больно.

Где твои сережки?

У меня их забрали.

Те люди без кожи забрали их?

Да.

Я хотела помочь тебе, но облака застилали мне путь.

Здесь таких облаков нет.

Если они наденут тебе на шею железный кружок, я его разгрызу.

Возлюбленная моя.

Я сплету тебе новую круглую корзинку.

Ты вернулась. Вернулась.

А мы с тобой улыбнемся мне?

Разве ты не видишь, что я уже улыбаюсь?

Я люблю твое лицо.

Мы играли у ручья.

Я была в воде.

А когда было тихо, мы играли.

Облака шума застилали мне путь.

Когда ты была нужна мне, ты всегда приходила.

Мне нужно было ее лицо, чтоб улыбнуться.

Я могла слышать только дыхание.

Он больше не дышал; видны были только зубы.

Она сказала: ты не причинишь мне зла.

Она причинила мне боль.

Я буду защищать тебя.

Я хочу ее лицо.

Не люби ее слишком сильно.

Я уже люблю ее слишком сильно.

Осторожней, она может околдовать тебя.

Она жует и глотает.

Не засыпай, когда она расчесывает тебе волосы и заплетает косы.

Она тот смех, что смеялся во мне.

Я слежу за домом; и за двором тоже.

Она меня бросила.

Скоро за нами приедет папа.

Горячо.

Возлюбленная

Ты моя сестра

Ты моя дочь
Ты мое лицо; ты — это я
Я вновь обрела тебя; ты вернулась ко мне
Ты Возлюбленная моя
Ты моя
Ты моя
Ты моя
У меня есть молоко для тебя У меня есть улыбка для тебя Я стану
заботиться о тебе
Ты мое лицо; я — это ты. Почему же ты бросила меня? Ведь я — это ты
Я больше никогда не оставлю тебя
Никогда больше не смей оставлять меня
Ты никогда больше меня не оставишь
Ты погрузилась в воду
Я пила твою кровь
Я принесла тебе молоко
Ты забыла мне улыбнуться
Я любила тебя
Ты сделала мне больно
Ты вернулась ко мне
Ты меня бросила
Я ждала тебя
Ты моя
Ты моя

* * *

Это была совсем маленькая церковь, не больше гостиной в зажиточном доме. Скамьи были без спинок, а поскольку прихожане сами исполняли обязанности хора, то специального места для хора не требовалось. Прихожане побогаче специально пожертвовали некую сумму на строительство кафедры для пастора, чтобы он несколько возвышался над своей паствой, однако особой необходимости в этом не было — нельзя же оказаться пастору выше белого дубового креста, который уже занял подобающее место. Прежде чем стать церковью Спасителя, этот дом служил бакалейной лавкой, где боковые окна были ни к чему, а окна фасада использовались как прилавок Они были заклеены бумагой, пока члены конгрегации решали, то ли закрасить стекла, то ли повесить на окна шторы — им хотелось одновременно и обрести уединение, и не лишиться света, который просачивался сквозь стекла. Летом двери постоянно оставались открытыми навстречу ветерку. Зимой железная печка грела как могла. Перед дверями было крепко сколоченное крыльцо, где обычно прежде сиживали

покупатели бакалейной лавки, а дети смеялись над историей про мальчишку, который сунул голову между прутьями перил, да так и застрял. Солнечным тихим январским днем на крыльце было теплее, чем в самой церкви, особенно если железная печка не топилась. В сыроватом подвале холод не так пробирал до костей, но там не было ни света, чтобы пробраться к тюфяку на полу, ни таза для умывания, ни гвоздя, на который можно повесить одежду. А масляная лампа, принесенная Полем Ди, выглядела в подвале настолько печально, что он предпочитал сидеть на крыльце и согреваться, прикладываясь к бутылочке, которую засунул в карман куртки. От выпитого действительно становилось теплее, но глаза у Поля Ди все время были красными. Он зажал руки между коленями не потому, что они дрожали; просто ему некуда было их деть. Заветная жестянка из-под табака была теперь открыта, содержимое ее кружилось перед ним, превращая его то ли в свою игрушку, то ли в жертву.

Он никак не мог понять, почему все это длится так долго. Он с тем же успехом мог бы прыгнуть в огонь вместе с Сиксо, и они отлично посмеялись бы вместе. Все равно ведь пришлось сдаваться, почему же не встретить свою гибель со смехом,

выкрикивая «Семь-О»? Почему бы и нет? К чему откладывать? Он уже однажды смотрел вслед своему брату, махавшему на прощанье рукой с задка телеги, — жареный цыпленок в кармане, на глазах слезы. Мать. Отец. Матери он не помнил. Отца никогда не видел. Он был самым младшим из трех сводных братьев (мать у них была одна, а отцы разные), проданных Гарнеру и живших у него на ферме без права выходить за ее пределы целых двадцать лет. Однажды, в Мэриленде, он встретил четыре семьи рабов, которые в течение ста лет жили вместе: прадеды, деды, матери, отцы, тетки, дядья, двоюродные сестры и братья, дети. Мулаты, квартероны, негры, метисы. Он смотрел на них с восторгом и завистью и каждый раз, встречая большие семьи цветных, приставал к ним с вопросами, кто кому кем приходится.

— Это вот моя тетушка. А вон тот мальчик — ее сынок А это двоюродный брат моего отца. Мама была замужем дважды, так что это моя сводная сестра и ее двое детишек Ну а перед тобой — моя жена…

Ничего подобного у него самого никогда не было, и, подрастая в Милом Доме, он о семье не тосковал. У него были братья, двое друзей, на кухне — Бэби Сагз, хозяин, который учил их

стрелять из ружья и прислушивался к их словам, хозяйка, которая варила им суп и никогда не повышала голоса. Двадцать лет они прожили в этой колыбели, пока не уехала Бэби, не появилась Сэти и Халле не взял ее в жены. У них была настоящая семья, и Сиксо тоже с чертовским упрямством стремился создать настоящую семью с той женщиной с тридцатой мили. Когда Поль Ди распрощался со своим старшим братом, старый хозяин уже умер, хозяйка стала какой-то нервной, а их общая колыбель дала здоровенную трещину. Сиксо уверял всех, что миссис Гарнер заболела по вине доктора, потому что тот давал ей лекарство, которое дают жеребцам, когда они ногу сломают, а порох тратить не хочется, и если бы не новые правила, введенные этим учителем, он, Сиксо, обязательно бы все ей рассказал. Они над ним посмеялись. У Сиксо всегда было наготове очередное объяснение. Все-то на свете он знал. Даже про удар мистера Гарнера — Сиксо заявил, что тому просто выстрелили в ухо. Кто-нибудь из завистливых соседей.

— А кровь-то где же? — спрашивали они.

Крови не было. Мистер Гарнер приехал домой, навалившись на шею своей кобылы, весь в поту, бледный до синевы, но ни капли крови видно не

было. Сиксо только ворчал; из них ему одному не было жаль, что мистер Гарнер умирает. Позже, однако, он об этом очень сильно пожалел; все они пожалели.

— Зачем она позвала его? — спрашивал Поль Ди. — Зачем он ей, учитель этот?

— Ей нужен кто-нибудь, умеющий хорошо считать, — сказал Халле.

— Да ведь ты же умеешь!

— Умею, да не так.

— Нет, парень, — сказал Сиксо. — Просто ей тут нужен еще один белый.

— Зачем?

— А ты как думаешь? Ну-ка?

Что ж, так вот оно и было. Никто не предполагал, что Гарнер умрет. Никто даже об этом не думал. Оказалось, все держится только на нем. Когда он умер, их жизни разлетелись на куски. Рабство, оно рабство и есть, как там его ни назови. Особенно прижали Поля Ди; он был мужчина в самом расцвете сил, выше многих других и сильнее многих. Сперва у него отняли ружье, потом мысли, потому что учитель не желал слушать советы чернокожих. Их попытки что-то объяснить он называл дерзостью и разработал целую систему наказаний (которую изложил в своей

книжечке), чтобы отучить их от этого. Он жаловался, что они слишком много едят, слишком много отдыхают, слишком много болтают, что, пожалуй, было правдой, если сравнивать с ним самим: он мало ел, еще меньше говорил и, кажется, совсем не отдыхал. Однажды он увидел, как они играют в пристеночек, и его оскорбленного взгляда было достаточно, чтобы Поль Ди моргнул и промахнулся. Он был и со своими учениками не менее суров, только наказывал их иначе.

Долгие годы Поль Ди считал, что этот учитель ломал и превращал в детей тех, кого Гарнер воспитал настоящими мужчинами. Это и заставило их решиться на побег. Теперь, измученный вывалившимся наружу содержимым той жестянки из– под табака, он все пытался понять, сколь же на самом деле велика разница между тем, что было с ними до появления этого учителя, и после. Гарнер называл их мужчинами и объявлял об этом всем и каждому — но они были мужчинами только на ферме и с его разрешения. Называл ли он этим словом то, что видел в действительности, или пытался создать то, чего не видел? Это не давало покоя Сиксо и даже Халле. Полю Ди всегда было ясно, что эти-то двое точно были настоящими мужчинами, независимо от того, как их

называл Гарнер. Беспокоил его вопрос относительно собственных мужских качеств; он на этот счет был собой недоволен. Нет, он, конечно же, как и все, выполнял всякую мужскую работу — но неясно, то ли с разрешения мистера Гарнера, то ли по собственному желанию? И кем бы он в конце концов стал — без Милого Дома, без Гарнера? В тех краях, например, откуда Сиксо был родом или его собственная мать? Или, господи помилуй, на невольничьем судне? Неужели только слово какого-то белого, назвавшего его мужчиной, его в мужчину и превратило? Предположим, Гарнер проснулся бы однажды утром и передумал. Взял бы это слово назад. Убежали бы они тогда? И если бы он даже этого не сделал, остались бы все три Поля в Милом Доме на всю жизнь или нет? Почему ему с братом, чтобы решиться на побег, понадобилась целая ночь? Неужели чтоб обсудить, стоит ли им присоединяться к Сиксо и Халле? А все потому, что они были отгорожены от окружающего мира с помощью чудесной лжи, а жизнь Халле и Бэби Сагз до Милого Дома казалась им просто цепью неудач. Не понимая тех мрачных историй, которые рассказывал Сиксо, или забавляясь ими, они чувствовали себя защищенными от невзгод и были убеждены в том, что они

особенные. Они даже не подозревали, что существует Альфред в штате Джорджия, и настолько любили мир, окружающий их, что готовы были мириться с чем угодно, лишь бы жить и быть там, где луна, на которую он, Поль Ди, как потом оказалось, не имел никакого права, все-таки всходила и всегда была прекрасна. Они познали очень мало любви, да и то потихоньку, тайком. Его маленькой любовью было, конечно, дерево; не такое, как Братец — старый, с широкой кроной и манящей тенью, — нет, ничего похожего.

В Альфреде, штат Джорджия, была одна осинка, которую даже подростком назвать было нельзя. Тоненькая, ему еле до пояса — прутик, который годится разве что лошадь погонять. Пенье, убивающее жизнь, та осинка. Он жил, чтобы петь песни, убивавшие жизнь, и наблюдать за той осинкой, которая жизнь утверждала. И никогда, ни минуты не верил, что может убежать. Пока не пошли дожди. Зато потом, после того как индейцы чероки указали ему путь и послали его вдогонку за цветом деревьев, ему хотелось только двигаться, идти, проводить в пути целый день, а назавтра оказываться уже в другом месте. И он примирился с отсутствием в его жизни тетушек, двоюродных братьев, сестер и детей. И даже жен-

щины — пока не пришел к Сэти.

А потом эта девушка выгнала его. Как раз когда все сомнения, сожаления и все незаданные вопросы куда-то разом отступили, через много-много дней после того, как он поверил, что собственной волей заставил себя жить, и как раз там, где он наконец захотел пустить корни. Она гнала его из одной комнаты в другую, из дома — в сарай. Швыряла, как старую тряпичную куклу.

Сидя на крыльце бывшей бакалейной лавки, а ныне церкви, немножко пьяный и мучаясь от безделья, он вполне мог разрешить себе подобные мысли. И вообще — подумать: не торопясь, со всякими «а что, если», которые врезаются глубоко, но не дают достаточно твердой опоры, чтобы можно было за нее уцепиться. Так что он держался сам за себя, вцепившись одной рукой в кисть другой. Мимоходом он вошел в жизнь этой женщины и позволил ей войти ему в душу, — это как раз и стало причиной краха. Желание прожить оставшиеся годы с настоящей, принадлежащей одному ему женщиной было непривычным, и когда он это желание утратил, ему хотелось только оплакивать свою утрату и думать спокойно и неторопливо, хотя подобные мысли и не давали возможности обрести хоть какую-то опору. Когда

он плыл по течению, думая лишь о том, где в следующий раз поесть и поспать, когда все воспоминания были плотно упакованы и спрятаны у него в груди, чувства утраты не возникало, как не возникало и ощущения, что он неудачник. Все, что могло получиться, как-то получалось. Теперь он пытался понять, когда же это все пошло наперекосяк, и понял, что, начиная с их плана, все действительно шло наперекосяк, хотя план на самом деле был очень хороший. Разработанный в мельчайших деталях, безошибочно точный.

Сиксо, снова заговоривший по-английски, собирая лошадей в табун, рассказывает Халле то, что сообщила ему женщина с тридцатой мили: семеро негров с ее фермы и еще двое с другой отправляются на Север. Эти двое уже проделывали такое раньше и дорогу знают. Одна из этих двоих готова ждать их в кукурузе, когда та достаточно подрастет; она будет ждать всю ночь и половину следующего дня и, если они придут, отведет их туда, где будут спрятаны остальные беглецы. Она даст знать, когда придет в кукурузу: затрещит, как гремучая змея. Сиксо был твердо намерен бежать, и его женщина — тоже; Халле собирался взять всех своих. Поль Ди и Поль Эй сказали: им нужно время, чтобы подумать, поразмышлять,

как будут жить дальше; будет ли у них работа; кто приютит их и не стоит ли им попытаться найти Поля Эф, хозяин которого вроде бы жил где-то на «большой реке». Они просят на обсуждение всего одну ночь, а потом скажут, что решили.

Теперь им нужно только дождаться наступления лета, когда кукуруза поднимется во весь рост. И полной луны.

И еще. Не лучше ли выйти затемно, чтобы с рассветом уже быть в пути и, таким образом, получить некоторую фору? Или все же лучше отправиться на рассвете, когда все будет видно? Сиксо недоволен последним вариантом. Если выйти ночью, будет больше времени; к тому же ночь защитит их своей чернотой. Он даже не спрашивает, не боятся ли они. За оставшееся время он умудряется несколько раз сбегать ночью в кукурузу и спрятать возле ручья одеяла и два ножа. Сможет ли Сэти перейти вброд ручей? Сиксо отвечает, что к тому времени, как кукуруза поднимется во весь рост, ручей пересохнет. У них, правда, совсем нет еды, чтобы отложить впрок, но Сэти обещает добыть кувшин сахарного сиропа или патоки и немного хлеба, когда срок подойдет. Она только просит, чтобы одеяла непременно были на месте; они понадобятся, чтобы пристроить

малышку ей на спину и дать детям возможность укрыться во время путешествия. Запасной одежды, конечно, нет; только та, что на них Нет и башмаков. Ножи помогут им прокормиться, но на всякий случай они прячут в тайник веревку и котелок. В общем, хороший план.

Они наблюдают за учителем и запоминают, когда он и его ученики приходят и уходят: нужно точно знать — когда и куда они уходят и сколько времени отсутствуют. Миссис Гарнер, страдая по ночам бессонницей, утром обычно спит глубоким сном. В отдельные дни учитель занимается со своими учениками до завтрака. Раз в неделю они вообще не завтракают — отправляются за десять миль в церковь, рассчитывая по возвращении на обильный обед. После ужина учитель обычно пишет что-то в своей записной книжке, а его ученики чистят и точат перья. Труднее всех отлучиться Сэти, потому что ее в любое время может позвать миссис Гарнер, даже ночью, когда боль, слабость или тягостное одиночество не дают ей покоя. Итак Сиксо и оба Поля сразу после ужина отправятся к ручью и будут ждать женщину с тридцатой мили. Халле приведет Сэти и троих детей перед самым рассветом — до восхода солнца и до того, как куры и коровы проснутся

и потребуют внимания; так что, когда над кухонной плитой появится первый дымок, все они будут уже у ручья или даже переправятся через него. А если миссис Гарнер ночью и позовет Сэти, то Сэти будет на месте и придет к ней. Остается только дождаться лета.

Но. Весной Сэти оказалась беременна и к середине лета так отяжелела, что, пожалуй, могла и не поспеть за мужчинами, которые, конечно, способны были нести детей, да только не Сэти.

Но. Соседи, у которых Гарнер, пока был жив, совершенно отбил охоту посещать Милый Дом, теперь чувствуют себя свободнее и частенько заходят в гости; они могут появиться у ручья в самый неподходящий момент.

Но. Детям Сэти больше не разрешают играть на кухне, так что она разрывается между хозяйским домом и своей хижиной, беспокойная и расстроенная, пытаясь уследить за ними. Для работы они еще слишком малы, мужчины их взять с собой не могут, а малышке всего девять месяцев от роду. Лишившись помощи миссис Гарнер, Сэти сбивается с ног, а запросы учителя все растут.

Но. После объяснения по поводу съеденного молочного поросенка Сиксо стали по ночам запирать в амбаре и на все — на закрома, на загоны

для скота и птицы, на курятники, на кладовую — навесили замки. Нет даже места, где можно было бы собраться и поговорить. Теперь Сиксо не вынимает изо рта гвоздь, чтобы с помощью его развязать узел на веревке, если понадобится.

Но. Халле велели отрабатывать свой долг в Милом Доме, и у него больше нет возможности покидать ферму без разрешения учителя. Или же — по его поручению. Только Сиксо, который тайком встречался со своей женщиной, и Халле, долгие годы ходивший на заработки, знают, что лежит за пределами Милого Дома и как туда добраться.

Это хороший план. Он выполним даже при неусыпном наблюдении учителя и его учеников.

Но приходится его изменить — совсем чуть-чуть. Сперва время ухода. Они заучивают наизусть все, что рассказывает Халле об окрестностях Милого Дома. Сиксо, которому потребуется время, чтобы развязать узел на веревке, сломать замок на двери амбара и при этом не потревожить лошадей, выйдет попозже и присоединится к ним у ручья вместе с женщиной с тридцатой мили. Все четверо отправятся на кукурузное поле. Халле, которому теперь тоже нужно больше времени из-за Сэти, приведет ее и детей ночью,

не дожидаясь рассвета. Они пойдут прямиком на поле и встретятся с остальными там, а не возле ручья. Кукуруза сейчас им по плечи — вряд ли вырастет выше. Луна пухнет на глазах. Они с трудом заставляют себя думать об уборке урожая, с трудом разговаривают друг с другом, с трудом занимаются прополкой и не решаются громко кого-то окликнуть — боятся пропустить тот миг, когда в кукурузе затрещит гремучая змея, а на самом деле — не змея и не птица. И вот однажды, ближе к полудню, они слышат сигнал. А может, слышит только Халле, который тут же начинает петь условную песенку: «Тише, тише, кто меня кличет? Тише, тише, кто меня кличет? Боже мой, Боже, что мне делать?»

Во время обеденного перерыва Халле уходит с поля. Он обязательно должен сообщить Сэти, что слышал условный сигнал. Две предшествующие ночи Сэти провела у миссис Гарнер, и Халле не может полагаться на счастливый случай: необходимо предупредить ее, ведь в эту ночь она не сможет дежурить у хозяйки. Оба Поля видят, как Халле уходит. Сидя в тени Братца и жуя кукурузный пирог, они видят, как он, чуть покачиваясь, удаляется от них. Пирог вкусный. Они слизывают пот с верхней губы, чтобы немного подсолить его.

Учитель и его ученики уже вернулись, обедают. Халле, покачиваясь, шагает по дороге. Молчит, не поет.

Никто не знает, что с ним произошло. Больше его никто не видел, если не считать той встречи у маслобойки. Поль Ди знал лишь, что Халле исчез, так и не предупредив Сэти. Потом он увидел его — на корточках с перемазанным маслом лицом. Может, когда он подошел к дверям и попросил позвать Сэти, этот чертов учитель успел уловить в его голосе тревогу и этого оказалось достаточно, чтобы учитель немедленно схватился за ружье, которое всегда при нем. Возможно, Халле сделал другую ошибку: сказал «моя жена» как-нибудь так, что учителю это не понравилось. Сэти говорит, что вроде бы слышала выстрелы, но не выглядывала из окна спальни миссис Гарнер. Однако Халле в тот день точно не был убит или ранен, потому что Поль Ди видел его значительно позже, когда Сэти уже убежала, хотя никто ей не помогал; когда Сиксо уже отсмеялся в первый и последний раз; когда бесследно исчез его брат, Поль Эй. Он видел Халле, перепачканного маслом, с пустыми, как у рыбы, глазами. Может, учитель стрелял ему вслед? Или под ноги, чтобы проучить за очередной проступок? А может, Халле сам

забрался в тот амбар, спрятался там на чердаке и оказался запертым на замок вместе с добром учителя. Все возможно. Он исчез, и остальные были предоставлены самим себе.

Поль Эй после обеда снова отправился таскать бревна. Они должны были увидеться теперь только дома, после ужина. Однако дома брат не показывался. Он исчез бесследно. Поль Ди в точно назначенное время отправляется к ручью, надеясь, что брат пошел туда чуть раньше; ясно, учитель что-то пронюхал. Поль Ди добирается до ручья, и ручей совсем сухой, как и обещал Сиксо. Он ждет там Сиксо и Поля Эй вместе с женщиной с тридцатой мили. Однако через какое-то время появляется только Сиксо; руки в крови, а языком, точно языком пламени, беспрерывно облизывает губы.

— Ты Поля Эй видел?

— Нет.

— А Халле?

— Нет.

— А кого видел?

— Никого. И в хижинах тоже; там только дети были.

— А Сэти?

— Дети ее спали. Она, должно быть, еще у мис-

сис Гарнер.

— Я без брата не могу уйти.

— А я ничем не могу тебе помочь.

— Может, мне пойти и поискать их?

— Ничем не могу тебе помочь.

— Ну ты-то что думаешь?

— По-моему, они сразу в кукурузу придут.

И Сиксо поворачивается к той женщине; они прижимаются друг к другу и начинают шептаться. Она вся светится каким-то внутренним светом. А только что, пока они с Полем Ди, скорчившись, сидели в кустах на покрытом галькой берегу ручья, в ней не было ничего особенного — так, какая-то черная тень в темноте, еле дышит от страха.

Потом Сиксо собирается выползти из кустов, чтобы отыскать спрятанные заранее ножи. Кажется, он что-то слышит. Черт с ними, с ножами! Скорей! Они втроем карабкаются вверх по берегу ручья, а учитель, его ученики и еще четверо других белых мужчин бегут им наперерез. С фонарями. Сиксо подталкивает женщину с тридцатой мили, и она бежит дальше по руслу ручья, а Поль Ди и Сиксо бегут в другую сторону, к лесу. Обоих окружают и связывают.

Перед рассветом воздух становится сладким.

Он напоен ароматами цветов, которые так любят пчелы. Стреноженный, как мул, Поль Ди чувствует босыми ногами росистую душистую траву. Он думает об этой траве и о том, где все– таки может быть Поль Эй. И тут Сиксо резко оборачивается и хватается за дуло ближайшего ружья, направляя его на себя. И начинает петь. Двое белых отталкивают Поля Ди в сторону и привязывают к дереву. Учитель говорит: «Живым. Живым. Мне он нужен живым». Сиксо рвется у них из рук и, кажется, ломает кому-то ребра, но со связанными руками не может как следует схватить ружье. Белые решают подождать. Может быть, ждут, пока он допоет? Пять ружей нацелены на певца; белые слушают. Поль Ди их почти не видит, потому что они стоят вне освещенного фонарем круга. В конце концов им это надоедает, и один из них бьет Сиксо прикладом по голове. Когда Сиксо приходит в себя, он уже привязан к дереву, а перед ним разожжен костер из веток орешника. Учитель, видно, передумал. «От этого все равно толку не добьешься», — говорит он. Должно быть, его убедила в этом песня Сиксо.

Костер разгораться не желает, и белые сердятся на самих себя; они не были готовы к такому повороту событий — их позвали, чтобы поймать

беглого негра, а не убить его. Костер едва горит, на таком разве что мамалыгу готовить. Сухой хворост попадается редко, а трава промокла от росы.

Увидев эти жалкие языки пламени, Сиксо распрямляется. Он допел свою песню. И теперь смеется. Журчащим смехом — так смеются сыновья Сэти, когда кувыркаются в сене или плещутся в дождевой луже. Его ноги поджариваются на медленном огне; штанины дымятся. Он смеется. Ему почему-то смешно. Поль Ди догадывается о причине, когда Сиксо перестает смеяться и громко кричит: «Семь-О! Семь-О!»

Дымящий, упрямо не желающий разгораться огонь. В конце концов им пришлось пристрелить Сиксо, чтобы заткнуть ему рот. Пришлось.

Связанный, шагая среди душистых трав и цветов, которые так любят пчелы, Поль Ди слышит, о чем говорят белые, и впервые узнает свою цену. Он всегда знал, вернее, считал, что знает ее — цену своих сильных рук, цену своего труда, цену себя как работника, который может принести ферме большую пользу,

— но теперь он узнает свою стоимость, выраженную в долларах. Цену своего роста, веса, физической силы, сердца, ума, мужских достоинств и своего будущего.

Как только белые добираются до места, где привязали лошадей, и садятся верхом, они успокаиваются; теперь они разговаривают о трудностях, с какими пришлось столкнуться. Трудностей хватает. В который раз они твердят учителю, что Гарнер совершенно испортил своих рабов. Он ведь противозаконными делами занимался, Гарнер этот: позволял своим ниггерам подрабатывать на стороне, чтобы выкупить себя на волю; даже позволял им ружьями пользоваться! Может, вы думаете, он спаривал своих негров, чтобы получить побольше рабов? Нет, черт побери! У него, видите ли, были совсем другие намерения: он хотел, чтобы они жили в браке! Бред какой-то! Учитель вздыхает и говорит, что прекрасно все это знает. Он ведь и приехал сюда только затем, чтобы навести наконец порядок. Но теперь все оборачивается куда большими неприятностями: мало ему было идиотского наследия Гарнера, так теперь еще и два негра пропали, а может, и три, потому что вряд ли они найдут того, по имени Халле. А невестка чересчур слаба, и проку от нее никакого. Черт побери, не хватало только, чтобы все остальные негры теперь разбежались со страха! Придется продать вот этого долларов за девятьсот, если получится, а потом вовсю следить

за той беременной самкой, и ее детенышами, и за этим Халле, если он его отыщет. Денег, которые он получит за «вот этого», хватит на двух молодых, лет двенадцати—пятнадцати. И тогда, если считать беременную самку, ее троих щенков и еще одного, который вот– вот родится, у него с племянниками получится уже семь рабов; может статься Милый Дом и окупит все, что ему пришлось из-за этой фермы пережить, все его хлопоты.

— Ты думаешь, Лилиан поправится?

— Вряд ли. Хотя кто ее знает.

— Ты ведь был женат на ее золовке, верно?

— Нуда.

— Та что, тоже болела сильно?

— Да она вообще не очень крепкая была. От лихорадки скончалась.

— Что ж, тебе оставаться вдовцом ни к чему.

— Сейчас я пока что только о Милом Доме думаю.

— И знаешь, тут тебя упрекнуть не за что. Хлебнешь с этим домом горя.

Они надевают на Поля Ди ошейник с тремя шипами, так что лечь он не может, и сковывают ему ноги кандалами. Число «два», которое он слышал собственными ушами, не выходит у него

из головы. Двое. Двое? Два негра пропали? Полю Ди кажется, что сердце у него вот-вот выпрыгнет. Они собираются искать Халле, не Поля Эй. Значит, они поймали Поля Эй, а уж если белые тебя поймали, пиши пропало.

Учитель долго смотрит на него, прежде чем закрыть дверь хижины. Приглядывается настороженно. Но Поль Ди даже глаз на него не поднимает. Брызгает мелкий дождичек Дразнящий августовский дождик — он пробуждает надежды, которым никогда не сбыться. Поль Ди думает о том, что должен был бы спеть вместе с Сиксо. Громко. Что-нибудь такое громкое и раскатистое, подходящее к той мелодии, что напевал Сиксо. Вот только слова его сбили с толку — он тех слов не понимал. Да какая разница, он отлично понял, что билось в этих словах: ярость и ненависть, словно Сиксо танцевал джубу.

Теплый мелкий дождичек то начинается, то перестает, и так без конца. Полю Ди кажется, что он слышит рыдания; вроде бы они доносятся из окна миссис Гарнер. Впрочем, плакать может кто угодно, даже кошка, когда кота зовет. Устав держать голову прямо, он осторожно опускает подбородок, упираясь в ошейник с шипами, и размышляет, как бы ему подобраться к очагу,

разжечь огонь и вскипятить немножко воды — он давно ничего не ел. Именно этим он и занят, когда в его хижину вдруг входит Сэти, промокшая насквозь, с огромным животом. Она сообщает ему, что твердо решила бежать. Она только что вернулась — детей она уже отвела в кукурузу. Тех белых поблизости не видно. Но она нигде не могла найти Халле. Кого же все-таки поймали? Убежал ли Сиксо? И где Поль Эй?

Поль Ди рассказывает ей, что знает: Сиксо мертв; той женщине с тридцатой мили удалось убежать, но он понятия не имеет, что случилось с Полем Эй или Халле.

— Где же он может быть? — спрашивает Сэти. Поль Ди пожимает плечами, потому что покачать головой не может.

— Ты сам видел, как Сиксо умер? Ты в этом уверен?

— Уверен.

— Он был в сознании? Он их видел и все понимал?

— Он был в сознании. Все понимал и смеялся.

— Сиксо — смеялся?

— Это стоило послушать, Сэти.

Платье Сэти исходит паром у слабенького огня, на котором он кипятит воду. Очень трудно дви-

гаться со скованными ногами, да и ожерелье на шее страшно мешает. Стыдясь своей беспомощности, он старается не смотреть ей в глаза, а когда не выдерживает и смотрит на нее, замечает, что глаза у нее абсолютно черные — белков не видно. Она говорит, что ей пора, и он думает, что побег ей, конечно, не удастся — она и до ворот добраться не сможет, но он ее не разубеждает. Он понимает, что никогда больше не увидит ее, и часть души уходит вместе с нею.

Должно быть, сразу после этого племянники учителя, решив поразвлечься с нею, втащили ее в амбар; когда же она рассказала все миссис Гарнер, сняли со стены плеть из воловьей кожи. Кому, черт возьми, могло в голову прийти, что она все-таки решится бежать? Они, должно быть, уверены были, что с таким пузом да еще с располосованной чуть не до кости спиной ей дальше своей хижины не дойти. Он не удивился, узнав, что они все-таки выследили ее, когда она уже добралась до Цинциннати; ясно, что она стоила куда дороже, чем он: еще бы, собственность, которая сама себя бесплатно воспроизводит!

Вспоминая ту цену в долларах и центах, которую учитель сумел получить за него, он все думал, какова была бы цена Сэти? А цена Бэби

Сагз? Сколько еще денег должен был выплатить Халле, не говоря уж о том, чтобы отработать бесплатно? Сколько миссис Гарнер получила за Поля Эф? Кажется, больше девятисот долларов? На сколько долларов больше? На десять? На двадцать? Школьный учитель, конечно же, знал. Он всегда знал, что почем. В его голосе звучала неподдельная грусть, когда он заявил, что от Сиксо все равно толку не добьешься. Какой дурак согласится купить поющего негра, да еще такого который хватается за ружье? Выкрикивающего «Семь-О! Семь-О!» (потому что его женщина, та, с тридцатой мили, убежала от них, унося в себе его зреющее семя). Ах, какой был у него смех! Журчащий, детский, полный торжества. Этот смех даже тому жалкому костру разгореться помог. И Поль Ди думал о том, как Сиксо смеялся, а вовсе не о железном мундштуке, когда они привязывали его к козлам повозки. Потом уже он увидел Халле и улыбавшегося петуха, который словно хотел сказать ему: то ли ты еще увидишь, милый! Как мог какой-то петух знать об Альфреде в штате Джорджия?

* * *

— Привет.

Штамп по-прежнему терзал пальцами ленточку в кармане брюк, так что карман шевелился.

Поль Ди глянул на него, заметил это шевеление в кармане и хмыкнул.

— Я не умею читать, Штамп. Так что если ты принес мне еще какую-нибудь газетку, то зря время потратил.

Штамп вытащил ленточку из кармана и присел на ступеньку с ним рядом.

— Нет. Я тебе кое-что другое сказать хочу. — Штамп нежно пропустил красную ленточку между указательным и большим пальцами. — Совсем другое.

Поль Ди ничего не ответил, и оба некоторое время сидели молча.

— Мне это трудно, — сказал Штамп. — Но я все-таки скажу. Две вещи. Но сперва — более легкую.

Поль Ди хмыкнул:

— Если тебе это трудно, так меня, может, и до смерти убьет.

— Нет, нет! Ты не думай! Я ведь тебя искал, чтобы извиниться. Прощения у тебя попросить.

— За что? — Поль Ди потянулся за бутылкой,

торчавшей у него из кармана куртки.

— Выбирай любой дом — любой, где цветные живут. В целом Цинциннати — любой, и тебя везде с радостью примут. Я прошу у тебя прощения за то, что люди сами не предложили тебе этого. Но ты знай, тебя везде с радостью примут, везде, где ты сам поселиться захочешь. Мой дом — это твой дом. Как и дом Джона и Эллы, и мисс Леди, и Абеля Вудрафа, и Вилли Пайка — любой. Выбирать тебе. А в подвале ты спать не должен! И я прошу у тебя прощения за все те ночи и за каждую из них в отдельности, которые ты здесь провел. Не понимаю, как только преподобный отец тебе позволил? Я-то его еще мальчишкой знал…

— Да нет, Штамп, он предлагал мне к нему пойти.

— Да? Ну и что?

— Ну и то. Я сам так решил; не хотел к нему идти; просто одному побыть хотелось. А так-то он предлагал, и каждый раз, как мы встречаемся, предлагает.

— Ну, у меня прямо камень с души свалился! Я уж думал, все здесь с ума посходили.

Поль Ди покачал головой:

— Только я один.

— Ты что делать-то теперь собираешься?

— О, планы у меня большие. — Поль Ди два раза глотнул из бутылки.

Любой план плох, если из бутылки высосан, подумал Штамп, но ему ли было не знать, что бессмысленно говорить пьянице: не пей. Штамп высморкался и стал думать, как лучше подступиться к главному, о чем, собственно, он и пришел потолковать с Полем Ди. В тот день людей на улице было мало. Канал замерз; ни лодок, ни судов. Вдруг они услышали цоканье лошадиных копыт. Седло у всадника было высокое, восточное, но во всем остальном он был типичным жителем долины Огайо. Он заметил их с дороги, натянул поводья и по тропе подъехал прямо к церкви. Поклонился, не слезая с седла.

— Привет, — сказал он им.

Штамп поздоровался и сунул свою ленточку в карман. —Да, сэр?

— Я ищу девушку, ее Джуди зовут. Работает где-то тут, на бойне.

— Вряд ли я знаю ее, сэр. Нет, сэр, такой я не знаю.

— Она сказала, что на Планк-роуд живет.

— Планк-роуд? Да, сэр, это чуть дальше по этой дороге. Может, с милю еще будет.

— Неужели ты ее не знаешь? Джуди. Работает

на бойне.

— Нет, сэр, но я знаю, где Планк-роуд. Примерно с милю отсюда, в ту сторону.

Поль Ди снова хлебнул из бутылки. Всадник посмотрел на него и перевел взгляд на Штампа. Чуть отпустив правый повод, он повернул лошадь к дороге, потом передумал и вернулся.

— Послушай-ка, — сказал он Полю Ди, — тут наверху крест, — стало быть, здесь церковь или что-то такое. По-моему, стоит поуважительней к церкви-то относиться. Ты меня понимаешь?

— Да, сэр, — сказал Штамп. — Тут вы правы. Я ведь как раз об этом ему и говорю. Как раз об этом самом.

Всадник возмущенно поцокал языком и неспешно поехал прочь. Штамп водил по ладони левой руки пальцем правой.

— Ты должен выбрать, — сказал он. — Выбирай любого. Никто тебя беспокоить не станет, коли ты сам не захочешь. Можно ко мне. Или к Элле. Или к Вилли Пайку. Все мы небогаты, но у всех найдется местечко еще для одного человека. Заплатишь немножко, когда сможешь; а не сможешь — тоже сойдет. Подумай об этом. Ты ведь взрослый мужчина, и я не могу заставить тебя что-то сделать против твоей воли. Но ты все-таки

об этом подумай.

Поль Ди промолчал.

— Если я тебе зло причинил, так я затем и пришел сюда, чтоб хоть немного его исправить.

— Не нужно ничего исправлять. Ничего. Какая-то женщина с четырьмя детьми, проходя по другой стороне улицы, помахала им рукой и улыбнулась:

— Эй, привет! Не могу подойти, спешу. Увидимся в церкви.

— Непременно, — откликнулся Штамп. — А вот и еще одна, — сказал он Полю Ди. — Библия ее зовут, Библия Вудраф, сестра Абеля. Она на фабрике работает, где делают щетки из свиной щетины и свечи. Вот ты поживешь тут подольше — сам увидишь, что нет лучше людей, чем в этих местах. Гордость, хм, что ж, гордость им, правда, немного мешает порой. И заблуждаться они тоже могут, особенно если решат, что кто-то слишком высоко нос задрал, но когда до дела доходит, так все с самой лучшей стороны себя показывают, так что любой тебя к себе пустит.

— А как насчет Джуди? Она меня пустит к себе?

— Это зависит от того, что у тебя на уме.

— Так, значит, ты все-таки знаешь Джуди?

— Юдифь. Я всех здесь знаю.
— И на Планк-роуд?
— Всех.
— Что ж, пустит она меня к себе?

Штамп наклонился и стал расшнуровывать ботинок. Двенадцать черных крючков, по шесть с каждой стороны внизу, и четыре пары дырочек сверху. Он распустил шнурки до самого низу, аккуратно поправил язычок и снова зашнуровал ботинок Когда он добрался до верху, то тщательно скручивал разлохматившиеся концы шнурков, прежде чем сунуть в дырочку.

— Дай-ка я расскажу тебе, откуда у меня это имя. — Штамп туго затянул узел, потом так же туго завязал шнурок бантиком. — Меня звали Джошуа, — сказал он. — А я себя переименовал и хочу рассказать тебе, почему это сделал. — И он стал рассказывать Полю Ди о Вашти. — Я до нее не дотрагивался. Ни разу. Почти год. У нас посевная была, когда все это началось, и урожай поспел, когда кончилось. Странно, мне казалось, дольше. Мне бы надо было сразу убить его. Она не велела, а надо было. Тогда я, конечно, еще такого терпения не набрался, как сейчас, и решил: может, у кого-то еще тоже терпения не хватает? У его собственной жены, например. Эта мысль из головы у меня не

шла; дай, думаю, выясню все-таки, как ей это нравится. Мы с Вашти днем вместе в поле работали, а потом она на всю ночь уходила. Я к ней не прикасался, и черт меня побери, если я ей за день хоть три слова сказал. Но я все старался как-нибудь поближе подобраться к господскому дому, чтоб ее увидеть, жену нашего молодого хозяина. Да он и сам-то мальчишкой был. Лет восемнадцать, от силы двадцать. Наконец я ее заприметил; она стояла на заднем дворе у ограды. Стакан воды в руках. Пошел я туда, остановился неподалеку и шляпу снял. Потом говорю: «Простите, мисс, вы Вашти не видали? Жену мою, Вашти?» Маленькая она такая была, жалкая. Волосы черные. Лицо — не больше моего кулака. Она спрашивает. «Что? Какую Вашти?» Я говорю: «Да Вашти, мэм. Мою жену. Она сказала, что должна вам яйца принести. Не видели, принесла или нет? Да вы ее узнали, она такую черную ленточку на шее носит». Молодая хозяйка порозовела, и я понял, что она все знает. Ведь это он Вашти камею на черной ленточке подарил. Она всякий раз ее надевала, когда к нему на свидания отправлялась. Ну, я снова свою шляпу надеваю и говорю: «Ежели вы ее увидите, мисс, так скажите, что я ее искал, пожалуйста. И спасибо вам, мисс». Потом я сразу

ушел, не стал ждать, пока она что-то скажет. Даже оглянуться не смел, пока подальше за деревья не отошел. Но она так и осталась стоять. Голову опустила и в свой стакан смотрит. Я-то думал, это мне куда больше удовлетворения принесет, а получилось скверно. А еще я надеялся, что, может, она все-таки вмешается и прекратит это, но они продолжали встречаться. Пока однажды утром Вашти не вошла в дом и не села молча у окна. Воскресенье было. По воскресеньям мы на своих собственных клочках земли работали. Она сидела у окошка и глядела на улицу. А потом и говорит: «Ну вот я и вернулась, я вернулась, Джош». А я все смотрел ей в затылок У нее такая тонкая шейка была. И захотелось сломать ей шею. Знаешь, как хворостинку — щелк, и все. Ох и гнусно у меня на душе было, гнуснее не придумаешь!

— И ты это сделал? Сломал ей шею?

— Нет. Я переменил свое имя.

— Как же ты оттуда выбрался? И как попал сюда?

— На лодке. Сперва вверх по Миссисипи до Мемфиса. Потом пешком от Мемфиса до Камберленда.

— И Вашти тоже?

— Нет. Она умерла.

— Ох, парень! Давай завязывай свой второй башмак!

— Что?

— Завязывай свой ботинок, черт его побери! Вон он на тебя смотрит! Завязывай!

— Ну что, не полегчало тебе?

— Нет. — Поль Ди швырнул бутылку на землю и уставился на золотую колесницу у нее на этикетке. Никаких лошадей. Только золотая карета с синими занавесками.

— Я сказал, что хочу сказать тебе две вещи. Я пока только одну сказал. Я должен сказать и вторую.

— Не желаю я ничего знать! Не желаю. Только одно: пустит меня Джуди к себе или нет?

— Я ведь был там, Поль Ди.

— Где это «там»?

— Там, во дворе. Когда она это сделала.

— Джуди?

— Сэти.

— О, господи.

— Это не то, что ты думаешь.

— А ты и не знаешь, что я думаю.

— Она не сумасшедшая, Поль Ди. Она этих детей любила. Просто хотела опередить того, кто боль им причинить собирался.

— Оставь ты это.

— Успеть раньше хотела.

— Оставь меня в покое, Штамп. Я знал ее еще девчонкой. Она меня пугает. И я хорошо знал ее, когда она еще совсем девчонкой была.

— Ничего она тебя не пугает. Не верю я тебе.

— Пугает. Я сам себя пугаю. Но больше всего меня пугает та девушка в ее доме.

— Кто она такая, эта девушка? Откуда она взялась?

— Не знаю. Просто объявилась однажды — на пне у крыльца сидела.

— Хм. Похоже, только ты да я и видели ее — из тех, кто в доме сто двадцать четыре не живет.

— Она же никогда никуда не ходит. Где ж ты ее видел?

— Она в кухне на полу сидела, а я в окно заглянул.

— С первой же минуты, как я ее увидел, мне и близко к ней подходить не хотелось. Что-то в ней не то. Говорит странно. Делает все тоже странно. — Поль Ди сунул палец под шапку и поскреб висок — И кого-то она мне напоминает. Кого-то знакомого, кого я вроде бы должен помнить.

— Она никогда не рассказывала, откуда она родом? Где ее семья?

— Она не знает. Или притворяется, что не знает. Я от нее только всякую ерунду слышал — насчет того, что она украла свою одежду и жила на мосту.

— На каком мосту?

— Это ты меня спрашиваешь?

— Тут нет ни одного моста, о котором я бы не знал. Только никто на них не живет. И под ними — тоже. И давно она у Сэти поселилась?

— С прошлого августа. В день карнавала пришла.

— Это дурной знак А на карнавале она была?

— Нет. Но когда мы вернулись, она тут как тут — сидит себе на пне и спит. Шелковое платье. Новехонькие башмачки. Черные такие и блестят, будто маслом намазаны.

— Вот как? Хм. Была тут одна девушка в доме за Оленьим Ручьем. Белый ее все взаперти держал. А прошлым летом его нашли мертвым, а девушка та исчезла. Может, это она? Говорят, он ее взял, когда она еще совсем младенцем была.

— Зато теперь, похоже, ведьмой стала.

— Так это она тебя выгнала? Не то, что я тебе о Сэти рассказал?

Поль Ди содрогнулся с головы до ног. Холод вдруг пронизал его до мозга костей, так что

он стиснул колени. Он не знал, то ли это из-за скверного виски, то ли из-за ночей, проведенных в погребе, а может, какой-нибудь заразы, подхваченной на бойне, или из-за железных удил, петушьей улыбки, поджаренных ног, смеющихся мертвецов, из-за шипящей в огне мокрой травы, дождей, цветущих яблонь, из-за железного ошейника, Джуди с бойни, Халле с перемазанным маслом лицом, белой призрачной лестницы, вишневого деревца на спине, камеи на тонкой шейке, из-за осинки, лица Поля Эй, свиной колбасы или утраты своего красного, красного сердца.

— Скажи-ка мне вот что, Штамп. — Глаза у Поля Ди были воспаленными и слезились. — Скажи мне только одно: сколько же может вынести жалкий ниггер? Скажи мне, Штамп, сколько?

— Все он может, — сказал Штамп. — Все может вынести.

— Почему? Почему? Почему? Почему? Почему?

Часть III

В 124-м было тихо. Даже Денвер, которая считала, что знает о тишине все, удивлялась, поняв, что может сделать с человеком голод: заставить его быть тише воды, ниже травы. Ни Сэти, ни Возлюбленная, казалось, не думали об этом или им было все равно. Они были слишком заняты, сберегая силы для сражений друг с другом. Так что Денвер должна была первой шагнуть в мир и погибнуть — иначе умрут они все. Кожа между большим и указательным пальцами на руке ее матери стала тонкой, как китайский шелк, и в доме не нашлось ни одного платья, которое не висело бы на ней как на вешалке. Возлюбленная поддерживала голову ладонями и засыпала на ходу; кроме того, она постоянно ныла, требуя сладкого, хотя с каждым днем становилась все толще, будто распухала. В доме не осталось ничего, кроме двух кур-несушек, и вскоре придется решать, что лучше: время от времени одно яйцо или две жареные курицы сразу. Чем голоднее они становились, тем больше слабели; чем больше слабели, тем становились тише — и это

было лучше яростных споров, ударов кочергой о стену, воплей и плача, которые последовали за тем счастливым январем, когда они только играли. Денвер тоже порой присоединялась к их играм — сдержанно, немного настороженно: она несколько отвыкла от подобных забав, хотя веселее их не было ничего на свете. Но с тех пор как Сэти увидела тот шрам, кончик которого неизменно притягивал взгляд Денвер всякий раз, когда Возлюбленная раздевалась — будто слабая тень странной улыбки в самом потаенном месте, под нежным подбородком, — с тех пор как Сэти увидела его, провела по нему пальцем, закрыла глаза и долго не открывала их, обе они отлучили Денвер от своих игр. Игр с шитьем, готовкой, причесыванием и переодеванием. Эти игры ее мать полюбила настолько, что стала с каждым днем все позже и позже уходить на работу, пока не случилось то, что и должно было случиться: Сойер велел ей больше не приходить вообще. И вместо того чтобы начать искать другую работу, Сэти все больше и больше времени проводила с Возлюбленной, которой всего было мало: игр, колыбельных, обновок, сладких поскребышков со дна сковородки, пенок с молока. Если несушки приносили только два яйца, Возлюбленная

получала оба. Сэти словно потеряла разум — как бабушка Бэби, когда мечтала о розовом цвете и не желала делать ничего из своих прежних обычных дел. Но Сэти сходила с ума немного по-другому, хотя бы потому, что, в отличие от Бэби Сагз, она совершенно отлучила от себя Денвер. Даже ту песенку, которую она раньше пела Денвер, она теперь пела одной лишь Возлюбленной: «Высокий Джонни, широкий Джонни, не покидай меня, мой Джонни».

Да, сперва они играли все вместе. Целый месяц, и Денвер это очень нравилось. После той ночи, когда они катались на коньках под небом, усыпанным звездами, и пили сладкое молоко у плиты на кухне, Сэти днем развлекала их замысловатыми путанками из тонкой бечевки, а в сумерках показывала им тени на стене. Среди зимы она с лихорадочно горящими глазами задумывала невиданный огород и сад с цветами и без конца говорила, говорила о том, какие краски будут пестреть в ее саду. Она забавлялась с волосами Возлюбленной, заплетала их, взбивала, перевязывала лентами, умащивала маслом, пока у Денвер это зрелище не начало вызывать тошноту. Они менялись постелями и одеждой. Ходили держась за руки и все время улыбались

друг другу. Стоило наступить весне, как они, стоя на коленях во дворе за домом, стали придумывать, какой у них будет сад, хотя земля еще была слишком холодной и влажной. Тридцать восемь долларов сбережений ушли на лакомства, яркие ленточки и красивые ткани, из которых Сэти без конца что-то кроила и шила, словно они спешно готовились к празднику. Яркие платья — в голубую полоску, с пестрым рисунком. Сэти прошла пешком целых четыре мили до магазина Джона Шиллито, только чтобы купить желтую ленту, блестящие металлические пуговицы и черные кружева. К концу марта все трое были одеты как для карнавала или как совершенные бездельницы. Когда стало ясно, что обе они поглощены исключительно друг другом, Денвер стала постепенно выходить из игры, однако наблюдала за ними по-прежнему, чтобы в любой момент быть наготове, если Возлюбленной будет грозить опасность. В конце концов, убедившись, что никакая опасность той не грозит, и видя мать такой счастливой, такой сияющей, — ну что тут могло случиться плохого? — она позволила своему внутреннему стражу пойти отдохнуть. Но сперва ей хотелось разобраться, кто же во всем этом виноват. Она не сводила глаз с мате-

ри, выслеживая, когда то страшное, что жило у нее внутри, выйдет наружу и она снова начнет убивать. Однако сердилась и капризничала, испытывая терпение, не Сэти, а Возлюбленная. Она получала все, что хотела, и когда Сэти больше нечего было бы ей подарить, Возлюбленная придумала новую игру: в желания. Она требовала, чтобы Сэти часами сидела с ней и они вместе смотрели на слой бурых листьев на дне ручья, которые вздымались течением, словно звали их к себе, — именно в этом месте Денвер, пораженная глухотой, когда-то играла с Возлюбленной. Теперь игроки поменялись местами. Когда сошли вешние воды, Возлюбленная часто сидела на берегу и любовалась своим отражением в ручье, которое то приближалось, то удалялось, покрывалось рябью и исчезало среди листьев на дне. Она ложилась плашмя на землю, пачкая в грязи свое яркое полосатое платье, и касалась лицом своего зыблющегося отражения. Она наполняла корзины цветами, которые первыми распускались с приходом теплого времени — одуванчиками, фиалками, форсиция-ми, — и дарила их Сэти, а та делала из них бесконечные букеты, повсюду втыкала их, украшала ими весь дом. Одетая в платья Сэти, Возлюбленная любила гладить ее

по обнаженным рукам обеими ладонями. Она во всем подражала Сэти, говорила в точности как та, смеялась ее смехом и старалась точно так же ходить — размахивая руками, втягивая носом воздух и высоко держа голову. Порой, наткнувшись на них, занятых готовкой понарошку или пришиванием новых лоскутков к старенькому лоскутному одеялу Бэби Сагз, Денвер не сразу могла сказать, кто из них мать, а кто дочь.

Потом настроение у обеих переменилось и начались споры. Сперва потихоньку. Жалоба от Возлюбленной — извинение от Сэти. Старшая, похоже, несколько подустала от бесконечных игр. Не слишком ли холодно для прогулки? Возлюбленная в ответ только смотрела, и взгляд ее говорил: «Ну и что?» Пора бы уже, кажется, ложиться спать, да и для шитья темновато? Возлюбленная упорно не двигалась с места, твердила одно: «Шей!» — и Сэти уступала. Возлюбленная всегда первая забирала все самое лучшее. Лучший стул, самый большой кусок, самую хорошенькую тарелку, самую яркую ленту для волос, и чем больше она брала, тем больше взывала к ней Сэти — что-то объясняла, описывала свои страдания и то, сколько горя она пережила ради своих детей; рассказывала, как сгоняла мух в виноградни-

ке, как ползла на коленях в сарай– развалюху. Но ни один из ее рассказов не производил того впечатления, на которое она рассчитывала. Возлюбленная обвиняла Сэти в том, что та ее бросила. Что не была к ней добра, не улыбалась ей. Она повторяла, что они обе — одно, что у них одно лицо, как же Сэти могла тогда оставить ее? Сэти плакала и говорила, что никогда ее не бросала и думать не думала бросать; что она должна была вытащить их оттуда, отослать прочь, что она все время берегла для Возлюбленной молоко, а еще — что она достала деньги для надписи на камне, но маловато, на все слова не хватило. Что она думала только об одном: они будут по ту сторону все вместе, навеки. Но Возлюбленной все это было неинтересно. Она говорила, что, когда она плакала, рядом никого не было. А мертвый человек лежал прямо на ней. Что ей было нечего есть, и призраки без кожи тыкали в нее пальцами и называли своей возлюбленной в темноте и чертовой ведьмой при свете дня. Сэти молила о прощении, вновь и вновь приводила свои доводы; говорила, что Возлюбленная была для нее важнее жизни; что она с радостью поменялась бы с ней местами; что отдала бы свою жизнь, каждую минуту ее и каждый час, лишь бы вернуть хоть

одну слезинку, пролитую Возлюбленной. Знала ли она, как больно ей, матери, было, когда москиты кусали ее детку? Что, когда ей приходилось оставлять ее в корзине на земле, а самой бежать в господский дом, она с ума сходила. Что, до того как отправить ее из Милого Дома, она каждую ночь укладывала свою девочку к себе на грудь, и та уютно сворачивалась там или прижималась к спине? Возлюбленная возражала: все это неправда; Сэти никогда к ней не подходила, никогда ни слова ей не сказала, никогда ей не улыбалась и, что хуже всего, так и не помахала ей рукой на прощанье и даже не посмотрела в ее сторону, когда убегала от нее.

Когда раз или два Сэти пыталась защититься: доказать, что она мать и ее слово — закон в семье, и именно она знает, что хорошо, а что плохо, — Возлюбленная сокрушила все, что попалось ей под руку, расколотила посуду, рассыпала по полу соль, разбила даже оконное стекло.

Она была не такой, как они. Она была какая-то дикая, необузданная, и никто ни разу не сказал ей: «А ну-ка, девушка, выметайся отсюда и возвращайся, когда соображать начнешь». Никто не сказал: «Только попробуй поднять на меня руку, и я так тебе врежу, что своих не узнаешь! Известно

ведь: сруби ствол дерева, и ветка отсохнет. Чти мать свою и отца своего, чтобы продлились дни твои на земле, которую дал тебе Господь. Не то я тебя к дверной ручке привяжу, никто тебе не поможет, и Бог на тебя прогневается».

Нет, нет. Они с матерью склеивали разбитые тарелки, собирали рассыпанную соль, и мало-помалу Денвер начала понимать, что если Сэти в одно прекрасное утро и не схватится за нож, то это вполне может сделать Возлюбленная. Денвер и без того была достаточно напугана тем, что таилось в душе Сэти и могло вновь пробудиться и выйти наружу, но теперь чувствовала стыд, когда видела, как мать прислуживает девчонке чуть старше ее, Денвер. А когда она увидела, как мать выносит ночной горшок Бел, то бросилась к ней и выхватила его у нее из рук. Но боль стала непереносимой, когда у них перестало хватать еды и Денвер заметила, что мать вообще ничего не ест — так, подбирает крошки, оставшиеся на столе и на плите, прилипшие ко дну кусочки мамалыги, всякую кожуру, очистки. Однажды она видела, как мать пальцем старательно выковыривает что-то со дна пустой банки из-под варенья, прежде чем вымыть ее и убрать.

Они начинали уставать от такой жизни, и даже

Возлюбленная, которая становилась все толще, казалась столь же измученной, как Сэти и Денвер. Во всяком случае, она больше не швырялась кочергой и всего лишь ворчала или цокала языком. Дом номер 124 постепенно затих. Вялая и сонная от голода, Денвер видела, как тает плоть между большим и указательным пальцами на руке матери. Видела ее глаза, яркие, но какие-то мертвые; беспокойные и в то же время пустые; эти глаза обращали внимание на все, что касалось Возлюбленной: на ее младенчески гладкие руки, на ее лоб, на ту тень улыбки, что таилась у нее под подбородком — изогнутой и слишком широкой, — на все, только не на ее живот, походивший теперь на большую корзину Денвер видела также, что рукава ее собственного карнавального платья стали ей настолько длинны, что болтаются пустые; что подол, когда-то открывавший щиколотки, теперь метет пол. Она видела себя и мать как бы со стороны — кости да кожа, ребра торчат, одеты и разукрашены как клоуны, еле волочат ноги и умирают с голоду, однако будто ото всех заперлись внутри той любви, что отнимает у них последние силы. А когда Денвер заметила, как Сэти, закашлявшись, сплюнула то, чего не ела, какой-то темный сгусток, это обожгло

ее, как выстрел. Ее заботы теперь полностью переменились: вместо того чтобы защищать Возлюбленную от Сэти, она должна была защищать от Возлюбленной свою мать. Может статься, что мать умрет и оставит их одних, и что тогда будет с Возлюбленной? Что бы там с ними ни происходило, оно касалось их троих — не только матери и Возлюбленной, и, поскольку ни той, ни другой, похоже, и дела не было, что им принесет грядущий день (Сэти была счастлива, когда была счастлива Возлюбленная, а та жадно, точно сливки, пила ее преданность), Денвер поняла, что все ложится на ее плечи, вся ответственность. Она непременно должна будет выйти из дому и со двора; первой сделать этот шаг — в мир, к людям, оставить этих двоих и пойти попросить кого-нибудь о помощи.

Но кого? К кому она могла бы явиться без стыда и рассказать, что ее мать превратилась в послушную тряпичную куклу, что она надорвала себя бесконечными заботами и попытками угодить. Денвер слышала о нескольких хороших людях из разговоров матери и бабушки. Но сама она знала только двоих: одного старика с белыми волосами по прозвищу Штамп и Леди Джонс. Ну и Поля Ди, конечно. И еще того мальчика, который

рассказал ей о Сэти. Но они совсем не подходили. Сердце у Денвер дрогнуло, и едкое жжение в горле заставило ее проглотить слюну. Она даже не решила, в какую сторону ей идти. Когда Сэти еще работала в ресторане и когда у нее были деньги, чтобы ходить в магазин, она сворачивала направо. Когда-то давно, когда Денвер ходила в школу к Леди Джонс, сворачивать нужно было налево.

На улице было тепло: ясный весенний день был прекрасен. Стоял апрель, и все живое пробовало свои силы. Денвер прикрыла голову и плечи платком. В самом ярком из своих дурацких карнавальных платьев, в чужих башмаках, она застыла на крыльце дома номер 124, готовясь шагнуть вниз и быть проглоченной тем миром, что лежал за пределами двора. Оказаться там, где скреблись в темноте маленькие зверьки, иногда касавшиеся ее. Где чьи-то слова могут навсегда сделать твои уши неспособными слышать. Где, если ты одинока, какое-то чувство может взять над тобой власть и навсегда пристать к тебе, точно тень. Где-то есть места, ставшие свидетелями таких ужасных событий, что, если там оказаться, те ужасные вещи могут случиться снова. Как в Милом Доме, где время остановилось и где, как говорила Сэти, зло всегда ждет ее. Как она

отличит эти места от других? Но еще страшнее — куда страшнее! — что где-то там есть белые люди, о которых и говорить невозможно и невозможно понять, кто из них хороший, а кто нет. Сэти говорила, иногда их выдают руки или губы. Бабушка Бэби считала, что от них нет спасения — они умеют незаметно подкрасться, без конца меняют обличье, и, даже когда они сами считают, что ведут себя достойно, это ничуть не похоже на то, как ведут себя обычные люди.

— Они выпустили меня из тюрьмы, — как-то раз сказала Сэти.

— Но они же и посадили тебя туда, — возразила ей Бэби Сагз.

— Они перевезли тебя на этот берег реки.

— На спине моего сына!

— Они дали тебе этот дом.

— Никто мне ничего не давал.

— Благодаря им я получила работу.

— Это Сойер благодаря им получил отличную повариху, девочка.

— Но некоторые из них все-таки неплохо с нами обращаются, верно?

— И каждый раз мы этому удивляемся.

— Ты раньше никогда так не говорила!

— Давай не будем начинать все сначала, Сэти.

Они утопили куда больше наших людей, чем их самих на свете было с начала времен. Сложи свое оружие, Сэти. Это не сражение, это побоище.

Вспоминая эти разговоры и последние в жизни слова бабушки, Денвер стояла под солнцем на крыльце и не могла сойти с него. Горло у нее жгло; сердце стучало—и тут она совершенно ясно услышала, как Бэби Сагз рассмеялась: «Ты что же, хочешь сказать, я никогда тебе не рассказывала о нашей жизни в Каролине? О твоем отце? И ты не помнишь, как попала сюда? И об истерзанных ногах твоей матери, не говоря уж о ее спине, тоже не помнишь? Я никогда не рассказывала тебе об этом? Значит, ты поэтому не можешь сойти с крыльца? Господи ты боже мой!»

Но ты ведь сама сказала, что от них спасения нет.

«Нет».

Тогда что же мне делать?

«Знать об этом и жить дальше. Для начала — выйти со двора. Иди».

Все вернулось. Двенадцать лет прошло, но путь в школу Леди Джонс вспомнился сразу. Четыре дома с правой стороны расположились тесно в рядок, точно вьюрки. В первом доме на веранду вели две ступеньки и там стояло кресло-качалка;

во втором было три ступеньки, метла, просунутая за перила веранды, два сломанных стула и цветущие форсиции; этот дом окнами на улицу не выходил. Маленький мальчик сидел на земле и посасывал леденец. В третьем доме на двух выходящих на улицу окнах были желтые ставни и множество горшков с зелеными растениями, усыпанными белыми и красными цветами в виде сердечек Денвер было слышно кудахтанье кур и скрип сломанной калитки. Возле четвертого дома цветы сикоморы ковром покрывали крышу и весь двор. Женщина, стоявшая в открытых дверях, приподняла было руку в приветственном жесте, когда же она, наклонившись вперед, разглядела, кому машет, рука ее застыла где-то возле плеча. Денвер опустила голову. Потом был небольшой огороженный участок и корова. Участок она помнила, а корову нет. Волосы у нее от напряжения взмокли под платком. Где-то сзади послышались голоса, мужские голоса; они будто плыли в воздухе, приближаясь с каждым шагом. Денвер не сводила глаз с дороги: а вдруг это окажутся белые; вдруг ей с этими мужчинами по пути; вдруг они скажут ей что-нибудь и она будет вынуждена ответить? А вдруг они набросятся на нее, схватят и свяжут? Мужчины приближались.

Может, ей сразу перейти на ту сторону? Интересно, та женщина, которая чуть было не помахала ей рукой, все еще стоит в дверях? Придет ли она ей на помощь или же, рассердившись на то, что Денвер не помахала ей в ответ, не станет помогать ей? Может, лучше вернуться назад, к дому той машущей женщины? Прежде чем она успела на что-то решиться, мужчины нагнали ее. Их было двое. Негры. Денвер перевела дыхание. Оба коснулись своих шляп и пробормотали: «Доброе утро». Денвер надеялась, что они сумели прочесть в ее глазах благодарность, однако не смогла заставить себя открыть рот и ответить. Мужчины обошли ее слева и пошли дальше. Несколько воспрянув духом и набравшись смелости после того, как выдержала первую встречу, она пошла быстрее, более внимательно осматривая дома вокруг. Ее удивило, какими маленькими стали огромные вещи: тот валун на краю дороги, за которым когда– то ее и видно не было, оказался обычным плоским камнем, на который все присаживались отдохнуть. Тропинки, ведущие к домам, вовсе не были в милю длиной. Собаки не доставали ей и до колен. Буквы на березах и дубах, вырезанные, как ей когда-то казалось, гигантами, теперь были не выше уровня ее глаз.

Она все узнавала сразу. Столбы и сделанная из горбыля изгородь лесопилки теперь были серыми, а не белыми, но она все равно тут же узнала и столбы, и саму изгородь. Каменное крыльцо, увитое пышным плющом, бледно-желтые занавески на окнах; выложенная кирпичом дорожка до дверей и деревянные мостки вокруг дома, на которых она тогда стояла, притаившись, и подсматривала, пытаясь дотянуться до подоконника. Денвер уже собралась было по старой привычке заглянуть в окно, но тут поняла, как глупо будет, если вновь поймают за подобным занятием. Радость, оттого что она сразу нашла нужный дом, внезапно сменилась сомнениями. А что, если Леди Джонс здесь больше не живет? Или не сможет вспомнить свою бывшую ученицу — после стольких-то лет? Да и что она скажет? Сердце у Денвер екнуло, она вытерла испарину на лбу и постучалась.

Леди Джонс пошла открывать, ожидая, что принесли изюм. Судя по тихому стуку, кто-то из женщин послал своего малыша, чтобы передать ей изюм для пирога, раз уж она все-таки вызвалась его испечь для этого ужина. Обычных кексов и пирожков с картошкой там, разумеется, будет сколько угодно. Она не слишком охотно

предложила изготовить свое коронное блюдо, сказав председательнице, что у нее нет изюма. Но та ответила, что изюм ей непременно принесут, и отвертеться не получилось. Миссис Джонс, с неудовольствием думая, как долго придется сбивать масло, надеялась, что та забыла. Всю неделю ее духовка была холодной — теперь попробуй разогрей ее до нужной температуры! Ужасно. После того как умер ее муж, а глаза ей застлало пеленой, она все свое идеально налаженное хозяйство забросила. Она и сейчас не слишком-то рвалась печь что-то особенное для собрания в церкви. С одной стороны, ей хотелось напомнить всем, на что она была когда-то способна в кулинарном искусстве; с другой — не хотелось, чтоб ее к этому вынуждали. И, услышав это царапанье в дверь, она вздохнула и пошла открывать, надеясь, что изюм по крайней мере перебрали.

Она, конечно, стала старше и была одета как последняя потаскушка, но эту девочку Леди Джонс узнала сразу. Удивительно, как много было в этом лице детского: круглые, как монетки, глаза, смелые и одновременно недоверчивые; крупные здоровые зубы, видневшиеся между темными, красиво вырезанными губами; какая-то уязвимость, беспомощность — в глазах, в

переносице, в скулах. И потом — эта дивная кожа! Безукоризненно гладкая, туго натянутая — ни морщинки, ни лишней складочки. Ей, должно быть, сейчас восемнадцать или девятнадцать, думала Леди Джонс, глядя на это лицо, впрочем, настолько юное, что могло принадлежать двенадцатилетней, густые брови, пушистые детские ресницы и та откровенная потребность в любви, что окружает сиянием детей, пока они не узнают жизнь лучше.

— Не может быть! Неужели это ты, Денвер? — воскликнула Леди Джонс. — Нет, вы только на нее посмотрите!

Леди Джонс пришлось взять девушку за руку и втащить в дом чуть ли не силой, потому что она, похоже, кроме улыбки, ничего из себя выдавить не могла. Многие считали, что эта девочка глуповата и недоразвита, но Леди Джонс никогда в это не верила. Она знала лучше — ведь это она учила Денвер и видела, как легко девочка усваивает прочитанное, запоминает правила и цифры. Когда Денвер вдруг перестала приходить в школу, Леди Джонс решила, что у родных ее просто нет денег. Однажды она сама подошла к неграмотной бабке Денвер, встретив ее на дороге, — к этой лесной проповеднице, что еще и башмаки чини-

ла, — и сказала ей, что если у них нет денег, так это ничего, можно и в долг. Но старуха ответила, что дело вовсе не в том — девочка оглохла. Леди Джонс считала, что Денвер так и осталась глухой, пока не предложила ей сесть и не поняла, что та отлично ее слышит.

— Как мило, что ты зашла навестить меня. У тебя ко мне какое-нибудь дело? Денвер не ответила.

— Ну что ж, можно зайти и без повода. Приготовлю-ка я нам по чашечке чаю.

Леди Джонс была мулаткой. У нее были серые глаза и какие-то желтоватые, шерстистые волосы, которые она ненавидела — хоть и не знала, за что больше: за цвет или за курчавость. Когда-то она специально вышла замуж за самого чернокожего человека, какого только сумела отыскать, и родила от него пятерых детей всех цветов радуги; всех их она отослала в школу Уилберфорса[12], прежде научив всему тому, что знала сама, а заодно с ними — и остальных детишек, что приходили к ней в дом. Благодаря светлой коже ее в свое время выбрали для обучения в женском педаго-

[12] Примечания: 12

Школа, основанная в 1856 г. Методистской церковью, получила имя Уильяма Уилберфорса (1759 — 1833) британского государственного деятеля, убежденного противника рабства.

гическом училище для цветных в Пенсильвании, и теперь она старалась отплатить за свою удачу, обучая тех,

кого туда не брали. Ее учениками становились дети,игравшие на улице в грязи, пока не подрастали настолько, что годились для работы. В Цинциннати у цветных было два своих кладбища и шесть церквей, но ни одной школы или больницы, так что они учились и умирали дома. Леди Джонс всей душой верила, что, за исключением ее мужа, все (в том числе и ее дети) презирают ее и ее волосы. Она всю жизнь только и слышала: «Эх, сколько желтой краски зря пропало!» — или: «Гляди, белая негритянка!» — и тому подобное с самого раннего детства, когда жила в доме, полном черно– коричневых детишек всех мастей, так что людей она скорее недолюбливала, потому что была уверена, что они ненавидят ее волосы так же сильно, как и она сама. Получив красивое свидетельство об окончании училища, она подобрела к людям, стала со всеми без исключения вежлива, приберегая свою настоящую, искреннюю любовь для отверженных цветных детей Цинциннати, одна из которых сидела сейчас перед нею в таком кричаще непристойном платье, что, казалось, оно своей расцветкой заставляет

краснеть от стыда даже стул под ней.

— Сахару?

— Да. Спасибо. — Денвер залпом проглотила чай.

— Еще?

— Нет, мэм.

— Пожалуйста, не стесняйся.

— Хорошо, мэм. Спасибо.

— Как поживает твоя семья, детка?

Денвер так и застыла, забыв про чай. Ну как рассказывать все это? И она сказала первое, что пришло ей на ум:

— Мне нужна работа, мисс Леди.

— Работа?

— Да, мэм. Любая.

— Что же ты умеешь делать? — улыбнулась Леди Джонс.

— Я ничего такого особенного не умею, но я непременно выучусь и буду работать на вас, если вы мне еще немножко дадите.

— Еще немножко чего?

— Поесть. Моя мама… она плохо себя чувствует…

— Ах, детка! — только и сказала миссис Джонс. — Ах, детка!

Денвер подняла на нее глаза. Она не сразу поня-

ла это, но именно слово «детка», произнесенное тихо и с удивительной добротой, ввело ее в мир взрослых людей. Тернистую тропу, по которой она шла, чтобы попасть в это волшебное место, устилали бумажки с написанными от руки именами. Леди Джонс дала ей немного риса, четыре яйца и немного чая. Денвер сказала, что не может надолго отлучаться из дому, потому что мать серьезно больна, и спросила, не поручит ли ей Леди Джонс какую-нибудь утреннюю работу. Леди Джонс ответила, что ни она сама и ни одна женщина из тех, кого она знает, не в состоянии платить за ту работу, которую всегда делали и делают сами.

— Но если вопрос только в продуктах, то, пока твоя мама не поправится, тебе нужно всего лишь сказать об этом. — И она пояснила, что у них в церкви есть такой специальный комитет — чтобы никто не остался голодным.

Это сообщение взволновало Денвер, которая тут же сказала:

— Нет, нет, спасибо, не надо, — как будто просить помощи у незнакомых людей куда хуже, чем голодать.

Леди Джонс попрощалась с ней и сказала, чтобы она в любое время заходила еще.

— Слышишь? В любое время заходи.

Через два дня Денвер, выйдя на крыльцо, вдруг заметила что-то на пне у ограды. Она пошла посмотреть и обнаружила мешочек белой фасоли. В следующий раз она нашла там тарелку с холодным тушеным кроликом. А однажды утром — целую корзинку яиц. Когда она взяла корзинку в руки, на землю упал клочок бумаги, на котором крупными корявыми буквами было написано: «М. Люсиль Уильямс». За корзинкой обнаружилось круглое пресное тесто. И Денвер пришлось совершить свой второй поход за ворота, чтобы вернуть корзинку, хотя сказать она при этом смогла только одно слово:

— Спасибо.

— На здоровье, — откликнулась М. Люсиль Уильямс. С тех пор всю весну на пне появлялись подарки с записками. Записки писались, очевидно, для того, чтобы Денвер знала, кому вернуть сковородку, тарелку или корзинку, однако и затем, чтобы девушка поняла, если ей это, конечно, не все равно, кто именно принес подарок, потому что некоторые из посылок были всего лишь завернуты в бумагу, и, хотя в таком случае возвращать было нечего, имя все равно было написано. Но многие просто ставили вместо подписи кре-

сты, украшенные рисунками, и тогда Леди Джоне трудновато было определить, чья это тарелка, или сковородка, или полотенце. Денвер все же следовала ее указаниям и отправлялась сказать «спасибо» вне зависимости оттого, правильно ли Леди Джонс определила дарителя. Если Денвер ошибалась, ей обычно отвечали:

— Нет, милая. Это не моя миска. У моей поверху такая синенькая полоска, — и завязывалась беседа. Все эти люди знали ее бабушку, и многие даже ходили с ней на Поляну. Другие помнили те дни, когда дом номер 124 служил для беглых пересадочной станцией, а для них самих — клубом, где они собирались, чтобы узнать новости, попробовать суп из бычьих хвостов, оставить на время малышей или скроить юбку. Одна женщина припомнила отличное укрепляющее средство, которое готовила Бэби Сагз; это лекарство поставило на ноги ее родственника. Другая показала Денвер вышитую особым крестом подушку– голубые с тычинками цветочки; она вышивала ее на кухне у Бэби Сагз при свете масляной лампы за жарким спором о выкупе земли поселенцами. Женщины часто вспоминали и ту знаменитую пирушку, где съели двенадцать жареных индюков и несколько бочек земляничного пюре.

Одна из них сказала, что пеленала Денвер, когда той был всего один день от роду, и пришлось разрезать хорошие ботинки, чтобы всунуть в них до ужаса распухшие ноги Сэти. Возможно, они жалели Денвер. А может, Сэти. А может, жалели о том, что так долго их презирали. Скорее всего, это были просто хорошие, добрые люди, которые могли неприязненно относиться к их семье, однако, узнав о несчастье, тут же бросились на помощь. Так или иначе, теперь им казалось, что чрезмерная гордость и высокомерие, приписываемые обитателям дома номер 124, поразили кого-то другого. Они, естественно, перешептывались, удивлялись, качали головой и даже смеялись при виде сомнительных одеяний Денвер, но это не мешало им заботливо спросить, ела ли она; не мешало им радоваться ее приходам и тихому «спасибо».

По крайней мере раз в неделю Денвер заходила к Леди Джонс, которая настолько вдохновилась, что стала печь специально для нее большую булку с изюмом по собственному рецепту, поскольку Денвер, как ей показалось, была просто помешана на сладком. Леди Джонс подарила ей книжку псалмов и слушала, как та бормочет стихи себе под нос или громко выкрикивает их К июню

Денвер выучила наизусть все пятьдесят две страницы — по одной на каждую неделю года.

Итак, жизнь Денвер вне дома шла совсем неплохо, но вот дома ей становилось все хуже и хуже. Если бы белые жители Цинциннати допускали негров в свою лечебницу для душевнобольных, то пациенты для нее вполне нашлись бы в доме номер 124. Обретя силы благодаря приносимым в дар продуктам — откуда взялись эти дары, ни Сэти, ни Возлюбленная даже не спрашивали, — обе женщины точно получили долгожданную передышку перед днем Страшного суда, от дьявола, должно быть, получили. Возлюбленная бездельничала, ела, валялась то на одной постели, то на другой. Иногда она вскрикивала: «Дождь! Дождь!» — и царапала себе горло, пока капельки ярко– красной крови не проступали на коже, темной, как полночное небо. Тогда Сэти кричала «нет!» и, сшибая стулья, бросалась к ней, чтобы поскорее стереть с ее горла эти крохотные сверкающие рубины. Порой Возлюбленная просто сворачивалась клубком на полу, зажав руки между коленями, и в таком положении оставалась часами. Или отправлялась к ручью, опускала ступни в воду и с громким плеском болтала ногами, забрызгивая подол. А после шла к Сэти,

ощупывала пальцами ее зубы, а с пушистых ресниц и из огромных черных глаз катились слезы. В такие минуты Денвер казалось, что неизбежное свершилось: Возлюбленная, склонившаяся над Сэти, выглядела матерью, а Сэти — ребенком, у которого режутся зубы; когда же Возлюбленная в ней не нуждалась, Сэти покорно сидела на стуле в уголке. Чем больше и толще становилась Возлюбленная, тем худее и меньше — Сэти; чем ярче сверкали огромные глаза Возлюбленной, тем чаще глаза Сэти, те глаза, которые она прежде никогда не отводила в сторону, казались тусклыми щелками, опухшими от постоянной бессонницы. Сэти уже не расчесывала и не взбивала свои пышные волосы и не плескала себе в лицо водой, умываясь. Сидела в кресле, облизывая губы, точно наказанный ребенок, а Возлюбленная тем временем пожирала ее жизнь, хватала кусок за куском, пухла от обжорства, становилась все толще и выше. И старшая безропотно уступала младшей.

Денвер ухаживала за обеими. Мыла, готовила, порой обманом заставляла мать хоть немножко поесть, добывала сладости для Возлюбленной, чтобы доставить той радость и успокоить ее, потому что невозможно было предположить, что

она способна выкинуть в следующую минуту. Когда наступила жара, Возлюбленная вполне могла, например, ходить по всему дому совершенно голой или слегка завернувшись в простыню; живот ее победно торчал, как перезрелая дыня.

Денвер казалось, она понимает, чем вызвана эта болезненная связь между Сэти и Возлюбленной: Сэти пыталась как-то загладить свое преступление, а Возлюбленная постоянно заставляла ее расплачиваться. Но ведь этому не будет конца! Видя, как худеет и усыхает мать, как она унижена, Денвер испытывала одновременно и стыд, и злость. И все-таки она понимала: больше всего Сэти боится того же, чего прежде боялась сама Денвер, — что Возлюбленная может уйти. Прежде чем Сэти сумеет объяснить Возлюбленной, чего все это ей стоило — провести пилой по крохотному горлышку и чувствовать, как кровь ребенка маслянистым ручьем заливает ей руки, а потом придерживать эту головку лицом вверх, чтобы не отвалилась, сжимать дочку в объятиях, принимая в себя, впитывая те предсмертные судороги, что пробегали по ее тельцу, такому пухленькому и совсем недавно полному жизни, — прежде чем она успеет объяснить ей все это, Возлюбленная может уйти. Уйти до того,

как Сэти сумеет внушить ей, что хуже смерти — куда хуже — было то, отчего умерла Бэби Сагз; то, что знала Элла; то, что видел Штамп, и то, отчего Поля Ди била неудержимая дрожь. Что любой белый может забрать тебя целиком, всего, вместе с душой, если ему это придет в голову. Не только вынудит тебя работать на него, убьет или изуродует, но замарает тебе душу. Замарает так, что ты сам себе станешь противен; забудешь, кем был прежде, и даже вспомнить не сможешь. И хотя она, Сэти, и многие другие пережили такое и справились, она никогда не позволит, чтобы это случилось с ее детьми. Самое лучшее, что есть у нее, — это ее дети. Ладно, пусть даже белые испачкают ее тело и душу; но им не добраться до самого лучшего в ней, самого сокровенного и волшебного — до той части ее существа, что всегда была чиста. И не будет невообразимых снов о том, кто же висел на дереве — без головы и без ног — с нарисованным на груди знаком, — муж ли ее или Поль Эй; и о том, не окажутся ли ее дочери среди сгоревших заживо девушек в школе для цветных, подожженной бандой патриотов; и о том, не станет ли толпа белых мерзавцев своими грязными лапами касаться обнаженного тела ее девочки, насиловать ее, пачкать ее бедра

своей спермой, а потом выбросит ее из повозки на полном ходу. Это она, Сэти, могла бы работать на бойне по субботам, но только не ее дочь.

И никто, ни один человек на земле никогда не станет перечислять свойства ее дочери на той стороне листа, где записывают свойства животных. Нет. О нет! Может, Бэби Сагз могла бы вынести эту муку; Сэти и тогда отказалась так жить — и отказывается поныне.

Это и еще многое другое слышала Денвер от матери, когда та сидела в углу, пытаясь убедить Возлюбленную в правильности своего выбора, — убедить того единственного человека, перед которым чувствовала себя обязанной оправдываться, доказывать, что все сделала правильно, потому что руководила ею истинная любовь.

Возлюбленная, упершись своими полными гладкими ступнями в сиденье поставленного напротив стула и спокойно сложив свои младенчески гладкие руки на животе, смотрела на Сэти. Не понимая и не воспринимая ничего, только одно: Сэти была той женщиной, что отобрала у нее лицо, бросила ее в каком-то темном-претемном месте и забыла ей улыбнуться.

В конце концов, будучи дочерью своего отца, Денвер решила действовать. И перестать пола-

гаться на доброту тех, кто оставлял им еду на пне. Она собралась непременно найти какую-нибудь работу, хоть и боялась покидать Сэти и Возлюбленную на целый день, не зная, что еще может выкинуть та или другая, но наконец поняла, что ее присутствие в доме для обеих, в общем-то, не имеет значения. Она поддерживала в них жизнь, но они не обращали на нее ни малейшего внимания. Ворчали друг на друга, дулись, выясняли отношения, что-то друг у друга требовали и ходили с важным видом; дрожали от страха или от холода, плакали, доводили друг друга до истерики, до бешенства, а подчас и переступали эту грань. Денвер стала замечать, что если Возлюбленная была спокойной и сонно-мечтательной, думая о чем-то своем, то первой тогда начинала Сэти. Она что-то шептала, бормотала какие-то оправдания, что-то рассказывала Возлюбленной, пытаясь объяснить, как все это было на самом деле и почему так произошло. Похоже, Сэти никакого прощения вовсе не требовалось; наоборот, ей хотелось, чтобы в прощении ей отказали. И Возлюбленная с удовольствием оправдывала это ее тайное желание.

Кого-то из них нужно было спасать, но если Денвер не найдет работу, то спасать будет некого.

И не к кому будет возвращаться домой. И самой Денвер тоже тогда не будет. Это была новая мысль, призывающая Денвер обратить внимание и на себя тоже, постараться как-то уберечь себя и выжить. Мысль эта не появилась бы у нее, не повстречай она Нельсона Лорда — тот выходил из дома своей бабушки, когда Денвер туда входила, чтобы поблагодарить за принесенные полпирога. Он только улыбнулся и сказал: «Подумай о себе самой, Денвер, пожалуйста», но ей показалось, что ради этих слов и был создан человеческий язык В первый раз, давно, когда он разговаривал с ней, его вопросы намертво закрыли ей уши. Теперь же его слова открыли ей разум. Пропалывая грядки в огороде, выдергивая из земли овощи, готовя еду, моя посуду, Денвер обдумывала, что и как ей делать. Больше всего надежды было на Бодуинов, ведь они уже дважды им помогли. В первый раз — Бэби Сагз, во второй — матери Денвер. Может быть, они помогут и ей, представительнице третьего поколения этой семьи?

Она долго блуждала по улицам Цинциннати и добралась до цели только после полудня, хотя вышла с рассветом. Дом стоял довольно далеко от тротуара, большие окна смотрели через сад на шумную деловую улицу. Негритянка, открывшая

парадную дверь, спросила:

— Тебе чего?

— Можно мне войти?

— Зачем?

— Я хочу видеть мистера и миссис Бодуин.

— Мисс Бодуин. Они брат и сестра.

— Ой, простите!

— Зачем они тебе понадобились?

— Я ищу работу. Я думала, может, они что-нибудь мне подскажут.

— Ты ведь из семьи Бэби Сагз, верно?

— Да, мэм.

— Что ж ты стоишь, входи. И так уже мух напустила. — Женщина провела Денвер на кухню, приговаривая: — Самое главное — знать, в какую дверь постучаться.

Но Денвер ее почти не слушала: она только что прошла по чему-то мягкому и голубому. И все вокруг было уютным, мягким и голубым. Застекленные шкафы битком набиты какими-то красивыми блестящими вещами. Книги на столах и на полках. Жемчужно-белые лампы со сверкающими металлическими подставками. И запах — похожий на тот одеколон, которым она поливалась в зеленой комнатке, но только несравненно лучше.

— Садись, — сказала негритянка. — Знаешь, как меня звать-то?

— Нет, мэм.

— Джани. Джани Вэгон.

— Как поживаете?

— Прекрасно. Я слышала, мать твоя заболела, это правда?

— Да, мэм.

— Кто же за ней ходит?

— Я. Но мне обязательно нужно работу найти. Джани рассмеялась:

— Знаешь что? Я тут живу с четырнадцати лет, но как вчера помню, когда Бэби Сагз, святая, впервые пришла сюда и села точнехонько вон там, где ты сидишь. Ее один белый мужчина привез. Тут она получила и дом, в котором все вы живете, и все остальное тоже.

— Да, мэм.

— А с Сэти-то что случилось? — Джани прислонилась к раковине, скрестив на груди руки.

С нее запрашивали не так уж много, но цена показалась ей непомерной. Никто не собирался помогать, пока она не расскажет всего. Это было совершенно ясно. Ни Джани и никто другой. А значит, Джани не позволит ей повидаться с Бодуинами. И Денвер рассказала этой чужой

женщине то, чего не рассказывала никому, даже Леди Джонс. Выслушав ее, Джани тут же предположила, что Бодуинам потребуется еще одна прислуга, хотя сами они об этом еще не знают. Она здесь единственная служанка и теперь, когда ее хозяева стареют, уже не может заботиться о них как прежде. Тем более что они все чаще и чаще просят ее остаться на ночь. Может быть, удастся уговорить их, чтобы Денвер подменяла ее по ночам? Приходила, скажем, сразу после ужина и оставалась до утра; может быть, даже завтрак готовила и завтракала сама. Тогда у нее хватило бы времени на Сэти днем, а ночью она бы немножко подрабатывала. Как ей нравится такой план?

Денвер описала Возлюбленную как свою родственницу, которая жила у них в доме, но теперь заболела, мучает мать до смерти и ужасно досаждает им обеим. Но Джани, похоже, куда больше интересовало состояние Сэти; судя по рассказам Денвер, несчастная женщина, видно, потеряла рассудок. Это была совсем не та Сэти, какую Джани хорошо знала. Эта Сэти, верно, совсем обезумела — что ж, в конце концов так и должно было случиться: слишком уж она самостоятельная была да гордая, слишком нос задирала.

Денвер поежилась, услышав недобрые слова в адрес матери, заерзала на стуле и, опустив голову, уставилась на раковину. Джани Вэгон продолжала рассуждать о неуместной гордыне, пока не добралась до Бэби Сагз — для той у нее нашлись только хорошие слова.

— Я-то никогда на Поляну слушать ее проповеди не ходила, но она всегда была ко мне так добра! Всегда! Другой такой уж больше никогда на свете не будет.

— Я тоже по ней скучаю, — сказала Денвер.

— Ну еще бы не скучать. Все по ней скучают. Это была хорошая женщина.

Денвер молчала, и Джани заглянула ей в лицо:

— Никто из твоих братьев так и не вернулся вас проведать?

— Нет, мэм.

— И вестей от них никаких не было?

— Нет, мэм. Никаких.

— Видно, несладко им жилось в этом доме. Скажи-ка, а у этой женщины, у родственницы вашей, морщинок на руках нет?

— Нет, — ответила Денвер.

— Что ж, — проговорила Джани. — Есть Господь на небесах.

Разговор закончился, и Джани велела Денвер

прийти через несколько дней: ей нужно время, чтобы убедить своих хозяев в необходимости новой служанки — на ночь, потому что она, Джани, по ночам своей собственной семье нужна.

— Мне-то с этого места уходить никуда не хочется, да только не могут же эти люди отнять у меня все мои дни и ночи?

Что здесь будет нужно делать по ночам Денвер?

— Просто быть тут. На всякий случай. На случай чего?

Джани пожала плечами:

— А вдруг пожар случится? — И она улыбнулась. — Или дожди так сильно размоют дорогу, что я не смогу вовремя сюда добраться с утра. Или припозднившимся гостям что-нибудь понадобится, или нужно будет что-то убрать после их ухода. Да мало ли что, и не спрашивай меня, что там белым может по ночам понадобиться.

— Они вроде бы всегда были хорошими белыми.

— О да! Они хорошие. Ничего не могу сказать. Я бы ни за что их на других хозяев не променяла, вот как!

Обнадеженная, Денвер двинулась было в обратный путь, но тут на завалинке у черного хода

увидела негритенка с полным ртом денег. Голова у него была запрокинута назад, руки засунуты в карманы. Огромные, как две луны, глазищи и разинутый рот с красными губами. Волосы у него торчали немыслимыми пучками. Он стоял на коленях. А во рту величиной с чайную чашку у него лежали монеты — платить посыльному, почтальону и прочее, но там могли бы с тем же успехом лежать пуговицы, булавки или яблочное варенье. На приступочке, где помещались его колени, было написано: «К вашим услугам».

Новости, которые узнала Джани, распространились среди других цветных женщин. Покойная дочь Сэти, которой та перерезала горло, вернулась и полностью взяла над ней власть. Сэти на пороге смерти; вся покрылась пятнами, вертится волчком, меняет обличье и вообще — одержима дьяволом. А вернувшаяся дочь бьет ее, привязывает к кровати и повыдергала у нее на голове все волосы. Потребовалось немало дней, чтобы эта история приобрела подлинные очертания, а женщины, дав волю чувствам, несколько успокоились и стали оценивать ситуацию более трезво. Они разделились на три группы: те, кто верил в худшее; те, кто вообще ничему не поверил; и те, кто, как Элла, пытался докопаться до сути.

— Элла, что там такое с Сэти?

— Скажи лучше, у нее в доме, а не с ней самой.

— А что, правда, та ее дочь вернулась? Убитая?

— Так мне сказали.

— А откуда известно, что это она?

— Она там живет. Спит, ест и творит черт знает что. Бьет Сэти каждый день.

— Господи! Малышка?

— Нет. Взрослая. Такая, какой была бы, если б осталась жива.

— Ты хочешь сказать — во плоти?

— Да, именно так.

— И бьет Сэти кнутом?

— Как тесто взбивает.

— По-моему, так Сэти и надо.

— Никому такого не надо!

— Но, Элла…

— Никаких «но». То, что справедливо, не всегда правильно.

— Но нельзя же своих детей убивать, если тебе что-то в голову ударило?

— Нет. Но и детям, если им что-то в голову ударило, нельзя просто взять и убить свою мать.

Именно Элла постаралась убедить всех, что необходимо организовать спасение Сэти. Она была женщиной практичной, которая твердо

верила, что есть корни съедобные, а есть и такие, которых нужно избегать при любых обстоятельствах. А излишние размышления, считала она, только мозги затуманивают и мешают действовать. Соседи Эллу не особенно любили, да она и сама была бы недовольна, если б было наоборот, потому что считала любовь вредной слабостью. Юность она провела в доме, где ее делили между собой отец и сын, который, как она говорила, «был еще хуже». «Тот, что был еще хуже», внушил ей отвращение к любви — прежде всего к плотской — и стал для нее мерилом жестокости. Убийства, похищения, насилия — слушая обо всем этом, она только головой качала. Ничто не могло сравниться с тем, «что был еще хуже». Она понимала ярость, охватившую Сэти двадцать лет назад, но то, что она сделала в этой ярости, было, по мнению Эллы, исполнено непомерной гордыни да и вообще не туда направлено. Саму Сэти Элла считала слишком уж сложной. Когда та вышла из тюрьмы и ни к кому не обратилась за помощью, а стала жить так, словно вокруг не было ни одного человека, Элла отбросила память о ней, как ненужный хлам, и даже не смотрела в ее сторону.

Однако эта ее дочь, Денвер, похоже, что-то со-

ображала. Во всяком случае, она решилась выйти за порог, попросила о помощи, которая действительно была ей необходима, и теперь искала работу. А когда Элла услышала, что дом номер 124 находится во власти неведомого существа, которое истязает Сэти, то разозлилась и получила очередную возможность выяснить, проигрывает ли сам дьявол тому, «что был еще хуже». Эта история перекликалась с ее жизнью: что бы там ни сделала Сэти, Элла не любила, когда былые ошибки заставляют человека расплачиваться за них своим настоящим и будущим. Преступление, совершенное Сэти, было ошеломляющим; гордыня ее превосходила все возможные пределы; однако Элла никак не могла допустить, чтобы некогда совершенный Сэти грех обрел человеческую плоть и разгуливал у нее в доме, а все плясали под его дудку. Каждый день жизни требовал от Эллы всех ее сил. Будущее виделось ей как закат; прошлое следовало забыть, оставить позади. И если оно не желало оставаться там, где ему положено, тогда его можно было только прогнать. В ее рабской жизни, как и в жизни свободной, каждый день был испытанием. Ни на что нельзя было рассчитывать в этом мире, где ты сам одновременно и задача, и ключ к ней.

Довлеет дневи злоба его. Никому не требовалось добавки, никому не хотелось, чтобы подросшее зло, ворча, садилось со всеми вместе за стол. До тех пор пока привидение только выглядывало из своего тайника — сотрясало дом, разбрасывало вещи, плакало, било посуду, — Элла относилась к нему с почтением. Но как только оно обрело реальную плоть и явилось в мир живых людей, все сразу встало с ног на голову. Элла ничего не имела против определенной связи между двумя мирами, вроде небольшого мостика, но теперь происходило вторжение.

— Может, нам помолиться всем вместе? — спрашивали женщины.

— Ладно, — согласилась Элла. — Сперва мы помолимся. А потом займемся делом.

В тот день, когда Денвер должна была впервые провести ночь в доме Бодуинов, мистер Бодуин поехал по своим делам на окраину Цинциннати и сказал Джани, что вернется к ужину и на обратном пути прихватит с собой эту новую девушку. Денвер сидела на крыльце с узелком на коленях; ее карнавальный наряд выгорел под солнцем и стал не таким вызывающе ярким. Она смотрела направо, потому что оттуда должен был появиться мистер Бодуин. И не видела, как

слева к их дому медленно по две, по три идут женщины. Денвер смотрела только направо. Она немножко волновалась: подойдет ли хозяевам, оправдает ли их доверие? И еще ей было не по себе, потому что утром она проснулась в слезах: ей приснились убегающие от нее башмаки. Тоска, которая при этом охватила ее, не проходила весь день; она никак не могла стряхнуть ее с себя, а когда принялась за домашнюю работу, жара и духота просто измучили ее. Так что куда раньше положенного срока она уже собралась: завернула в узелок ночную рубашку и щетку для волос. Сидя на крыльце, Денвер нервно теребила узелок и безотрывно смотрела направо.

Кое-кто из женщин принес с собой то, что, по их мнению, могло как-то подействовать, спрятав драгоценные амулеты в карманы фартуков или повесив на шею и на грудь. Другие несли с собой только свою веру в Христа — свой щит и меч. Большинство же захватили понемногу и того, и другого. Они понятия не имели, что именно станут делать, когда подойдут к крыльцу Они просто вышли из своих домов, прошли по Блустоун-роуд и сошлись в назначенный час в назначенном месте. Жара, правда, заставила кое-кого из обещавших прийти остаться дома. Некоторые, хоть

и поверили во всю эту историю, не пожелали иметь дела с существом из иного мира и не пришли бы ни при какой погоде. А такие, как Леди Джонс, которая не поверила ни единому слову и порицала невежество тех, кто поверил, конечно, тоже остались дома. Так что всего собралось человек тридцать. И женщины медленно-медленно двинулись к дому номер 124.

Было три часа дня, пятница, влажные и горячие испарения Цинциннати достигли окраины, разнося нестерпимую вонь — гниющая вода канала, развешанные на бойне свиные туши, требуха в бесчисленных ведрах и тазах, разлагающиеся трупы крыс и мышей в канавах, дым заводов и фабрик Вонь, жара, влажность — стоит дьявола помянуть, и он тут как тут. С другой стороны, все выглядело так же, как и в любой будний день. Эти женщины вполне могли идти, например, стирать в сиротский приют или в сумасшедший дом; или лущить кукурузу на мельницу; или чистить рыбу у причалов; или полоскать требуху на бойне; или баюкать белых детей, мыть в домах лестницы, скоблить свиные шкуры, топить жир, паковать в ящики готовую колбасу или скрываться по кухням таверн, чтобы белые не оскорбляли свой взор созерцанием того, как эти женщины готовят

им еду.

Но не сегодня.

Когда они сошлись, все тридцать, и приблизились к дому номер 124, то первое, что они увидели, была вовсе не Денвер, сидевшая на крыльце. То были они сами, только моложе, сильнее и такие спокойные, как уснувшие на траве маленькие девочки. Зубатки исходили жиром на сковородках, а они, гостьи, зачерпывали картофельный салат и накладывали на тарелки. Коблер со льдом и лимоном вспыхивал красными искрами, сок окрашивал зубы и губы. Они сидели на крыльце, бегали к ручью, дразнили мужчин, качали детишек на коленях; а те, кто тогда сами были еще детьми, оседлывали колени стариков, которые играли с ними в «лошадку». Бэби Сагз смеялась и проталкивалась среди гостей, требуя еще веселья. Матери их тогда еще были живы, они приподнимали плечи, играя на губных гармониках… Ограда, на которую они тогда опирались и через которую перелезали, исчезла. Пень от старого орехового дерева раскололся. Но сами-то они были там! Молодые и счастливые, играли и веселились во дворе у Бэби Сагз, нисколько не ощущая той зависти, которая всплыла в их душах на следующий день.

Денвер наконец услышала чьи-то голоса, посмотрела налево и вскочила. Они стояли группками, бормоча и перешептываясь, но во двор ни одна не вошла. Денвер помахала им рукой. Кое-кто помахал ей в ответ, но ближе они так и не подошли. Денвер снова села, удивляясь тому, что происходит. Какая-то женщина вдруг упала на колени. Многие последовали ее примеру. Денвер видела их опущенные головы, но самой молитвы не слышала — только яростный припев: «Да, да, да, о да! Слышишь меня, Господи? Слышишь? Сделай же это, Создатель, сотвори чудо». Среди тех, кто на колени не опустился и стоял, не сводя сурового взгляда с дома номер 124, была Элла; она словно пыталась увидеть сквозь стены, сквозь закрытую дверь, что там было внутри. Неужели все-таки мертвая дочь Сэти вернулась? Или кто-то притворяется ею? Действительно ли она бьет Сэти кнутом? Эллу били всем на свете, но сломить так и не смогли. Она отлично помнила, как ей выбили нижние зубы. И шрамы на талии от ударов железной трубой — они были толстыми, как веревки. Она тогда только что родила, но наотрез отказалась кормить волосатое белокожее существо, отцом которого был «тот, что еще хуже». Оно прожило пять дней, так и не издав

ни звука. От одной только мысли о том, что хозяйский ублюдок мог бы вернуться с того света и бить ее кнутом, у нее желваки на лице заходили. И она издала громкий призывный клич.

Те, кто преклонил колена, и те, кто не стал этого делать, разом присоединились к ней. Женщины перестали молиться и сделали шаг назад, собираясь начать. Вначале никаких слов не требовалось. Нужно было только издать тот звук, который все они хорошо знали.

Эдвард Бодуин ехал по Блустоун-роуд. Ему не слишком нравилось сидеть на козлах; он предпочел бы гарцевать верхом на Принцессе. Согнувшись и держа в руках поводья, он казался себе старым — да ведь он и был старик Сестра попросила его сделать небольшой крюк, чтобы забрать эту новую девушку. О дороге думать было не нужно — он ехал к дому, где родился. Возможно, именно поэтому он и стал размышлять о времени — о том, как оно то сочится по капле, то мчится неудержимым потоком. Он не видел этого дома уже лет тридцать. Не видел серого ореха, что рос перед крыльцом, ручья на задворках, сарая. Не видел даже луга на другой стороне дороги. И очень плохо помнил, как выглядел дом изнутри, потому что ему было всего три года, когда семья

переехала в город Но он хорошо помнил, что еду готовили в кухне за домом, что возле колодца играть было запрещено и что многие женщины из его семьи умерли в этом доме: мать, бабушка, одна из теток и одна из старших сестер (она умерла еще до того, как он родился). Мужчины же (его отец и дед) переехали с ним и его крохотной сестренкой на Корт-стрит шестьдесят семь дет назад. Земля, разумеется — восемьдесят акров земли по обе стороны Блустоуна, — была здесь главным богатством и могла приносить неплохой доход, но он относился к этому дому с глубочайшей нежностью и соглашался сдавать его в аренду за мизерную плату или вообще даром, лишь бы жильцы содержали дом в порядке, спасая его от разрушения и запустения; деньги Бодуина не слишком волновали.

Когда-то давно он прятал там клады. Драгоценные для него вещи, которые хотел сохранить в секрете. Когда ты ребенок, все, чем ты владеешь, доступно и известно твоей семье. Тайна — это привилегия взрослых. Однако когда он сам стал взрослым, потребность в секретах, похоже, отпала.

Лошадка бодро постукивала копытами, и Эдвард Бодуин выдохнул в свои прекрасные усы. Все

женщины в их Обществе единодушно считали, что, помимо красивых рук, усы — самая привлекательная его черта. Темные, бархатистые. Крепкий, гладко выбритый подбородок только подчеркивал их красоту. А вот голова у него была совсем седая, как и у его сестры, — еще с молодых лет. Из-за седой головы он был заметен на любом сборище, и карикатуристы вечно цеплялись к его несколько театрально выглядевшим снежно-белым волосам и пышным черным усам, изображая местные политические распри. Двадцать лет назад, когда Общество по борьбе с рабством было в зените своей славы, контраст между его усами и совершенно белой головой выглядел как символ их деятельности. «Крашеный ниггер» — так называли его враги, а во время поездки в Арканзас жители прибрежных селений, обозлившись на лодочников– негров, с которыми вечно соперничали, поймали Бодуина и вымазали ему лицо и волосы ваксой. Бурные деньки давно миновали; осталась тина недоброжелательства, разбитые надежды и проблемы, которые не разрешить только силами аболиционистов. Спокойная республика? Увы, ему до этого не дожить.

Даже погода действовала на него слишком сильно. Ему было то слишком жарко, то он мерз,

ну а сегодняшняя жара его просто доконала. Он поглубже надвинул шляпу, чтобы солнце не так жгло шею; затылок до того нажарился, что может и удар хватить. Мысли о смерти и собственной слабости были вовсе не новы (ему уже перевалило за семьдесят), однако по-прежнему его раздражали. Все ближе подъезжая к старому родовому гнезду которое снилось ему по ночам, он еще острее чувствовал, как течет время. Измеряемое войнами, которые он пережил, но не участвовал в них (с индейцами майами, с испанцами, с южанами-раскольниками), время двигалось еле-еле. Однако измеряемое промежутками между закапыванием «кладов», оно казалось мгновением. Где, например, закопал он коробку с оловянными солдатиками? А цепочку от часов? И от кого, собственно, он их прятал? Наверно, от отца, человека глубоко религиозного, который знал многое из того, что ведомо только Господу, и рассказывал об этом людям. Отец казался ему человеком странным во многих отношениях, но было у него одно нерушимое правило: всякая человеческая жизнь священна. Ту же уверенность унаследовал сын, хотя для подобного убеждения оставалось все меньше оснований. Давно уже их движение вдохновляли

на дальнейшую борьбу лишь воспоминания о былом — о письмах, петициях, митингах, яростных спорах, о вступлении в их ряды все новых и новых членов, о Публичных скандалах, о тайном спасении и открытых призывах к бунту. И все же их деятельность дала свои результаты, а когда она затихла, то они с сестрой продолжали работать и научились преодолевать множество иных препятствий. Например, когда беглая негритянка поселилась в их собственном доме, где жила тогда ее свекровь, а потом сама себя повергла в бездну несчастий, Обществу удалось замять дело об убийстве ребенка и заглушить вопли о варварстве и тому подобном; даже преподнести это как хороший урок для поборников отмены рабства. Да, славные то были годы, годы ярости и борьбы за свои убеждения. Теперь же ему просто хотелось знать, где он закопал когда-то своих солдатиков и цепочку от часов. Уж очень удушливый день, довольно и этого: доставить домой новую служанку и вспомнить точно, где спрятано его сокровище. А потом он отдохнет, поужинает, и если будет угодно Богу, то солнце снова зайдет и снова подарит ему благословенный ночной сон.

Дорога поворачивала, и он услышал поющих еще до того, как увидел их.

Когда женщины собрались перед домом номер 124, Сэти была занята тем, что дробила кусок льда, собирала осколки в карман фартука и бросала потом в миску с водой. Когда за окном послышалось пение, она как раз смачивала в ледяной воде тряпку, чтобы приложить ее ко лбу Возлюбленной. Возлюбленная, вся мокрая от пота, распростерлась на постели Бэби Сагз, в гостиной, держа в руке кусочек каменной соли. Обе они услышали пение женщин одновременно, и обе подняли головы. Голоса становились все громче, и Возлюбленная села, лизнула соль и перешла в большую комнату. Потом они с Сэти, обменявшись взглядами, двинулись к окну. Они увидели Денвер, сидевшую на крыльце, и за ней, на границе двора и улицы, исступленные лица примерно тридцати женщин, их соседок. У одних глаза были закрыты; другие смотрели прямо в жаркое, сияющее небо. Сэти открыла дверь и взяла за руку Возлюбленную. Вместе они вышли на порог. Сэти показалось, что сама Поляна пришла сюда со своей жарой и шелестом листьев, когда женские голоса пытались отыскать единственно верное сочетание звуков, тот ключ, тот волшебный аккорд, который позволил бы прорваться за пределы слов. Женщины складывали свои голоса,

пока не прозвучала наконец секвенция такой мощи и силы, от которой колышутся глубокие воды и каштаны сыплются на землю. Эта волна звуков обрушилась на Сэти, и она задрожала с головы до ног, словно младенец, опущенный в купель.

Поющие женщины сразу узнали Сэти и, на удивление самим себе, не испытали ни малейшего страха, увидев ту, что стояла с нею рядом. До чего же это дьявольское отродье умное, подумали они. И красивое. Предстает перед людьми в обличье беременной женщины, которая не скрывает своей наготы и чему-то улыбается под жарким полуденным солнцем. Черная, как грозовая туча, с блестящей от пота кожей, она стояла перед ними на длинных прямых ногах, выставив свой большой тугой живот. Множество искусно заплетенных косичек виноградными лозами обвивали ее голову и плечи. Господи! Улыбка ее была просто ослепительна.

Сэти чувствует, как щиплет ей глаза, и, может быть, для того чтобы видеть яснее, поднимает их. Небо синее и ясное. Свежей зелени листвы не коснулось еще дыхание смерти. Но когда она чуть опускает глаза, чтобы снова взглянуть на эти любящие лица, то сразу видит его. Он медленно ведет под уздцы лошадь; на нем черная шляпа

с широкими полями — достаточно широкими, чтобы скрыть его лицо, но намерений его они скрыть не могут. Он входит к ней во двор; он приехал, чтобы забрать у нее самое дорогое. Она слышит шум крыльев. Крохотные колибри снова вонзают тонкие клювы-иглы сквозь ее головной платок, сквозь волосы прямо в кожу и хлопают крыльями. И если у нее есть в голове хоть одна мысль, то это: Нет! Нетнет. Нетнетнет. Она взлетает. Топорик для рубки льда она больше не держит в руке, он сам стал ее рукой.

Оставшись на крыльце одна, Возлюбленная улыбается. Но теперь в ее руке ничего нет: пусто. Сэти убегает, убегает от нее, и Возлюбленная чувствует пустоту в той руке, где только что была рука Сэти. А сама Сэти бежит прямо в толпу тех людей за оградой, соединяется с ними и оставляет Возлюбленную одну. Одну. Снова одну. Потом появляется Денвер и тоже бежит. Прочь от нее — к толпе людей. И они превращаются в холм. Холм падающих черных людей. И над ними, поднимаясь со своего места с кнутом в руке, возвышается тот человек без кожи и смотрит. Смотрит на нее.

* * *

Босые ноги, ромашки смяты. Ботинки мои и шляпа сняты. Босые ноги, ромашки смяты. Верни мне ботинки, верни мне шляпу.

На мешке с картошкой лежу головой, Дьявол маячит у меня за спиной. Хочется выть, будто волк в ночи… Люби, пока камнем не стал, о любви кричи.

> *Камень слеп, не чувствует боли.*
>
> *В любви же ты разум теряешь и волю*[13].

Он вернулся, точно совершая обратное движение по кругу. Сперва сарай, потом теплая кладовая, потом кухня, а вот и пес Мальчик, старый и слабый, весь в клочьях линяющей шерсти, спит у колодца. Увидев его, Поль Ди понимает, что Возлюбленная действительно ушла. Исчезла, как говорят некоторые, взорвалась прямо у них на глазах. Элла рассказывает не столь уверенно. «Может, и так, — говорит она, — а может, и нет. Может, она среди деревьев прячется, другого подходящего случая ждет». Но когда Поль Ди

---

[13] Примечания: 13
Перевод Е.Пучковой.

видит старую собаку, восемнадцать лет псу день в день, он уверен, что в доме номер 124 Возлюбленной нет. Однако открывает дверь в холодную кладовую с опаской, ожидая услышать знакомое: «Коснись меня. Погладь. Там, внутри. И назови меня по имени».

А вот и его тюфяк, покрытый старыми газетами и по краям обглоданный мышами. Вот и банка из-под жира. Пустые мешки из-под картофеля сложены на грязном полу. При свете дня он никак не может представить себе, как все это выглядело в темноте, когда лунный свет просачивался сквозь щели. Не может вспомнить необоримую страсть, страсть, против которой он восставал, страсть, заставлявшую его брать эту девушку так исступленно, словно она была свежим воздухом над поверхностью океана. В совокуплении с нею не было даже радости. Больше всего это было похоже на слепое желание выжить во что бы то ни стало. Каждый раз, когда она приходила и задирала свои юбки, жажда жизни ошеломляла его, влекла неудержимо, как неудержимо было и его собственное дыхание. И потом, вынырнув на поверхность, выброшенный на берег, хватающий ртом воздух, испытывая отвращение и чудовищный стыд, он был благодарен ей за то, что вновь

побывал в океанских глубинах, ведомых когда-то ему самому.

Просачивающиеся сквозь щели лучи света рассеивают воспоминания, превращая их в пылинки, пляшущие в воздухе. Поль Ди захлопывает за собой дверь и смотрит на дом. К его удивлению, дом не отвечает ему взглядом. Он пуст, дом номер 124; теперь это самый обычный старый дом, очень ветхий. И тихий, как сказал Штамп.

— Там всегда вокруг разные голоса звучали. А теперь тихо, — говорил Штамп.

— Я несколько раз мимо проходил, но так ничего больше и не слышал. Дом-то, наверно, пуст; мистер Бодуин сказал, что продаст его при первой же возможности.

— Это его она поранить пыталась? Его?

— Ага. Его сестра говорит, что дом одни неприятности приносит, и они хотят от него избавиться. Так мне Джани сказала.

— А он что? — спросил Поль Ди.

— Джани говорит, хозяин против, но мешать сестре не хочет.

— Да неужели кому-то понадобится старая развалюха, да еще в такой дали? У кого деньги есть, тот здесь жить не станет.

— Это точно, — ответил Штамп. — Мне кажется,

мистеру Бодуину без колдовства от этого дома не избавиться.

— А он не собирается Сэти в суд тащить?

— Непохоже. Джани говорит, он только одно хочет знать: кто была та обнаженная чернокожая женщина, что стояла в дверях. Он так на нее засмотрелся, что и не заметил, как Сэти к нему подкралась. Говорит, видел только, что несколько цветных женщин дерутся, и решил, что Сэти на кого-то из них набросилась.

— А Джани его на этот счет не разубеждала?

— Нет, что ты. Она говорит, что ужасно рада за хозяина, ведь Сэти его убить могла. Если б Элла ей тогда не врезала, то Джани сама врезала бы ей непременно. Испугалась до смерти, что эта женщина мистера Бодуина убьет. Она вместе с Денвер сейчас работу ищет.

— А что ему Джани объяснила насчет той голой негритянки?

— Сказала, что ему показалось и никого на крыльце не было.

— Ты-то веришь, что они ее видели?

— Ну, что-то они, во всяком случае, видели. По крайней мере, Элле я верю, а она говорит, что смотрела той девушке прямо в глаза. Девушка стояла рука об руку с Сэти. Но, судя по их словам,

это не та, которую я через окно видел. Та девушка была совсем худенькая. А эта прямо огромная. Все говорят, они за руки держались, и Сэти рядом с ней была точно маленькая девочка.

— Ну да, маленькая девочка с топориком. И близко ей удалось к нему подобраться?

— Да она уже на него бросилась, говорят, когда Денвер и остальные успели ее перехватить, а Элла еще и кулаком дала ей прямо в зубы.

— Он должен знать, что Сэти на него напасть хотела! Должен.

— Может, и так. Не знаю. Если он подумал об этом, то, по-моему, решил махнуть рукой. Очень на него похоже. Он из тех, кто никогда негров не унижал. Надежный, как скала. Знаешь, что я тебе скажу: если бы она до него добралась, это было бы для нас хуже всего. Ты ведь, кажется, знаешь, что он– то и был самым главным среди тех, кто ее тогда от виселицы спас.

— Да, знаю. Черт побери, эта женщина просто спятила! Спятила.

— Да? А может, и мы с ней заодно?

И тут они рассмеялись. Сперва сухим шелестящим смехом, потом все громче и громче, пока Штамп не вытащил из кармана носовой платок и не принялся вытирать глаза, а Поль Ди вытирал

выступившие от смеха слезы просто руками. По мере того как складывалась картина, которой ни тот, ни другой не видели, они уясняли всю серьезность и неожиданность случившегося, и это почему-то заставляло их трястись от нервного смеха.

— Видишь: как только к ее двери белый человек подходит, так она за топор хватается!

— Нет, сборщика налогов она пока не трогает.

— Хорошо еще, что здесь белые почту не разносят.

— Тогда у нас тут никто ни одного письма бы не получил!

— Кроме самого почтальона.

— Ну уж он-то получил бы так получил!

— До смерти бы запомнил!

Когда смех постепенно утих, оба с трудом перевели дыхание и покачали головой.

— И он по-прежнему собирается пускать Денвер к себе в дом на ночь? Ничего себе!

— Ну нет, Денвер ты не трожь! Оставь девочку в покое, Поль Ди. Денвер — это моя душа. Я этой девочкой горжусь! Она первой бросилась на мать и сбила ее с ног еще до того, как остальные поняли, что замышляет дьявол.

— Значит, можно сказать, она этому Бодуину

жизнь спасла?

— Можно. Можно, конечно! — сказал Штамп, вдруг вспомнив тот свой прыжок и бешеное раскачивание материнской руки с зажатой в ней крохой, чью маленькую курчавую головку он спас тогда от удара, перехватив в нескольких дюймах от стены сарая. — Я горжусь ею! Она отлично со всем справляется. Отлично.

Это было действительно так Поль Ди увидел Денвер на следующее же утро, когда шел на работу, а она как раз возвращалась с работы домой. Она похудела, взгляд был значительно спокойнее, и она еще больше стала похожа на Халле.

Денвер первой поздоровалась с ним и улыбнулась:

— Доброе утро, мистер Ди.

— Да уж и впрямь доброе. — Ее улыбка, а вовсе не та прежняя ухмылка, была приветливой, и складка у губ напоминала Сэти. Поль Ди вежливо коснулся шляпы.

— Как у тебя дела?

— Грех жаловаться.

— Домой идешь?

Она ответила, что нет. Она кое-что слышала о работе в дневную смену на фабрике, где шьют рубашки. И надеялась, что вместе с ее ночными

дежурствами у Бодуинов это поможет ей скопить немного денег и помочь матери. Когда он спросил, хорошо ли с ней обращаются у Бодуинов, она ответила: очень хорошо. Мисс Бодуин учит ее «всякой всячине». Он спросил, чему именно, и она рассмеялась и сказала:

— Книжки дает разные. Говорит, что я могла бы поехать учиться в Оберлин. Говорит, что она со мной экспериментирует.

И он даже не сказал: «Смотри, осторожнее. Осторожнее, Денвер. В мире нет ничего опаснее, чем белые учителя». Он только понимающе кивнул и спросил то, о чем давно собирался спросить:

— А как у твоей матери дела? Она здорова?

— Нет, — ответила Денвер. — Нет. И ни капельки ей лучше не становится!

— Ты как думаешь, я мог бы зайти к вам? Она против не будет?

— Не знаю, — сказала Денвер. — Мне кажется, я потеряла свою мать, Поль Ди.

Оба помолчали, потом он сказал:

— Ох уж эта девчонка! Ну, ты знаешь, о ком я. Как она?

— Не знаю.

— Ты считаешь, она действительно твоя сестра? Денвер потупилась.

— Иногда мне так кажется. Иногда я думаю, что она была… даже больше, чем… — Денвер с преувеличенным усердием стала оттирать какое-то пятнышко на блузке. Потом вдруг посмотрела Полю Ди прямо в глаза. — Но кто может знать о ней лучше, чем вы, Поль Ди? Я хочу сказать, вы-то наверняка знали ее достаточно хорошо!

Он облизнул губы.

— Ну, если тебе интересно мое мнение…

— Нет, — сказала она. — У меня есть свое.

— Ты стала совсем взрослой, — сказал он.

— Да, сэр.

— Это хорошо. Очень хорошо, и я желаю тебе удачи с работой.

— Спасибо. И знаете, Поль Ди, вам вовсе не обязательно обходить наш дом стороной, но только, пожалуйста, поосторожнее, если будете говорить с мамой, хорошо?

— Не беспокойся, — сказал он, и они сразу расстались, вернее, это она ушла, потому что какой-то молодой человек вдруг бросился к ней бегом, крича:

— Эй, мисс Денвер, погодите!

Она обернулась к юноше, и лицо ее вспыхнуло так, словно кто-то включил газовый рожок Поль Ди расстался с Денвер неохотно; ему хотелось

еще поговорить с ней, понять смысл тех историй, которые рассказывают все вокруг: белый мужчина специально приехал, чтобы отвезти Денвер на работу, а Сэти бросилась на него с топором. Значит, дух умершего ребенка снова вернулся, и очень злой, раз послал Сэти во двор, чтобы она убила того белого человека, который спас ее от виселицы. В одном они все-таки сходились: сперва они кого-то видели, а потом — нет. Когда им удалось повалить Сэти на землю, отнять у нее топорик для колки льда и снова оглянуться на дом, никого на крыльце не было. Позже какой-то мальчик рассказал, что когда копал червей для рыбалки позади дома номер 124 — на берегу ручья, то увидел, как прямо сквозь лес несется какая-то голая женщина и вместо волос у нее на голове рыбы.

На самом-то деле Полю Ди все равно, как она ушла и почему. Гораздо важнее, как и почему он сам ушел из этого дома. Когда он смотрит на себя глазами Гарнера, то видит одно. Глазами Сиксо — совсем другое. Один доказывает, что он прав. Другой заставляет стыдиться себя. Как во время Войны, когда он побывал и на той, и на другой стороне. Убежав от Норт-Пойнт банка и Железнодорожной компании, он решил присо-

единиться к 44-му цветному полку в Теннесси, и считал, что служит в этом полку. Но вскоре обнаружил, что попал в другой цветной полк, сформированный в Нью-Джерси. В этом полку он пробыл четыре недели. Полк распался еще до того, как был окончательно решен вопрос о том, могут ли солдаты иметь оружие или нет. Нет, решило командование, и белый командир их цветного полка пытался придумать, что же его солдатам делать на этой Войне, раз других белых людей убивать не дозволяют. Некоторые из десяти тысяч солдат все-таки остались — чистить, перевозить и строить; часть перебралась в другие полки, но большинство осталось ни при чем, с горечью размышляя о собственной судьбе и планах. Он тоже пытался решить, что же ему делать, когда агент Норт-Пойнт банка настиг его и отвез обратно в Делавэр, где он работал как раб целый год. Потом Норт-Пойнт банк сдал его в аренду за 300 долларов куда-то в Алабаму, где он работал на мятежников-южан, сперва сортируя трупы, а потом плавя металл. Когда он со своей группой прочесывал поля брани, то прежде всего нужно было отделить раненых конфедератов от мертвых Позаботиться о живых, как им говорили. Хорошенько позаботиться. Там работали и

цветные, и белые; обмотав лица до самых глаз, они с фонарями пробирались по лугам и болотам, прислушиваясь в темноте к стонам и тихим окликам живых среди равнодушного молчания мертвецов. По большей части это были совсем молодые люди, иногда почти дети, и ему было немного стыдно, что он жалеет этих мальчиков, которые вполне могли быть сыновьями тюремщиков в Альфреде, штат Джорджия.

Пять раз он пытался бежать, но ни одна попытка толком не удалась. Он бежал (из Милого Дома, от Брэндивайна, из Альфреда в штате Джорджия, из Уилмингтона, из Норт-Пойнта) в одиночку, без какой-либо маскировки, без поддержки белых. Выдавала и кожа, и запоминающаяся копна волос; рано или поздно его ловили. Дольше всего он оставался на свободе, когда убежал вместе с другими заключенными из Альфреда, скрывался у индейцев чероки, а потом последовал их совету, отправился на Север и жил у ткачихи в Уилмингтоне, штат Делавэр, три года. И каждый раз во время своих скитаний он не мог не удивляться красоте той земли, что была не его землей. Он прятался у нее на груди, перебирал ее пальцами в поисках чего-нибудь съедобного, приникал губами к ее рекам, чтобы напиться, — и все-та-

ки пытался не любить ее. По ночам, когда небо принадлежало ему одному, ослабев от тяжести этих сокровищ — своих собственных звезд, — он внушал себе: не люби это небо. Не люби эти тихие кладбища и реки с низкими берегами. Не смей любить вон тот одинокий дом с сиренью, с привязанным рядом мулом и еле светящимся в сумерках окошком — тем, что может пронзить душу. Он очень старался заставить себя не любить эту землю.

После нескольких месяцев, проведенных на полях сражений в Алабаме, он был отправлен в литейный цех в Селму вместе с тремя сотнями пленных, арендованных или взятых в залог негров. Именно там он и встретил конец Войны, и теперь, казалось бы, очень просто было покинуть Алабаму, раз ему было заявлено, что он свободен. Он просто должен был уйти с этого завода в Селме и отправиться прямиком в Филадельфию, не скрываясь, пешком, или на поезде, или на пароходе — как захочется. Но все получилось совсем не так Когда он и двое цветных пленных солдат из 44-го полка (которого он так и не нашел) шли пешком из Селмы в Мобил, то за первые восемнадцать миль натолкнулись на двенадцать мертвых негров. Двое из них были женщины, чет-

веро — совсем маленькие мальчики. Он думал, что это, конечно же, самый главный поход в его жизни. Янки, держа свои войска под контролем, оставили южан, вышедших из-под контроля, без присмотра. Поль Ди и его приятели добрались до пригородов Мобила, где черные снова прокладывали железную дорогу на север — ту самую, которую раньше взорвали по приказу южан. Один из спутников Поля Ди, рядовой по имени Кин, служил когда-то в 54-м Массачусетском полку. Он говорил, что им платили значительно меньше, чем белым солдатам. Особенно он напирал на то, что и он, и целая группа цветных солдат отказались от компенсации, предложенной им позже властями Массачусетса. На Поля Ди произвело большое впечатление уже и то, что, оказывается, можно получать деньги за участие в сражениях, так что он смотрел на рядового Кина с изумлением и завистью.

Кин и его друг, сержант Росситер, конфисковали чей-то ялик, и они втроем плавали в заливе Мобил, пока рядовой Кин не попросился на канонерку Союза, и всех троих взяли на борт. Кин и Росситер высадились в Мемфисе, надеясь разыскать своих командиров. А Полю Ди капитан позволил остаться на борту до самого Уилинга,

Западная Виргиния. А потом он уже в одиночку добирался до Нью-Джерси.

К тому времени как Поль Ди попал в Мобил, он видел куда больше мертвых людей, чем живых. Зато когда он добрался до Трентона и его окружили толпы живых людей, за которыми никто не охотился и которые сами ни за кем не охотились, он вдруг ощутил такую замечательную свободу, что запомнил это ощущение на всю жизнь. Шагая по шумной деловой улице, полной белых, которым вовсе не требовалось объяснять, почему он здесь оказался, он понимал, что если кто и поглядывал на него косо, то это относилось только к его отвратительным лохмотьям и грязным отросшим патлам. И тем не менее, несмотря на его обшарпанный вид, тревоги никто не поднимал. А потом случилось чудо. Когда он стоял на улице напротив аккуратного ряда кирпичных домов, какой-то белый окликнул его («Эй! Ты!») и попросил помочь снять с повозки два тяжелых сундука. За это белый дал ему монетку. Поль Ди несколько часов ходил по улицам, зажав монетку в руке, не зная, что именно можно на нее купить (одежду? еду? лошадь?) и продадут ли ему что-нибудь. Наконец он увидел тележку зеленщика, подошел и молча указал на пучок редиски. Зелен-

щик вручил ему редиску, взял его монетку и дал несколько других. Потрясенный, Поль Ди даже попятился. Но, оглядевшись, понял, что никто, похоже, не заинтересовался этой «ошибкой» или им самим, и пошел дальше, счастливый, жуя на ходу редиску, хотя на лицах встречных женщин читал порой отвращение. Первая честным трудом заработанная покупка заставляла его светиться от восторга, хотя редиска была высохшей и вялой. Именно тогда он и решил, что если есть возможность свободно ходить, есть и спать, то жизнь еще не кончена и вообще — достаточно хороша. Так он и жил целых семь лет, пока не очутился в Южном Огайо, куда давно уже переехала одна его знакомая, старая женщина со своей невесткой.

Теперь же он пришел, точно совершая обратное движение по кругу. Постоял за домом, возле холодной кладовки, удивленный нашествием поздних летних цветов там, где должны были бы расти овощи. Турецкая гвоздика, вьюнок, хризантемы. Странное нагромождение ящиков и жестянок, запах гнилья и цветы — яркие, как свежая рана. Засохшие побеги плюща на подставках для бобов, на дверных ручках. Выцветшие картинки из журналов, прибитые гвоздями к наружным стенам сарая и к деревьям. Веревка, годная разве

что для скакалки, брошена возле бочки с водой. И повсюду банки и баночки, полные мертвых светлячков. Словно детский игрушечный домик, только очень высокого ребенка.

Поль Ди поднимается на крыльцо, подходит к двери и открывает ее. В доме тихо, как в гробнице. Там, где когда-то пляшущий кружок красного света омыл его печалью, приковал к порогу, теперь пусто. Везде мрак, холод и больше ничего. Пустота минус еще что-то, чье-то отсутствие. И это отсутствие он должен преодолеть столь же решительно, как и в первый свой приход, когда он поверил Сэти и прошел сквозь пульсирующее красное пятно света. Поль Ди быстро смотрит на ярко-белые ступени лестницы, ведущей на второй этаж Все перила увиты лентами, бантами, букетами. Поль Ди идет дальше. Ветерок, ворвавшийся в открытую дверь с ним вместе, колышет ленты. Осторожно, не спеша, но и не тратя времени даром, он поднимается по светящимся в полумраке ступенькам. Входит в комнату Сэти. Ее там нет, а кровать выглядит такой маленькой, что он удивляется, как это они вдвоем умещались на ней. Простыни сняты; окна в потолке не открываются, и в комнате душно. Яркие одежды валяются на полу. С гвоздя на стене свисает

платье, в котором была Возлюбленная, когда он впервые увидел ее. Пара коньков в корзинке в углу. Он косится назад, на кровать; ему не отвести от нее глаз. Ему вдруг кажется, что его здесь нет. С огромным усилием, покрывшись испариной, он заставляет себя представить, что это он сам лежит на постели Сэти, и, когда это ему удается, сразу наступает облегчение. Поль Ди переходит в другую спальню. Спальня Денвер, в отличие от предыдущей, тщательно убрана. Но и здесь Сэти нет. Может, она вернулась на прежнюю работу? Может, ей стало лучше с тех пор, как он разговаривал с Денвер? Поль Ди снова спускается по лестнице, оставляя себя воображаемого там, где надо, на той узкой кровати. Присаживается у кухонного стола. Что-то ушло из дома номер 124. Что-то большее, чем люди, жившие здесь. Большее, чем Возлюбленная или мерцающее красное пятно. Он не может назвать это, но в какой-то миг ему кажется, что там, за ускользающим словом, вспыхивает нездешний свет и кто-то льнет к нему ласкаясь и обвиняя.

Справа, где приоткрыта дверь в гостиную, слышится чей-то голос, поющий песенку. Тихую и нежную, точно колыбельная. Он различает несколько слов. Что-то вроде: «Высокий Джонни,

широкий Джонни. Гвоздики вымокли в росе, мой Джонни». Ага, думает он, вот она где! Так и есть. Лежит под стеганым одеялом из пестрых лоскутков. Ее волосы, словно темные тонкие корни добрых злаков, рассыпались и вьются по подушке. Ее глаза, безотрывно смотрящие в окно, настолько безжизненны, что он не уверен, узнает ли она его. Здесь, в этой комнате, слишком много света. Все выглядит словно уже проданное.

— «Наперстянка мне до плеч, — поет Сэти. — Лютик до колен. Сладкий клевер нас возьмет в свой душистый плен…» — Она теребит в пальцах длинную прядь волос.

Поль Ди откашливается, чтобы как-то прервать это пение.

— Сэти?

Она поворачивает голову.

— Поль Ди.

— Ах, Сэти!

— Я сделала чернила, Поль Ди. Он бы никогда не смог такого написать, если бы я не сделала ему чернила.

— Какие чернила? Кто?

— Ты сбрил бороду? — Да. Что, плохо?

— Нет. Ты выглядишь очень хорошо.

— Черти напутали. А что это ты, я слышал, и с

постели не встаешь?

Она улыбается и улыбка медленно тает у нее на лице; потом она снова отворачивается к окну.

— Мне нужно поговорить с тобой, — наклоняется он к ней.

Она не отвечает.

— Я видел Денвер. Она тебе сказала?

— Да. Она приходит днем. Денвер. Она все еще со мной, моя Денвер.

— Встать тебе нужно с этой постели, девушка! — Он начинает нервничать. Что-то ему это напоминает.

— Я очень устала, Поль Ди. Так устала. Мне нужно немного отдохнуть.

Теперь он понимает, что это ему напоминает, и кричит на нее:

— Нечего тут мне умирать! Это постель Бэби Сагз! Так вот ты, значит, что задумала? — Он так зол, что готов убить ее. Потом берет себя в руки, вспомнив о предупреждении Денвер, и шепчет: — Что ты задумала, Сэти?

— Ох, ничего я не задумала. Совсем ничего.

— Слушай, — говорит он.– Днем здесь будет Денвер. Ночью здесь буду я. Я намерен о тебе заботиться, слышишь? Прямо сейчас и начну. Первое вот что, пахнешь ты, прямо сказать, не

очень. Лежи, лежи. Не шевелись. Сейчас я воды согрею… — Он умолкает. — Ничего, Сэти, если я согрею немного воды?

— И сосчитаешь, сколько у меня ног? — спрашивает она, глядя на него.

Он подходит к ней ближе.

— И разотру тебе твои усталые ноги.

Сэти закрывает глаза, поджимает губы. Она думает: нет, эта постель у окна — вот и все, что мне нужно. И еще отдохнуть. И нечего ноги мне растирать, да и ни к чему это теперь. Там и тела-то не осталось, чтобы его мыть, даже если он, предположим, умеет это делать. Он что же, будет обмывать ее по частям? Сперва лицо, потом руки, бедра, ступни, спину? И наконец ее измученные груди? Но если он будет обмывать ее по частям, то не распадется ли она на части? Сэти открывает глаза, понимая, как опасно ей смотреть на него. Но все-таки смотрит. Угольно-черная кожа, морщинка между полными любви и преданности, ждущими глазами. И она видит в нем то самое, благословенное, что позволяло ему зайти в любой дом и заставить женщин плакать и рассказывать ему обо всем на свете. Потому что при нем они могли плакать. Плакать и рассказывать такие вещи, какие изредка говорили только друг другу;

и она может плакать и говорить ему, что время уходит, что она звала, но Ховард и Баглер не оборачивались и шли все дальше и дальше по железнодорожной колее, словно не слышали ее; что Эми сперва боялась остаться с ней, потому что ноги у нее были просто безобразные, а уж про спину и говорить нечего; что ее мать поступила с ней жестоко, что она нигде не могла найти ее шляпу, что…

— Поль Ди?

— Что, детка?

— Она оставила меня. —Да, детка. Не плачь.

— Она была самым моим дорогим сокровищем.

Поль Ди присаживается рядом с ней на кресло-качалку и рассматривает стеганое лоскутное одеяло, пестрые карнавальные лоскутки. Руки его бессильно свешиваются между коленями. Слишком много чувств вызывает у него эта женщина, так что голова раскалывается от боли. Он вдруг вспоминает попытки Сиксо описать свои чувства к той женщине с тридцатой мили. «Она мой сердечный друг, понимаешь? Она меня с земли поднимает, возвышает меня. Вот будто берет те отдельные кусочки, из которых я состою, и делает меня целым, а потом возвращает меня

мне самому. Знаешь, хорошо, когда женщина — твой сердечный друг!»

Поль Ди неотрывно смотрит на одеяло, но думает о задубевших рубцах на спине Сэти; о ее нежных губах, все еще чуть припухших от удара Эллы. Об этих застенчивых черных глазах. О мокром платье, что дымилось у огня в его хижине. О ее нежности — когда она услышала об ожерелье с тремя шипами, торчавшими у его лица, точно детеныши гремучей змеи. Она никогда не упоминала об этом больше — чтобы он тоже забыл, не стыдился и не мучился, оттого что, как зверь, был посажен на цепь. Только эта женщина, Сэти, могла сохранить и пробудить в нем столько мужества. Ему очень хочется положить свою жизнь, все, что случилось с ним, рядом с ее жизнью.

— Сэти, — говорит он, — у нас с тобой куда больше осталось в прошлом, чем у кого бы то ни было. Теперь нам бы нужно хоть какое-то завтра.

Он наклоняется к ней и берет ее за руку. Другой рукой касается ее лица.

— Ты твое самое дорогое сокровище, Сэти. Ты сама. — Он крепко, крепко держит ее за руку.

— Я? Я?

* * *

Есть одиночество, которое можно убаюкать. Руки скрещены на груди, колени приподняты, и покачиваешься, покачиваешься — движение это, в отличие от качки корабля, смягчает душу и убаюкивает. Оно исходит откуда-то изнутри и обволакивает тебя плотно, как кожа. Есть еще и такое одиночество, которое словно накатывает извне. Его не убаюкаешь. Оно живое и существует независимо, само по себе. Оно иссушает и разрастается, захватывая все вокруг, так что даже звук собственных шагов будто доносится до тебя со стороны.

Все знали ее прозвище, но никто и нигде не знал ее имени. Забытая всеми и сброшенная со счетов, она не может даже потеряться, потому что никто не ищет ее; но даже если б и искали, то не могли бы окликнуть: никто ведь не знает ее имени. И хотя сама она требует того, что принадлежит ей по праву, на нее-то права никем не предъявлены. И там, где раздвигаются высокие травы, девушка, которая ждала того, кто ее полюбит, перед кем она выплачет наконец свой стыд, распадается на части, чтобы жующим и смеющимся устам легче было проглотить ее без остатка.

Мимо такой истории не пройдешь.

Они забыли о ней, как о дурном сне. Те, кто увидел ее на крыльце, придумали свои собственные истории, придали им нужную форму, разукрасили их, стараясь побыстрее забыть о ней. Тем, кто говорил с нею, жил с ней вместе, любил ее, потребовалось больше времени, но и они однажды подумали, что не могут ни вспомнить, ни повторить ничего из ее слов, и решили, противореча самим себе, что она вообще ничего никогда им не говорила. Так что в конце концов они тоже забыли ее. Помнить, видимо, глупо. Они так и не узнали, где и почему она приникала к земле и чье лицо было ей нужнее всего. То, что могло быть тенью улыбки у нее под подбородком, скрыл железный засов, намертво запертый и уже покрывшийся зеленоватой патиной. С чего она решила, что ногтями сможет открыть замок, заржавевший после стольких дождей?

Мимо такой истории не пройдешь.

И они забыли ее. Как неприятное видение, мелькнувшее в беспокойном сне. Иногда, правда, тихо прошуршит чья-то юбка перед пробуждением или чья-то рука легонько коснется щеки, но потом окажется, что это рука спящего рядом. Порой фотография близкого друга или родствен-

ника– если смотреть на нее слишком долго — вдруг станет зыбкой и оживет, и что-то более знакомое, чем даже это дорогое лицо, мелькнет в глубине. Они могут даже коснуться ее, если захотят, но никогда не касаются, понимая, что ничто и никогда уже не будет по-прежнему, если они это сделают.

Мимо такой истории не пройдешь.

На берегу ручья, что течет за домом номер 124, появляются и исчезают, появляются и исчезают отпечатки ее ног. Легкие, знакомые следы. Если ребенок или взрослый поставит на такой след свою ногу, то оба следа в точности совпадут. Уберешь ногу, и следы исчезнут, как если бы их никогда здесь и не было.

Потихоньку исчезают все следы, забываются не только отпечатки ног на песке, но и сама вода, и то, что внизу, под нею. Остается только шорох ветра, смена погоды. И уже не дыхание ее, позабытой и всеми сброшенной со счетов, будет слышаться рядом, а ветер над крышей или весенний ледоход, начавшийся слишком бурно. Просто ветер. Не плач и не просьба о поцелуе.

Возлюбленная моя.